
ПЕТР ПАЛАМАРЧУК
МОСКВА
ИЛИ
ТРЕТИЙ
РИМ?


7T.

ПЕТР ПАЛАМАРЧУК

МОСКВА ИЛИ ТРЕТИЙ РИМ?

Восемнадцать очерков о русской истории и словесности

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1991

ББК 83.3Р
П14

Рецензент **М. Попов**

Паламарчук П. Г.

П14 Москва или Третий Рим?: Восемнадцать очерков о русской истории и словесности.— М.: Современник, 1991.— 365 с.

ISBN 5—270—01254—5

В книге собраны очерки, расположенные в хронологической последовательности, о вечных вопросах нашего прошлого и грядущего. Открывает ее исследование о том, самородны ли русская духовность и государственность или они продолжают традиции язычества и ветхозаветной религии. Затем следуют жития русских праведников, сказание о чудотворной иконе и московском Даниловом монастыре. Здесь есть очерки о восшествии на престол Анны Иоанновны, о первой российской поэтессе императрице Елизавете, писателях прошлого столетия К. Батюшкове, Н. Гоголе, А. Чехове и нынешнего века — А. Ремизове, К. Мочульском, И. Ильине, В. Набокове, И. Одоевцевой.

Завершает книгу обозрение творческого и жизненного пути Александра Солженицына.

П $\frac{4702010204-111}{М106(03)-91}$ КБ 52-41-90

ББК 83.3Р+63.3(2)

ISBN 5—270—01254—5

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

На старинной гравюре, изображающей два колеса судеб — вращающееся и сломанное,— показан проходящий дорогу жизни человек в возрастах юности, зрелости и старости, о которых последовательно сказано: «...будущаго чаем, наставшему дивимся, минувшее хвалим». В этой книге собрано полторы дюжины очерков, расположенных в хронологической последовательности, о больших и малых вопросах нашего прошлого, грядущего и нагрянувшего. Открывает ее исследование о том, своеродны ли наши духовность и государственность,— или они продолжают традиции язычества и иудаизма. Затем следуют еще не совсем привычные в широкой печати жития русских праведников, сказание о чудотворной иконе и московском Даниловом монастыре — явное свидетельство обновления сознания общества в первые годы второго тысячелетия по Крещении Руси. Здесь есть очерки о восшествии на престол Анны Иоанновны, о первой российской поэтессе императрице Елизавете, писателях прошлого столетия К. Батюшкове, Н. Гоголе, А. Чехове, нынешнего века — А. Ремизове, К. Мочульском, И. Ильине, В. Набокове, И. Одоевцевой — и наших современниках, пишущих о воскрешении великого наследия предков. Завершает ее, как бы окольцовывая и возвращая к главной теме, обозрение творчества Александра Солженицына — в нем духовный путь одного из наиболее известных литературных и общественных деятелей современности рассматривается с точки зрения его вклада в укоренение нашей словесности в природных заветах Отечества, того правдоискательства, тяги к постановке «вечных вопросов», с которых все начиналось.

В былые времена историческую память сохраняли у нас монахи-летописцы, столбовые дворяне-историографы и народные былины. Нынче все сословия перемешаны, но осталась все та же, идущая из прошлого в будущее, столбовая дорога отечественной истории, на которой все мы по-прежнему путники. Эта книга — попытка путеводителя по ней, а о цели движения говорят ее самые последние слова.



МОСКВА, МОСОХ И ТРЕТИЙ РИМ

Из истории политических учений русского средневековья

«МОСКВА — ЭТО ПРИНЦИП»

1986 году тогдашний глава Москвы Борис Ельцин произнес в Кремле ответственные слова о том, что «вопрос о потере своеобразия архитектуры Москвы, особенно ее центра» перешел уже «в разряд политических» [1]. Утверждение это имеет глубокие исторические корни. Ведь архитектура города — это не только запечатленные воочию в его зданиях смена стилей и совершенствование строительной техники; в первую голову архитектура есть главная идея, заложенная в основу градостроительства. «Политика», в свою очередь, происходит от греческого слова «полис»— то есть город, град; недаром в наших средневековых кодексах права политические законы так и именовались «градскими». Таким образом, вопрос о философских основах градостроительства представляет собой вопрос о Граде в самом высоком, символическом смысле этого понятия.

В первую очередь касается он Москвы, которую поэт Федор Глинка исключительно точно назвал — «град срединный, град сердечный, коренной России град». А другой его современник (М. Н. Катков) высказал ту же мысль еще короче: «Москва — это не город, Москва — это принцип».

Поскольку речь у нас пойдет об отечественном средневековье, следует сперва указать, какие именно символы Града были наиболее распространенными в ту эпоху. Если до нашей эры таких символических города было по крайней мере два — столица почти что всемирной языческой империи Рим и средоточие культа ветхозаветной религии «избранного народа» Иерусалим,— то в новую

эру оба их заменил собою «Новый Иерусалим», описанный в «Апокалипсисе» образ царства правды, грядущей победы любви над злом и упразднения самой смерти. Насколько учение о нем было близко сердцам наших предков, показывают недавние исследования архитектора М. П. Кудрявцева, занимающегося идейно-символическим содержанием градостроительной композиции Москвы[2]. По его мнению, Москва в конце XVII века являла собою как бы воплощение этого Града будущего, облик которого весьма подробно изображен в последних главах Нового Завета. Однако конечный вывод исследователя страдает некоторой прямолинейностью, вносящей в средневековые представления о природе символа узость и чувственность мышления уже преодоленной, дохристианской поры. Гораздо ближе к истине точка зрения ученых, обращающих внимание в этой связи на выстроенный патриархом Никоном не в Москве непосредственно, а рядом с нею монастырь Новый Иерусалим — своего рода «градостроительный образ», архитектурную икону, главный собор которого представляет подобие иерусалимского храма Воскресения[3].

Уместно в связи с этим привести также пример обратного свойства — неудавшуюся попытку Бориса Годунова снести Успенский собор Кремля, чтобы воздвигнуть на его месте копию ветхозаветного храма Соломона. Согласно свидетельствам иностранных путешественников, заветной мыслью царя Бориса было построение храма, который «своим видом и устройством походил бы на храм Соломона... Мастера тотчас же принялись за работу, причем обращались к книгам священного писания, к сочинениям Иосифа Флавия и других писателей» [4]. Провал этой затеи можно назвать прообразовательным для всей судьбы годуновского царствования.

Вопрос о духовной основе градостроительства чрезвычайно ответственно понимался на Руси, и поэтому подходить к его изучению следует с достоинством и осторожностью. Здесь совершенно недопустимо затевать с явлениями отечественной истории некую «игру в бисер», наглядный образец которой представляет следующее замечание Ю. М. Лотмана в комментариях к «Евгению Онегину»: «Название Невского проспекта «бульваром» представляло собой жаргонизм из языка петербургского щеголя, поскольку являлось перенесением названия модного места гуляний в Париже... Ср. для средних веков аналогичные (! — *П. П.*) уподобления типа «Новый Иерусалим» под Москвой

или название «Бродвей» («Брод») для Невского проспекта между Литейным и Садовой в более позднее время» [5]. Вряд ли стоит доказывать, что уравнение дела жизни Никона с «блатною музыкой» нынешнего хлыща не только ненаучно, но и безнравственно.

«ВОСКРЕШЕНИЕ» МОСОХА

Насущность задачи выяснения символического содержания образа средневековой Москвы чрезвычайно ярко показывает возрождение в последние годы легенды о происхождении ее имени от ветхозаветного патриарха Мосоха. Под видом забавного предания или просто косвенных упоминаний она все чаще проникает в общедоступные издания по истории, постепенно отвоевывая себе местечко в нашей памяти. Например, археолог М. Г. Рабинович в своей книге «Не сразу Москва строилась» приводит выписку из хроники дьякона Холопьего монастыря на реке Мологе Тимофея Каменевича-Рвовского, «по-видимому, ученика киевских монахов»: «И созда же тогда Мосох князь и градец себе малый на превысоцей горе той над устии Явузы реки на месте оном первоприбытнем, иде же и днесь стоит на горе оной церковь каменная святаго великомученика Никиты, бесов мучителя». От этого Мосоха Иафетовича и жены его по имени Ква и произошло, излагает далее Рабинович по Каменевичу, название реки и города Москвы. Отношение современного автора к сказанию ироническое и потому-то, вероятно, ссылок на источники он предпочел не давать[6].

Зато наиболее подробно и со множеством сносок это учение, нареченное «теорией «Москва — Мосох», разбирает А. Н. Робинсон в приуроченной к V Международному съезду славистов книжке, изданной тиражом всего в 1200 экземпляров с грифом «Бесплатно» [7]. Некоторыми из выявленных им источников мы также воспользуемся ниже, но сперва приведем итоговое заключение, с которым по форме согласны, хотя и вкладываем в него иное по сути содержание. Создавшие теорию «Москва — Мосох» историографы, пишет А. Н. Робинсон, «не были беспочвенными фантастами или легкомысленными фальсификаторами. Их фантазия, как и их риторика, теснейшим образом были связаны с идеологическими основами и методами историографии» [8].

МОСОХ В БИБЛИИ

Что же нам известно о предполагаемом «предке» из Ветхого и Нового Заветов? Мосох, или по-русски Мешех — что означает в переводе «высокий»— был внуком Ноя и сыном Афета (согласно славянской Библии, переведенной с более древнего греческого текста т. н. «Семидесяти толковников»— седьмым; по русскому же переводу, выполненному с позднего еврейского масоретского текста — шестым); родился он вслед за Фувалом (слав. «Фовелом»), о котором также пойдет впоследствии речь. Они упоминаются уже в первой библейской книге Бытие (10:2; ср. 1 Паралипоменон 1:5).

Затем имя его возникает в 119-м псалме, где псалмопевец горько сетует: «Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров Кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен: но только заговорю, они — к войне» (Пс. 119: 5-7).

Наиболее подробное описание находим в книге Иезекииля, в которой пророк изрекает предсказание о взятии Иерусалима врагами, разрушении ими Храма, долгом плене,— а потом переходит к предвидению о будущем поражении Египта и восстановлении Храма.

В гл. 27 (ст. 13) коротко упоминается, что Фувал и Мешех «торговали... выменивая товары... на души человеческие и медную посуду». Зато в гл. 38—39, где речь заходит о «последних годах», когда иудеи возвратятся из пленения и станут жить безопасно, образ Мешеха вырастает до размеров поистине дьявольских. Бог обращается к своему пророку: «Сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала» (слав.: Рос, Мосоха и Фовеля). «В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно,— следует далее обращение уже непосредственно к Мешеху и присным его,— ты пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобою, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча... и Я приведу тебя на землю Мою». Но тут-то и ждет их уготованная Яхве смерть — «призову меч против него и пролью на полки его и многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу». Поражение будет столь страшным, что хоронить убитых будут семь месяцев, а жечь их оружие целых семь лет. Причем гибель ждет северян поголовная: «И дам Гогу место для могилы в Израиле и будут называть ее долиною

полчища Гогова», куда звери и птицы соберутся «есть мясо мужей сильных» и «пить кровь князей земли».

Путь Мешеху лежит прямо в преисподнюю, где ему назначено место рядом с египтянами: «Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом..., которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом в земле живых» (32: 26—27).

У Иезекииля имя Мосоха впервые сплетается с Росом («голова» или «главный») и Гогом («крыша», «расширение»); Магог («распространение», «расширение») назывался уже в книге Бытие рядом с Мосохом в числе сыновей Афета, которому приходился вторым отпрыском после Гомера. Завершение библейской судьбы Мосоха, вошедшего в состав объединения Гога и Магога, описано уже в последней книге Нового Завета, «Откровении Иоанна Богослова»— «Апокалипсисе».

В главе 20 его повествуется о том, как после Второго пришествия Христос поразит сатану и скует врага на тысячу лет, в продолжение которых будет царствовать на земле с праведными. «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань: число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их. А диавол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откр. 20:7—10). Вслед за этим непосредственно и идет описание сходящего с небес града Нового Иерусалима.

Перед нами, таким образом, чуть ли не единственный случай, когда упоминание одного народа (помимо самих евреев) пронизывает Библию насквозь, начиная в первой книге Ветхого Завета — Бытии — и через важнейшие в нем Псалтирь и пророка Иезекииля переходит к венчающему новозаветный кодекс «Апокалипсису».

МОСОХ И «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»

Как это ни удивительно, позабытая, казалось бы, политическая теория становится необычайно современной в

наши дни. Ведь когда государственные деятели начинают говорить на языке детской песочницы, употребляя понятия вроде «звездных войн» или «империи зла», заимствованные из примитивного фантастического сериала американского производства,— подобное словоупотребление может вызвать лишь сожаление о резком снижении уровня культуры в области политологии.

Зато в отношении полулегендарных Мосоха и Гога с Магогом дело обстоит куда серьезней. Согласно статистике на 1983 г., число приверженцев различных религий составляет 82% населения Земли. При этом, поскольку количество атеистов растет приблизительно на 8,5 млн. человек в год (при общем росте около 90 млн.),— цифра эта далека от уменьшения в обозримом будущем[9]. Между тем из трех «мировых» религий две — христианство и ислам (где Гог и Магог известны под именами «Йаджудж» и «Маджудж» [10]) — исповедуют пророчество о грядущем смертельном противоборстве с ними, как заклятыми врагами Града добра и истины; сюда следует прибавить и иудаистов, у которых это учение доныне сохраняется, хотя и в искаженной талмудизмом форме[11].

Нетрудно представить себе, каково будет отношение большинства человечества к нашей Родине и всем нам — от далеких предков до малых детей и их потомства — если кому-то удастся убедить его в тождестве Москвы и Мосоха...

МОСОХ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Родоначальником изучения истории потомков Мосоха предание называет вавилонского жреца Бероза (ок. 350—280 гг. до н. э.). Однако извлечь какие-либо достоверные сведения из его сочинений крайне сложно: они дошли до нас лишь в отрывках, цитируемых другими авторами более позднего времени[12]; помимо того, в средние века различные сочинители не раз подписывали именем давно умершего халдейского мудреца собственные догадки и выдумки[13].

Вслед за ним древнееврейский историк Иосиф Флавий (37 — после 100 гг.) пишет в труде «Иудейские древности», что «от Мосоха произошли мосхи, именуемые ныне каппадокийцами. Сего древнего их названия ясной имеется довод: ибо находится у них и по ныне град, называемый Мазака» [14].

Албано-армянский историк VII в. Моисей Утиец называет «великим царем росмосохов» хазарского кагана; в примечаниях к описанию хазарских событий он соединяет с именем хазар не только Мосоха, но и Фовеля: «В то время царь рос-мосохов со своими полчищами фовельскими (тубальскими) собрал также все войска гуннов» [15].

Три века спустя, в X столетии другой армянский автор — Моисей Каганкатваци — указывает в «Истории албан», что «рос-мосош» называется «северное варварское племенное объединение» [16].

Еврейский средневековый писатель Иосиф бен Горион (IX—X вв.), перечисляя имена потомков Иафета, говорит, что «Руси живут по реке Кира; Мешех (Мосох) — это Шибанени» [17]. Как свидетельствует исследователь средневековой письменности своего народа А. Я Гаркави, еврейский путешественник Петахия именем Мешех называл хазар; а позднейшие еврейские писатели обозначали этим названием Россию (Московию)[18].

Сжатый очерк изменения содержания имени Рос-Мосоха, Гога и Магога дает в энциклопедической статье С. С. Аверинцев: «Иудейская ученость эпохи эллинизма и Римской империи отождествляла Магога (соответственно Гога и Магога), со скифами (напр., у И. Флавия)... византийцы сопоставляли Гога, «князя Роша», с русскими («Рош» транскрибируется по-гречески как Rës); с XIII в. Гог и Магог ассоциировались с татаро-монголами)» [19].

Непосредственный перенос наименования потомков Мосоха на себя осуществлен был польскими хронистами. Еще в XV в. Ян Длугош (1415—1480) упоминает лишь о Мосохе из Каппадокии, сыне Иафета Каппадокийского, следуя, таким образом, за Иосифом Флавием[20].

Но уже в XVI в., с появлением сарматской теории происхождения славянских племен, генеалогия их от Мосоха становится ее составной частью. Первым, по мнению А. Н. Робинсона, признал ее Мартин Бельский (ок. 1495—1575), хроника которого вышла в свет 1551 г.[21]. Она произвела впечатление и на С. Сарницкого, первое издание «Анналов» которого относится к 1587 г.[22].

Наиболее полно собрал и обобщил все легендарные и письменные свидетельства о Мосохе, мосхах и Москве польско-литовский историограф Мацей Стрыйковский (1547 — после 1582). Для этого он привлек сочинения Бероза, Ксенофонта, Геродота, Птоломея, И. Флавия, Плиния, Тацита, Страбона, «Древности Библии»; «новей-

ших» историографов — Кадлубка, Анонима Галла, Длугоша, Кромера, Меховского, М. Бельского и множество других (еврейских, халдейских, греческих, латинских, польских, немецких, итальянских и чешских). Впервые его «Хроника Польская» была напечатана на польском языке в Кенигсберге в 1582 г. Как установил автор единственной отечественной монографии о М. Стрыйковском А. И. Рогов, в течение 1668—1688 гг. хроника эта частично или полностью переводилась на русский язык четыре раза, причем особенным вниманием пользовались главы 1—3 четвертой книги, посвященные истории Руси и славян. В них М. Стрыйковский и называет «патриарха» Мосоха отцом всех славянских народов, потомки которого Рус, Лех и Чех стали родоначальниками отдельных племен[23]. Хотя хроника эта и по сей день не издана по-русски, она повлияла на последующие произведения Т. Каменевича-Рвовского, А. А. Манкиева, В. Н. Татищева, В. К. Тредиаковского, М. М. Щербатова, «Синопсис» И. Гизеля[24].

Примерно в это же время, в 1588—1589 гг. Россию посетил Джильс Флетчер, английский посол, книга которого «О государстве Русском» вышла из печати в 1591 г. (русский перевод 1906 г.). В ней он также, ссылаясь на халдейца Бероза, повторяет генеалогию Москвы от Мосоха. По его пересказу, Нимврод (Сатурн) послал Ассира, Меда, Моска и Магога в Азию для основания там колоний, и Моск действительно основал их не только в Азии, но и в Европе. Флетчер счел достойным вероятия мнение, что река, а от нее и город Москва получили свои имена от этого Моска. Между тем, как справедливо указывает исследователь сочинения «О государстве Русском» С. М. Середонин, работа, на которую ссылается Флетчер, не подлинное сочинение Бероза, а подделка, изданная в 1510 г., где в пятой книге есть подобное известие[25].

Современный историк М. В. Алпатов подтверждает этот вывод своего соотечественника, сделанный уже почти век назад: «Во времена Флетчера имела хождение книжечка, в которой были собраны фантастические сведения из древней истории, в том числе и отрывки из Бероса; Флетчер, ссылавшийся на Бероса, познакомился с ним именно по этой книжечке; отсюда он взял и название Москвы от Мосоха. Кроме того, Флетчер пользовался известным сочинением Мартина Кромера «О происхождении и славных делах поляков» (1555). Но он читал лишь отрывки из книги Кромера, иначе... он не мог бы не за-

метить, что Кромер отвергал происхождение названия Москвы от имени Мосоха» [26],

После воссоединения Украины с Россией теория «Москва — Мосох» начинает проникать и в московскую историографию через сочинения писателей-южноруссов. Так, Михаил Лосицкий во введении к Густынской летописи (1670), основанном на польских источниках, утверждает: «От Мосоха... наш народ словенский изыде и Мосхинами, сиесть Москвою именовася и от сея Москвы все сарматы Руси, Ляхи, Чехи, Болгаре, Славяне изыдоша» [27]. Ему вторит и изданная в 1672 г. «Кройника» насельника киевского Златоверхого монастыря Феодосия Софоновича: «взяла теды Москва имя свое от Мосоха» [28].

МОСОХ В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Первое свидетельство восприятия в России теории «Москва — Мосох» исследователь отечественного летописания А. И. Попов находит в так называемом 3-м разряде 3-й редакции русского хронографа; из 12 списков его, бывших доступными ученому, самый ранний относился к 1661 г. А. И. Попов пишет о них: «Все русские статьи... до царствования Феодора Ивановича дословно выписаны из краткой редакции Хронографа, но им предпосланы две новые баснословные... Несмотря на свою вымышленность, обе они небезынтересны в историко-литературном отношении, как порождение того вредного влияния исторической Польской литературы, которое так сильно было у нас во второй половине XVII в. Первая из них озаглавлена «Выписано на перечень из дву кроник Полских...» Сличив эту статью с Польскими Хрониками XVI и XVII вв., приходим к убеждению, что под двумя Хрониками Польскими следует разуметь: М. Стрыйковского... и М. Бельского... По этим двум Хроникам русский компилятор и составил свою статью, по которой Славянский народ выводится от Мосоха, сына Афетова, принимает участие в Троянской войне, получает грамоту от Александра Македонского, разоряет Рим и т. п. Русских вымыслов здесь нет, и вина на существующие падает на одних Польских хронистов. Хроника Стрыйковского известна была и в русском переводе XVII в., впрочем, нужно допустить, что компилятор наш пользовался польскими оригиналами, по крайней мере грамота Александра Македонского приводится на польском языке, хотя и русскими буквами и при-

том дословно согласно с Польской хроникой Бельских» [29].

Вот основные положения этих новых статей хронографа: «Выписано на перечень из дву кроник Полских, которые свидетелствованы з Греческою и з Чешскою и с Угорскою кроникою многими списатели, от чего имянуется великое Московское государство и от коея повести Словяне нарекошася и почему Русь прозвася.

О сем убо давный халдейский философ Беросус пишет, яко от седмаго сына Афетова от Мосоха изыде Словенский народ, Еврейски же и Халдейски именуется от Масху(и)ния, сына Афетова. От них же мнози народы: Русь, Печерцы, Болгары, Сербы, Хорваты... И потом мнози древнии философы истинно уверяся от писания и во всех крониках сице описуют, яко от Мосоха, сына Афетова, изыде толик народ; по сем убо нарицается Москва, яко от Мосоха и приселницы суть от Чермнаго моря приидоша на место между Днепра и Дона и седоша в лесех, идеже река ныне зовомая Москва. Прежде бо не именовашеся тако река сия, но по вселении их и от их имяни прозвася».

Далее следует повесть о заселении потомками Мосоха земель от Вислы до самого Белого озера: «вся же сия места поседоша едина Мосохова колена, аще и разны имяны, но вси един Московский народ». Потом помещена написанная по-польски русскими буквами подложная «грамота Александра Македонского», и вновь речь возвращается к Мосоху: «Истинный же столп языка словенского в Московской земли, глаголаша прямо от размешения языка прияша прадед своих, и болшим именем страна та нарицашеся, понеже изыде корень от Мосоха, по Еврейску же и Халдейску от Мосхиния, сына Афетова; по сему убо тако имя нарицашеся Московия, и письмена Словенския еже от Кирилла изведено и сими писаху Московия, тако яже и язык праделен глаголаху. И Чехи и Ляхи сии язык глаголаша, но не истинно, изменено много от Немец и Латинского языка множество словес их... старейшее же имя словенского народа Московия именоватися, иже от Мосхиния, сына Афетова, еже в Библии описуется Мосох» [30].

За этим безымянным хронистом следует и уже знакомый нам Тимофей Каменевич-Рвовский, который назвал свой труд так: «Историчествующее древнее описание Кенсемира Кифича Рвовского о начале Славенороссийского народа и градов Москвы, Новаграда Великаго и протчих, писанное собственною ево рукою вчерне лета мироздания

7207 году»— то есть в 1699 г. н. э. Он несколько более витиеват, но столь же уверен: «Ною же праведному внука суща бывша, именем Месеха, или рещи, Мосоха; сей же убо Мосох, егда отдоися и совозрасте, бысть муж крепкорукий и вытяганец лукосильный... патриарх бо он быв первый той и отец наш князь Великий Мосох Иафетович и господарь всем нам» [31].

Еще подробнее распространяется о Мосохе «Синопсис», приписывающийся ученому архимандриту Иннокентию Гизелю, изданный впервые в 1674 г. и неоднократно затем перепечатывавшийся, который длительное время служил самым доступным пособием по отечественной истории. В начале его находится глава «О Мосохе прародителе Славенороссийском и о племени его», сопровождаемая прямыми ссылками на Стрыйковского: «Мосох шестый сын Афетов внук Ноев, толкуется же от Еврейска Славенски «вытягающий и растягающий» от вытягания лука, и от расширения великих и множественных народов Московских, Славенороссийских, Польских, Волынских, Чешских, Болгарских, Сербских, Карвацких и всех обще, елико их есть, Славенский язык природне употребляющих. Той бо Мосох по потопе лета 131, шедши от Вавилона с племенем своим, абие во Азии и Европе, над берегами Понтскаго или Чернаго моря, народи Мосховитов от своего имене и осади: и оттуда умножшуся народу, поступая день от дне в полунощныя страны за Черное море, над Доном и Волгою реками, и над озером или отногою морскою Меотис, идеже Дон впадает, в полях широко селеньми своими разпространися, по свойству и истолкованию имени отца своего Мосоха. Ибо, яко Афет толкуется разширение или расширителен, тако подобне сказуется и Мосох растягающий и далече вытягающий. И тако от Мосоха праотца Славенороссийского, по последию его, не токмо Москва народ великий, но и вся Русь или Россия вышенареченная произыде, аще в неких странах мало что в словесех и пременися, обаче единым Славенским языком глаголют».

В другой главе — «О наречении Москвы, народа и царственнаго града»— следует ссылка уже на М. Кромера: «Москва народ от Мосоха праотца своего и всех Славенороссов, сына Афетова. А царствующий град Москва от реки Москвы... Наречение сие Москва, от имени праотца Мосоха изшедшее, аще оно и издревле вестно древним летописцам бе, обаче на мнозе и в молчании пребываше; ибо когда трие братия Князи Варяжстии... Россиею

обладаша, тогда Россами или Русаками звахуся... Москва бо град над рекою Москвою от имени ея нареченный, первее из древа создан бысть и незнатен, даже до Великого Князя Иоанна Даниловича, иже престол княжения от Владимира града в Москву град пренесе.

И тако величеством славы престола княжения от Владимира града пренесеннаго, Богоспасаемый град Москва прославися, и прародительное в нем имя Мосоха в народе Российском обновися, еже неувядаемою в веки памятию процветая...»

В третьей главе, «О народе Русском или, свойственнее, Российском, и о наречении или названии его», вновь со ссылками на М. Стрыйковского, рассмотрены несколько преданий о происхождении имени русских: от городка Роси близ Невы, от реки Роси, от русых власов... «Но паче всех тех подобий достовернее и приличнее,— высказывает собственное мнение Гизель,— от разсеяния своего, Россы имя, от древних времен себе стяжаша. Ибо на широкой части света, по многим различным странам, иные над морем Черным Понтским Евксином; иные над Танаис или Доном и Волгою реками; иные над Дунайскими, Днестровыми, Днепровыми, Десновыми берегами, широко и различно селенми своими рассеяшася. Тако вси древнии летописцы Греческие, Российские, Римские и Польские свидетельствуют. Наипаче и Божественное писание от пророчества Иезекиилева, во главе 38 и 39, имя тое Россов приличне изъявляет, нарицающе князя Росска, Мосох и прочая. И тако Россы от рассеяния своего прозвашася, а от Славянов именем точию разнствуют, по роду же своему едино суть, яко един и той же народ Славенский нарицается Славеноросский, или Славноросский»[32] (вопрос о принадлежности «Синопсиса» И. Гизелю считается до конца не решенным; по крайней мере достоверно известно, что он был его редактором).

Под влиянием Стрыйковского пишет и историограф царя Федора Алексеевича (+1682 г.): «Довод: от святаго писания и от розных языков и историков, что от Мосоха Москва имя свое получила»[33]. О том же ясно свидетельствует уже само заглавие другой рукописи конца XVII в.: «Повесть известная, со свидетельством многих историков, о многословутном граде Мосхве, яко таковое звание прия от Мосоха»[34].

Официозное признание, по мнению А. Н. Робинсона, теория «Москва — Мосох» получила при Петре I, когда по его личному указанию в Амстердаме было издано

«Введение краткое во всякую историю...» (1699), где прямо сказано: «Москва река паче всех рек прославися, зело и именем Мосоха, праотца Российскаго, и пресветлейшим престолом пресветлейшаго и великаго монарха» [35].

Куда осторожнее выражается об этом предмете Димитрий Ростовский в «Летописи»: «Еще же и Москве, и прочиему русскому народу, и всему славенскому языку от Мосоха произыти глаголют многи, якоже и святый пророк Иезекииль именно Мосоха, князя быти Руска, рече» [36].

Генеалогию Москвы от Мосоха поддержал поэт и ученый В. К. Тредиаковский в своих «Трех рассуждениях о трех главнейших древностях российских...», вышедших в свет в 1758 г.: «Пускай же, по-моему, будет оно двухсотлетнее токмо у поляков; да что из сего в том? Поляки были первыми, кои сие мнение разгласили»— и потому они «всякаго, по моему ж, приятия достойни за сие» [37].

В начале XVIII столетия приверженцем теории «Москва — Мосох» выступил в «Ядре российской истории» А. А. Манкиев: «Мосох или Месех был патриарх и родоначальник народов Московских, Русских, Польских, Волынских, Чешских, Мазоветских, Болгарских, Сербских, Кроатских и прочих всех, которые обще Словенский язык употребляют... По времени сии народы, произошедшие от Мосоха, ради смешения иных народов и рубежности, или для различных туда и инде походов и войн, старое свое название пренебрегше, звани и писаны были от князя своего Русса, которой от Мосоха произведение свое вел... и держава их Россия. От той великой славы сии Мосоховы наследницы... Славянами прозваны были» [38].

Но кое-кому в местнической гордости уже и происхождения от Мосоха было недостаточно. Так, когда во второй половине XVIII в. Г. А. Полетика привез в Петербург с Украины «Историю руссов», приписывавшуюся тогда Г. Конисскому, там еще значилось, что все славяне зовутся «по князю Мосоху, кочевавшему при реке Москве и давшему ей сие название, московитами или мосхами» [39]. Но уже в 1710 г. Григорий Грабянка, казачий полковник, в отличие от потомков Мосоха — москалей происхождение казачьего племени выводил от первого сына Иафета — Гомера[40]. Налицо прекрасный пример того, как спесь принимает размах прямо-таки гомерический...

В том же XVIII веке теория «Москва — Мосох» совершила обратное путешествие на юго-восток Европы, откуда в свое время пришла к нам. В составленной в

1762 г. «Истории славеноболгарской» Паисий Хилендарский пишет в частности, что когда Ной делил землю между тремя сыновьями, то Иафету «заповедал» населить Европу. Сына Иафета звали Мосхос: «На негово племя пал и разделил ся Мосхосов род». Потомки Мосхоса «пошли на полунощна страна, где е сега Московска земля». По имени «Мосхоса, прадеда своего», они назвали реку «Москва, а по нея и село» и «нарекли ся москами»[41].

У южных славян сторонниками «Москвы — Мосоха» выступили в XVIII в. также историограф Йован Раич (1794—1795) в своей «Истории разных славянских народов»[42] и Спиридон иеросхимонах болгарский (1792) на основании Гизелева «Синопсиса»[43].

В свою очередь в России в самом конце того же столетия ее поддержали поручик П. Захарьин в изданном в 1798 г. «Новом Синопсисе»[44] и издатель «Подробной летописи» Н. Львов[45].

Известный немецкий ориенталист И. Гаммер-Пурршталь (1774—1856) в своем сочинении «О происхождении русских», выпущенном в 1827 г. в Петербурге на французском языке, приводит несколько древних текстов восточных писателей, например, арабского историка Айни (1451), который упоминает Гога, Магога и Монсока и на основании их делает предположение, что «Рос» жили у Аракса, а «Мосох»— это народность месхи, переселившаяся затем на Волгу. Однако никаких доказательств тождества Рос-Мосохов с русскими в его сборнике нет[46].

Довольно любопытно восприятие теории «Москва — Мосох» масонами и скопцами. Осуществлявший непосредственную связь между ними в начале царствования Александра I камергер польского происхождения Алексей Еленский, следуя поветрию «дней александровых прекрасного начала», подал императору проект... преобразования всего государства в скопческую коммуну. Во главе ее должны были стать особый советник на положении патриарха при царе и бюро из двенадцати главных пророков. Во всех армейских полках, на каждом военном судне и в городах полагалось по пророку чином ниже; скопцам предназначалось и руководство церковью, а поскольку каноны издревле запрещают занимать священные должности «каженикам», их предписывалось посвящать через прямой обман. И все это затеяно было, как особо отмечено в предисловии к записке Еленского, «на возвышение возлюбленного отечества, Рос-Мосоха именуемого»[47].

В 1879 г. сторонником теории о Мосохе выступил

проф. А. А. Некрасов в своем исследовании «Место первоначального обособления славянского племени...» [48].

МОСОХ В ИСТОРИОГРАФИИ XX ВЕКА

Выпущенное в 1914 г. в Вильне «Пятикнижие Моисеево» (которое не так давно было воспроизведено фототипически в культовых целях и распространялось официально через московскую хоральную синагогу) в примечаниях на «Толедот» (родословие сынов Ноя.— Бытие, гл. 10) к имени Мешех дает следующее толкование:

«а) Мосхи, жившие между Черным и Каспийским морем (ср. «напрягающие лук» у Исаии, 66:19);

б) Некоторые ориенталисты разумеют под Мешех Московию, а под Рош-Мешех (Иезекииль, 38:2—3) Русь Московскую». Далее приведено еще предположение, что предшественник Мешеха в «Толедот» Тубал (Фовель) дал имя уральской реке Тоболу и названному по ней городу.

В советской науке поддерживать в той или иной мере мнение о происхождении имени Москвы от Мосоха склонны были академик Н. Я. Марр[49] и Н. И. Шишкин, автор появившейся в 1947 г. статьи «К вопросу о происхождении названия «Москва» [50].

И, наконец, некоторые современные зарубежные ученые сочли возможным рассматривать отождествление русских с сатанинским воинством Гога и Магога в качестве общепринятого. Несколько туманно, хотя вполне развязно, пишет об этом профессор Гарвардского университета Ричард Пайпс, бывший в 1981—1982 гг. сотрудником Совета национальной безопасности США, где он ведал вопросами Восточной Европы и СССР. В своей книге «Россия при старом режиме» Пайпс утверждает, будто после крушения Золотой Орды и Византии на Руси «среди темного народа пошли фантастические легенды, связывающие деревянный по большей части город на Москве-реке со смутно понимаемыми событиями библейской и античной истории» [51].

Но вполне ясно становится читателю, кто и почему на самом деле видится за «темным народом», по одному из самых распространенных изданий протестантской Библии, неоднократно выходившему на разных языках и снабженному примечаниями целой коллегии в 30 «эрудитов». В комментарии на «Толедот» они в целом следу-

ют виленскому Пятикнижию: «Многие думают, что Россия соответствует странам обитания Магога, Тубала и Мешеха», опять-таки от племенного прозвания Тубала производя сибирский Тобольск. Поясняя смысл появляющегося у Иезекииля в гл. 38—39 полчища Гогова, они и вовсе раскрывают карты: «Намек на северные державы Европы во главе с Россией... Гог — это, очевидно, князь, Магог — страна. Россия и северные державы в продолжение долгого времени были гонителями рассеянного Израиля. После их попыток истребить «остаток Израиля» в Иерусалиме — уничтожение их вполне отвечает и божественному правосудию, и его заветам одновременно. Все это пророчество касается грядущего «Дня Господня».— А если кто-то пропустит невзначай такое ценное разъяснение — для него в конце книги помещена в именном указателе нарочитая подборка текстов, которые рассматриваются в качестве пророчеств о будущем отдельных стран. И, конечно, для «России в пророчестве» избран пресловутый стих 38:2 из книги Иезекииля[52]...

Вот так и оказались мы — и, следует признать, не без собственного содействия — не то что «империей зла», а попросту воинством дьявола; и чтобы понять вывод, следующий из этого определения, вовсе не требуется смотреть заокеанский боевик — ведь библейская символика является наиболее распространенной на свете уже не первую тысячу лет. Но невольно напрашивается недоуменный вопрос: неужели же все с этим диким отождествлением согласны? Были ли у него противники?

МОСКВА ПРОТИВ МОСОХА

Конечно, не все. Разумеется — были. Причем не только в нашем отечестве, но и за его рубежом.

Противником произведения славянских корней от Мосоха выступил уже Мартин Кромер, епископ вармийский, гуманист и противник реформации (1512—1589). В его хронике, доведенной до 1506 г. и изданной впервые в Базеле в 1555 г., опровержение этой генеалогии излагается на первых же страницах[53].

В русском летописном сборнике конца XVII в. рассказ И. Гизеля о Мосохе решительно отвергается: «Это у него в летописце напечатано не против божественного писания и старых древних летописцев, своим изволом, к похвале Мосоха и Москве реце. Буди то от его (Мосоха) родов

вся Словенская и Русская (земля) распространилася, несть сие полезно и не праведно... А о сем Мосохе ничто же бысть в Писании... ни о части его в Руссийские земли... до 182 года» [54] — то есть до первого издания «Синопсиса» в 1674 г.[55].

Татищев в «Истории Российской» вину изобретения теории о Мосохе возлагал целиком на поляков, которые сперва при татарах отказывались даже признавать за русским князем титул великого. Зато потом, в XVI веке, «как они сего силою удержать не могли, то они употребили лестное коварство ко прельщению, стали в историях выводить, якобы сие имя, от Мосоха сына Афетова произошедшее...» И затем приходил к такому обобщению: «Происхождение народов, хотя следуя письму святому, то есть Библии, не иначе, как от Ноя и сынов его произошло, но чтоб далее, от которого сына который народ, кроме имянованных у Моисея, верно и безсумненно сказать можно было, я не берусь. Правда, что Берозус, Иосиф Флавий, яко же и другие, Библию, равно как ковер Милитрисы, употребляют и на все, что токмо хотят, натягивают» [56].

В середине XVIII в. отрицательно относились к версии о Мосохе перешедшие на русскую службу академики Т.-З. Байер и Г. Ф. Миллер. М. В. Ломоносов, хотя и спорил по этому поводу с Миллером, сам, однако, тоже высказаться в пользу достоверности теории о Мосохе уклонился: «Мосоха, внука Ноева, прародителем славенского народа ни положить, ни отрещи не нахожу основания. Для того оставляю всякому на волю собственное мнение, опасаясь, дабы Священного писания не употребить во лжесвидетельство, к чему и светских писателей приводить не намерен» [57].

Против одобрения теории кн. М. Щербатовым, заявленного в его «Истории», выступал в конце XVIII столетия И. Болтин, который в своих замечаниях на этот труд подчеркивал: то, что Мосох был сыном Иафета — несомненно, однако думать, будто от него именно пошли Москва и весь русский народ — «есть невероятно» [58].

Столетие спустя А. И. Кирпичников называл известия о Мосохе «образцом фантастики, то живой и остроумной, то педантически нелепой», отмечая в заключение: «Я оставляю в стороне эти измышления книжников» [59]. Третировал в своей «Истории города Москвы» «наивные сказки о Мосохе» и И. Е. Забелин[60].

Наконец самое авторитетное в дореволюционной библеистике двенадцатитомное издание «Толковая Библия», вы-

шедшее в 1904—1914 гг. под редакцией А. П. Лопухина и преемников, дает по занимающему нас вопросу наиболее полную сводку известий древних историков и делает заключение, с которым нам также представляется возможным в основном согласиться. Приводим его в последовательных выдержках[61].

«ФУВАЛ, МЕШЕХ.— Как в книге Бытия, так и в других местах Священного Писания эти два народа обычно соединяются вместе и изображаются данниками Магога (Иез. 38:2; 39:1). Однажды, впрочем, они соединяются с Иаваном (Иез. 27:13) и еще в двух местах местожительство их определяется на севере Палестины. В анналах ассирийских царей нередко упоминаются Muski и Tabal в качестве двух соседних народностей, населяющих Киликию; а Геродот говорит о Тибаренах или иберианах (иберийцы) и мосхах, живших по соседству с Колхидой. Ученые полагают, что первоначально обе данные народности обитали в верховьях Тигра и Евфрата, между Мидией и Скифией, то есть в Колхиде и Иберии, расположенных на юге современного Кавказа (Фувал — предположительно иберы или грузины). Мешех — греч. Μοσχοι — на севере Малой Азии, упоминаются впервые Гекатеем Милетским; в персидском царстве Мешех и Фувал принадлежали к 19-й сатрапии (Геродот III, 9; VII, 78)...

РОШ — по-еврейски «голова», «главный», как и переведено в Вульгате вместо «Рос, Мосоха»— «главный князь Мосоха». Но в переводе 70-ти толковников и всех других древних переводах «Рош» считается собственным именем. Библия не знает такого народа. Сопоставляют с ним ROS византийских и восточных писателей X в. (ср. также: «Рос» Корана[1]),— называющих так скифский горный город, у арктического Тавра или у Черного моря и Волги, т. е., очевидно, нас, русских. Против такого отождествления (Гезениус) Генсенберг заметил (будем признательны ему), что «русские не могут быть помещены между врагами царства Божия». Сопоставляют также с роксоланами Плиния (Hist. Nat. IV, 12) и Птоломея (III, 5) и «Раси» клинописных надписей, которых нужно искать на западной границе Елама у Тигра. Во всяком случае, тоже (как Гог и Магог) народ отдаленнейшего севера и страшный своею неизвестностью.

---

[1] «Ар-Расс» упоминается в Коране в суре XXV, ст. 40 и суре L, ст. 12 — и истолковывается как часть местности, город или колодезь на Ближнем Востоке[62].— *П. П.*

Если Рош-Мешех и Фувал — это скифы, то пророк мог иметь в виду тот большой поход скифов в переднюю Азию, о котором рассказывает Геродот (1, 103 и след.; ср. IV, 11 и след.) и на который, кажется, не раз указывает кн. Софонии и Иеремии IV—VI. В Пс. 119,5 Мешех означает варваров отдаленнейшего севера, а несомненно, что скифы жили тогда между Черным и Каспийским морями. По Геродоту, они грабили Переднюю Азию в течение 28 лет и опустошили ее страшно.

ГОГ.— У Иезекииля впервые употреблено это страшное своей новизной и поражающее краткостью и энергией имя, причем он, может быть, сопоставил его с созвучным именем Магог, одним из самых северных народов, чтобы обозначить этим редким и малознакомым именем всех новых врагов Израиля отдаленного будущего, которые появятся с самых отдаленных частей всегда враждебного иудеям севера, откуда надвинулась на них и последняя катастрофа — плен, откуда вышли и все враги Израиля (Ассирия, скифы, Вавилон, персы),— и, появившись оттуда, получит с юга сильные вспомогательные войска, благодаря чему как бы весь мир обрушится на Израиль.

МАГОГ.— У Иезекииля представители этого племени выступают в качестве искусных и опытных стрелков (38:16; 39:3), а само оно помещается несколько севернее Гомера. Ввиду этого большинство склонно видеть здесь указание на скифов... На судьбе скифов исполнилось и пророчество Иезекииля о погибели их в долине Хамон-Гога, когда они потерпели страшное поражение в области Палестины от войска Псамметиха и развившихся у них повальных болезней, как свидетельствует об этом Геродот (1, 105—106)».

Как видим, библеистика склонна в большинстве считать предсказание Иезекииля сбывшимися до нашей эры и в особенности на скифах; по крайней мере, серьезных оснований для отождествления Мосоха с русским народом она не признает. Остается, впрочем, гадательным облик Гога и Магога в грядущем, как он символически изображен в Апокалипсисе. И тут нам очень хотелось бы знать мнение главного знатока теории «Москва — Мосох» А. Н. Робинсона. Но в этом отношении он хранит загадочное молчание — как будто бы, описавши историю толкования образа в средневековом общественном мнении, он позабыл заглянуть в Библию, чтобы узнать — кто же таков этот столь занимающий его Мосох и что ему написано на роду. А в отсутствие серьезной научной разра-

ботки отвержение журналистом Владимиром Большаковым в еженедельнике «За рубежом» существования в США боязни апокалипсиса, «который придет из мифической земли Рос,. ассоциируемой с Россией» [63], выглядит по меньшей мере голословным.

МОСОХ И ФИЛОФЕЙ

Тут возникает простой соблазн списать нелепую генеалогию если не на поляков, то на недостаточную образованность и легковерие предков. Однако даже и последний невежда прошедших времен поостерегся бы назвать своим родоначальником, скажем, Иуду или Каина, а тем более уже самого древнего из числа отверженных — сатану.

Дальнейшее направление поисков подсказывает одно замечание дважды уже упоминавшегося Т. Каменевича-Рвовского, который в послании к Кариону Истомину, озаглавленном «Божий град» (1680—1681), говорит: «Писана быша сия не во Италии, святем старом и ветцем Риме, ниже в Палестине, святем Иерусалиме, но во велико-славном нашем словено-российском государстве, третьем Риме Московском царстве...» [64]. Это указание дает, на наш взгляд, возможность отодвинуть время принятия на Руси «происхождения от Мосоха» с середины XVII века более чем на столетие назад и связать воедино две теории: «Москва — Мосох» и «Москва — Третий Рим».

Прислушаемся ко ключевому предложению второй из них, сформулированному в главном произведении старца псковского Елеазарова монастыря Филофея «Послание Мисюрю Мунехину на звездочетцев» (ок. 1523): «...вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть росеское царство: два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти» [65]. Тут важно каждое слово; обратим сперва внимание на странное название «нашего царства»— «росеское».

Во всех прежних изданиях, за исключением последнего, из которого мы здесь сделали точную выписку, вместо «росеского», писалось или «росийское» или «ромейское». В. В. Колесов, издавший «Послание» по старейшей рукописи первой половины XVI в. в цитируемом нами томе «Памятников литературы Древней Руси», делает к

загадочному определению такое примечание: «Может быть, игра слов: в пророческих книгах говорится о *ромейском* царстве»[66]. Соображение малоубедительное — в книгах ветхозаветных пророков речь о «ромейском царстве» не заходит впрямую ни разу.

Исследовавший послания Филофея с точки зрения текстологии А. Л. Гольдберг считает слово «росейское» или «росийское» ошибкой переписчиков вместо опять-таки более правильного с его точки зрения «ромейского» царства. Но именно в своем же исследовании он показывает, что и самые древние редакции содержат определение «росейское» (в их числе он называет и ту рукопись из ГПБ под шифром Q XVII. 15, переписанную в 1540—1550-х гг. в Иосифо-Волоколамском монастыре, которую впервые издал В. В. Колесов)[67].

Здесь мы рискуем предложить следующее толкование: «росеским» — по «пророческим книгам» — царство наше названо в соответствии со словами книги пророка Иезекииля о Рос-Мосохе. И основанием для него служит не только не известное более нигде искажение «российского» в «росеское». Именно при жизни Филофея в той самой епархии, к которой принадлежал Елеазаров монастырь, при новгородском владыке Геннадии был завершен полный перевод на славянский язык всего корпуса Библии. По этому переводу она и была впервые издана в Остроге в 1581 г., а затем со знаменитого острожского напечатано и первое издание внутри России, при царе Алексее Михайловиче в 1663 г. Так вот, во всех этих изданиях в пресловутом стихе Иезекииля 38:2—3 допущено сознательное искажение: «Рош, Мешех» переведено не как в католической Вульгате «главный князь Мосоха» (известно, что сотрудниками Геннадия были два доминиканца славянского происхождения, с помощью которых работа и была завершена к 1499 г.); здесь мы с удивлением видим даже не «князя Рос», а прямо «князя Росска»! Подобная подгонка не имела под собою уже вовсе никаких оснований, кроме вождений самого переводчика; и не случайно во всех последующих переизданиях славянской Библии, начиная с Елизаветинской, самочинное «Росска» исправляется вновь на «Рос» с примечанием под страницею «Евр.: Рош, Славен.: глава или главнейший».

И также вовсе не совпадение, по нашему мнению, что возложение на себя «достоинства» Мосохова потомства совпало с первым отчетливым заявлением о готовности

признать Москву Третьим Римом. Вернемся к формуле Филофея, приведенной выше, и рассмотрим допущенные в ней искажения в порядке возрастания — от меньшего к большему. Сразу вслед за утверждением, что «четвертому не быти», следует ложная отсылка: «Многажды и апостол Павел поминает Рима в посланиих, в толкованиих глаголет: «Рим — весь мир»...» [68]. «Точно таких слов в дошедших до нас посланиях апостола Павла нет»,— вынужден признать комментатор В. В. Колесов, и потому, по его мнению, следует понимать лжецитату расширительно, тем более, что «Рим» и «мир» — палиндром (перевертыш, читаемый одинаково с начала и с конца)[69]. И вновь приходится считать его вежливое оправдание не слишком основательным, а приведенное «изречение» апостола Павла, попросту говоря, выдуманным.

Теперь перейдем к вопросу, почему-то многочисленными толкователями теории о «Третьем Риме» почти что не замеченному. В наиболее обширном исследовании В. Малинина[70] приведено замечательное собрание текстов, которые каким-либо образом могли дать основание для учения о трех мировых царствах и наставшем четвертом, завершающем. Но, естественно, тотчас же вслед возникает недоумение: уж коли последнее из этих царств, отождествляемое с Римским, имеет столицу подвижную, то почему же она не может двигаться сколько угодно? Отчего только три Рима, а «четвертому не быти»?! И оказывается, что под это утверждение ни богословских, ни литературных оснований подвести невозможно — их нет. Единственное остроумное соображение, которое находится в этой связи в специальных и общих исследованиях предмета, содержалось в выступлении на VI Международном семинаре «От Рима к «Третьему Риму», состоявшемся летом 1986 г. в Москве, профессора из Рима М. Кальдо. В любопытном докладе «Римская идея и теория «Москва — Третий Рим» в XV—XVI вв.» — чуть ли не единственном из всех выступлений, посвященном непосредственной теме семинара — он высказал догадку, что «четвертому не быти» следует переводить не как обычно — «четвертому не бывать», а в смысле «дай Бог, чтобы четвертого не было!». Соображение, конечно, скорее красиво звучащее, нежели верное,— но в любом случае это единственное «оправдание» данного положения Филофея.

ВЕТХИЙ РИМ И СТАРЫЙ ИЕРУСАЛИМ

И, наконец, главное и краеугольное недоумение: почему все-таки образцом избран был Рим? Языческий Рим, сколь-либо положительное отношение к которому начисто отсутствует в новозаветной традиции, имеющей совершенно иной и вовсе не чувственный идеал «Нового Иерусалима»?

Вера в «вечность Рима» и бесконечность его царствия над землею действительно была одной из важнейших составляющих частей римского язычества. Именно под впечатлением ее крушения современник падения Рима, взятого и разрушенного готами Алариха — исповедовавшего христианство арианского толка — Аврелий Августин создал в V веке новой эры знаменитое учение о двух градах: граде «богов» Риме и Граде Божием, ничего общего с Ветхим Римом не имеющем[71].

Для первых христиан Рим отождествлялся с апокалиптической блудницей, сидящей на звере, имеющем семь голов, «матерью блудницам и мерзостям земным», упоенной «кровью святых». Образ ее толковался в той же 17 главе «Откровения Иоанна Богослова»: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями», а «семь голов», на которых сидит жена, «суть семь гор». Современные комментаторы согласны в том, что «черты этого описания заимствованы из исторической действительности языческого «семихолмного» Рима[1]. Но языческий Рим есть только прообраз грядущей великой державы зверя и яростной, но тщетной борьбы ее с Агнцем»[72].

Образ, конечно, для правоверного человека русского средневековья отнюдь не привлекательный. Но при ближайшем рассмотрении исторические обстоятельства, в которых складывалась теория «Москва — Третий Рим», оказываются весьма далеки от правоверия.

Псковская земля была колыбелью первого широкого еретического движения на Руси, начавшегося в XIV в. — стригольничества, остатки которого продержались во Пскове до 1430-х годов[73]. При жизни Филофея, в конце XV— первой трети XVI вв. еще вовсю полыхали страсти,

---

[1] В 16-й главе «Апокалипсиса» находится и самый убийственный довод против идеи Третьего Рима — это стих 19, который дословно гласит: «И город великий распался на три части... чтобы дать ему чашу вина ярости гнева...»

вызванные второй волной еретичества — «жидовствующими». Она была занесена заезжим торговцем Схарией (князем Таманского полуострова Захарией Скарой[74]) в Новгород и, распространившись впоследствии на Москву проникла даже в великокняжеский дворец. Внешние формы ереси порою доходили до предела кощунства — иконы, которые они считали «идолами», жидовствующие топили в отхожих местах[75], а чрезвычайно распространенный среди их приверженцев содомский грех современные ученые склонны считать уже не распущенностью нравов, а «ритуальным действом»[76]. По вероучению жидовствующие относились к иудаистам[77].

Чрезвычайно знаменательно, что как раз принадлежавший к числу тайных сторонников ереси митрополит московский Зосима, удаленный затем с кафедры за бесчинство и содомский грех, первым в своем извещении о пасхалии на восьмую тысячу лет назвал великого князя Ивана Васильевича «новым царем Константином» — «новому граду Константину Москве»[78]. Ересь в конце концов внешне была подавлена, но отнюдь не скоро вывелся посеянный ею плод. Недаром автор особого исследования «Русь — Новый Израиль. Теократическая идеология своеземного православия в до-Петровской письменности» Н. Е. Ефимов подчеркивал, что сторонники учений, подобных теории «Москва — Третий Рим», вдохновлялись «мистической фикцией, окружающей Русь ореолом ветхозаветного богоизбранного еврейства и вполне гармонирующей с их представлением о ней, как о народе Божием, одиноком хранителе заповедей и откровений Господа»[79].

К несколько резкой формулировке дореволюционного исследователя следует, на наш взгляд, сделать в свете рассмотренного материала существенную оговорку. В теории «Москва — Третий Рим» встретились два религиозно-политических учения, возникших до нашей эры и уже никак не отвечавших новой действительности. Это были, образно говоря — коль скоро речь у нас идет о городской символике средневековья,— Старый Иерусалим и Ветхий Рим, воплощавшие в зримом образе идеал «избранного» народа и всемирного царства. Поэтому соединение их и следует более точно определить как учение об «избранном царстве».

Заносное с запада или востока поверие никак не смогло бы укорениться на отечественной почве, не найди оно тут благодарного приема у того человеческого свойства, которое издревле почитается корнем всех прочих поро-

ков — гордости. И покуда шла открытая борьба с новоявленной ересью со стороны церковной и гражданской власти, самый дух ее, куда более тонкий, нежели грубая внешняя форма, потихоньку овладевал нетерпеливыми умами.

В этом отношении показательна как раз та обитель, где был иноком создатель учения о «Москве — Третьем Риме» Филофей — Спасо-Елеазаров Великопустынский монастырь, вопреки обыкновению названный не по монашескому, а по светскому имени основателя его преподобного Евфросина, в миру Елеазара. Вольное обращение со священными текстами, свойственное Филофею, было здесь отнюдь не единичным явлением. Как раз во время жительства в монастыре старца Филофея тут была создана первая редакция «жития» основателя обители Евфросина (1510) — собственно даже не житие, а облеченный в форму жития трактат в защиту так называемой «сугубой аллилуйи», в который сочинитель не стеснялся подверстывать и изобретенные им в «обоснование» своего заблуждения «чудеса». Любопытно, что эта столь впоследствии любезная сердцу раскольников и осужденная соборно в 1667 г. апология «сугубой аллилуйи» составлена была по повелению уже упоминавшегося архиепископа новгородского Геннадия, одного из главных противников «жидовствующих» и сторонника как раз «трегубой» аллилуйи[80].

Следует заметить, что в окружении архиепископа Геннадия была сочинена и чуть ли не первая реплика на Филофеево учение о Третьем Риме — «Повесть о новгородском белом клобуке», произведение, в котором безоглядная любовь к отечеству вновь разрастается до вселенской спеси, за что оно и было также осуждено на соборе 1667 г. как написанное «от ветра главы своея»[81].

И последний штрих к истории места жительства Филофея. Как пишет исследовательница псковской старины Н. Н. Масленникова, этот монастырь, бывший «одним из самых богатых в Псковской земле»— «после присоединения Пскова к Москве... больше в летописях не упоминается»[82].

МОСКВА ПРОТИВ ТРЕТЬЕГО РИМА

Будучи создана в кругах образованных книжников, теория «Москва — Третий Рим» так и не стала частью

государственной идеологии. Даже в общественном мнении средневековой Руси она отнюдь не пользовалась всеобщей поддержкой. Напротив, с ее опровержениями выступали такие писатели, как известный борец против ересей середины XVI в. Зиновий Отенский[83]; один из первых поборников всеславянского единства в XVII столетии Юрий Крижанич, который виновниками этой теории прямо называл греков[84]. При этом Крижанич, как пишет современный исследователь историко-политических идей русской средневековой книжности, «был убежден в автохтонности русской государственности и в изначальном ее суверенитете, который, по его мнению, не нуждался в опоре на вымышленные связи с мировыми державами... Не в уподоблении Руси Риму, а в укреплении национальных устоев великой славянской державы видел Крижанич задачу русской историграфии» [85]. Этот автор, как и большинство ученых, стоит на той точке зрения, что государственного значения доктрина не получила из-за своего коренного противоречия действительным потребностям развития Московской Руси. На языке своего времени это внятно выразил Иван Грозный, когда в разговоре с папским послом Антонием Поссевино ответил на предложение, приняв унию с Римом, получить от него помощь в завоевании Константинополя: «Мы в будущем восприятия малого хотим, а здешнего государства всее вселенные не хотим, что будет ко греху поползновенно» [86]. Современная исследовательница Р. П. Дмитриева пишет о том же уже в понятиях нашей эпохи: «Русское правительство нигде и никогда не применяло во внешнеполитических переговорах в XVI в. теорию «Москва — Третий Рим» [87] А В. Т. Пашуто, выступая на одном из предыдущих семинаров «От Рима к «Третьему Риму» состоявшемся в Риме, делает и более общий вывод о том, что данная теория «занимала подчиненное положение в истории политических идей XVI—XVII вв. и к концу XVII в. утратила свое политическое значение» [88].

Но самое решительное столкновение между идеями Нового Иерусалима и Третьего Рима в применении к Москве произошло в середине XVII столетия в связи с делом патриарха Никона. В переизданной при нем «Кормчей» он поместил составленное при патриархе Филарете известие об учреждении патриаршества на Руси, в котором мысль о Москве как Третьем Риме в формулировке, заимствованной у Филофея, вложена в уста константинопольского патриарха Иеремии. Но в итоговом своем про-

изведении — «Разорении...», написанном в ответ на обвинения, выдвинутые против него Паисием Лигаридом, Никон гневно вопрошает его: «Ты говоришь: слава и честь Рима перешли на Москву. Откуда ты это взял? Покажи мне. Ты видел, что говорят Деяния Отцев Константинопольского Собора (1593 г., который утвердил основание патриаршества на Руси.— *П. П.*)? Что там сказано об этом? Патриарх Московский, будучи сравнен в чести с Иерусалимским, должен поминаться в диптихах после Иерусалимского. И мы счастливы оставаться при таком правиле и утверждении и не преступать меры...»[89]

Совсем не то имел в виду царь Алексей Михайлович добившийся удаления Никона с патриаршего престола, чтобы единолично взяться за осуществление собственной политической доктрины. Итоги вышли, однако, плачевными, ибо, как заключает особо занимавшийся этим вопросом прот. Л. Лебедев: «Отвергнуть духовную идею «Нового Иерусалима» значило избрать «Третий Рим», то есть встать на путь земного могущества. Но одно оказалось невозможным без другого, как и полагал патриарх Никон»[90].

При всей стремительности государственных преобразований сына царя Алексея, Петра I, теория «Москва — Третий Рим» нашла определенное отражение и в идеологии его царствования, как показало недавнее исследование Б. А. Успенского и Ю. М. Лотмана[91].

Вместе с тем ту же концепцию дружно поддержали и наиболее непримиримые противники Никона с другой стороны — раскольники. Очень показательное собрание их исповедания веры в «третьеримское достоинство» Москвы находится у Малинина. Вот слова распопа Аввакума: «Иного же отступления уже нигде не будет: везде бо бысть, последняя Русь зде». Ему вторит Никита Пустосвят: «Российское царство третий Рим и отвсюду христианское благочестие в него едино собрася». Прямо ссылается на Филофея инок Авраамий: «пишет бо святый (!) Филофей Елизарова монастыря... два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быть». Не сговариваясь с ними, о том же твердят соловецкие старцы в известной своей челобитной: «Все благочество в твое государство едино царство собрашася и третий Рим, благочестия ради, твое государство московское царство именоваша». И так далее — поп Лазарь, дьякон Федор и проч.[92]. Апофеозом раскольнического восторга по поводу этой доктрины является вышедшая уже на заре нашего столетия книга

И. Кириллова «Третий Рим. Очерк исторического развития идеи русского мессианизма» [93].

Здесь перед нами воочию яркое доказательство того, что крайности поневоле сходятся, ибо на пути абсолютистских претензий царей Алексея и Петра и поистине ветхозаветной ярости о «единой букве» раскольников стоял один и тот же Никон со своей идеей духовного единства, воплощенной в образе «Нового Иерусалима».

И чтобы затмить ее, потребовалось не только устранение Никона из Москвы и созданного им Новоиерусалимского монастыря. Нужно было произвести полную подмену корней, подмену родословия и по крови, и по духу. Памятник этой подмены дошел до нас в нескольких изводах — это так называемые «Повести о начале Москвы», созданные во второй половине XVII столетия. В них вновь после произведений Филофея встречаются совсем рядом, в одном предложении и теория «Москва — Третий Рим», и пресловутый «праотец наш Мосох»: «Вся убо христианская царства в конец дойдоша и снидошася во едином царстве, по пророческим книгам: сей град Москва именуется Третий Рим, Москва же по званию праотца нашего Мосоха, Афетова сына, внука Ноева, яже тот Мосох племя свое во все страны расшириша и умножи» [94].

Символично, что ни 3-й разряд 3-й редакции русского хронографа, где впервые открыто признается наше «происхождение» от почтенного Мосоха Иафетовича, ни подложные повести о Москве не известны до 1658 г.— времени удаления патриарха Никона из Москвы. Зато как скоро главный противник всего кривого и колотого был лишен сана, вся эта ложная историософия, словно дождавшись своего звездного часа, стремительно расцветает самым пышным цветом. Причем Мосохова корени, Третьеримского звания и даже заемных «семи холмов» уже недостаточно; требуется еще и чтобы Москва на образец Ветхого Рима основана была непременно на крови. И крови, пролитой не за веру или спасение ближнего, а так — от блуда. В текст «Повестей о начале Москвы» вводится история о том, как жена Даниила Московского (в другом изводе Андрея Боголюбского — оба были канонизированы, но отнюдь не за то, что предлагается тут читателю) пала в смешение блуда разом с двумя братьями Кучковичами, которые здесь, на своей земле, несчастливого мужа своей любовницы и обезглавили. Теперь-то уже можно с удовлетворением заключить, что «нашему сему Третьему Риму, Московскому государству, зачало

бысть не без крове же, но по пролитии и по заклании кровей многих»[95].

Заслуги Никона и в дальнейшем попытаются предать забвению. Постараются даже стереть из памяти его ведущее значение в восстановлении единства России и Украины — и нравственное воздействие на нерешительного царя, и то, как он с отъездом Алексея Михайловича в армию на деле остался в Москве во главе государственного управления и спас царскую семью от чумы. Напротив, предав беспамятству идею Нового Иерусалима, где он стремился создать всеправославный очаг культуры, приклеят ему ярлык мнимого захватчика верховной власти.

В XIX столетии «Разорение...» Никона выпустит в переводе на английский В. Палмер — в Лондоне[96]. В 1982 г. впервые издаст полный текст оригинала Г. Вернадский... за океаном, в Нью-Йорке[97]. А на родине, где он и по сю пору не напечатан, в то же время «кандидат философских наук, заведующий экспозицией Музея истории религии и атеизма» Г. Прошин позволит себе, не утруждаясь ссылками и попросту голословно, почти что в виде брани, заявить ста тысячам читателей его книги «Черное воинство»: «Никон грезил не о первенстве в русском «Третьем Риме» (чего он достиг), а о первенстве среди патриархов восточных и, наконец,— третья и последняя ступень — о первенстве вселенском»[98].

РАСКОЛЬНИКИ И ДИССИДЕНТЫ

И здесь самое время, по нашему мнению, обратить внимание на опасный перекос, произошедший в исторической науке, изучающей политические учения средневековья. Ф. Энгельс писал, что «мировоззрение средних веков было по преимуществу теологическим»[99]. Разбираясь с нынешними диссидентами, нельзя забывать, что понятие это также исконно религиозное. «Диссидент» в переводе на русский значит «раскольник». Но почему-то именно сектантов и раскольников выбирают предметом своего сочувствия пишущие о средних веках авторы. Помимо названной уже выше книги Г. Прошина, порою просто воспевающей гимн всякого рода средневековым диссидентам (напр., с. 144), стоит ради яркости примера также назвать работу Е. С. Варичева «Православная церковь». В своей неуемной ретивости он сумел дойти до того, что изложил отказ Москвы от унии, принятой на

Ферраро-Флорентийском соборе, как какую-то корыстную махинацию великого князя и его приближенных, «забыв» даже упомянуть, за что именно отвергнут был в России митрополит Исидор![100] Между тем упорное, героическое противостояние Руси насильственным попыткам Рима подчинить ее себе давно и по праву считается выдающимся достижением в духовной жизни Московского государства[101]. Многочисленные возмущенные отклики читателей на подобные выпады книги Е. С. Варичева, оскорбляющие их закрепленные в нашей конституции права, привели в конце концов к тому, что она была изъята из продажи.

Зато когда речь заходит о всякого рода извращениях, вроде масонства и сатанизма, вниманию и заботливости некоторых авторов нет границ. В 1985 г. Политиздат стотысячным тиражом выпустил снабженную множеством цветных иллюстраций и таблиц работу Еремея Иудовича Парнова «Трон Люцифера» — сущий учебник оккультизма и магии, в котором скромная «критика» этих явлений попросту тонет в море многочисленных «полезных» сведений, а на задней обложке красуется ни много ни мало «символическое» чудовище со вздыбленным срамным удом. И хотя в этой книге немало ошибок и больших, и малых (напр. на с. 275: «Сердцевиной христианской литургии является, как известно, причащение крови и телу Христову вином и хлебом» и т. д.) — ни одной маломальски критической рецензии на нее в печати не появилось. Точнее сказать — не пропустили, ибо такие отзывы существовали и были предложены, но труды Парнова почему-то числятся состоящим вне критики.

Невоплотившиеся идеи еретиков, в особенности таких, как «жидовствующие», не дают кое-кому, видимо, покоя. Так, Я. С. Лурье в послесловии к переписке Ивана Грозного с Курбским сперва очень тепло отзывается об этом движении, особо отмечая роль принадлежавшего к нему митрополита Засимы в создании теории «Москва — Третий Рим»; а потом, сетуя об отказе великокняжеской власти от окончательного принятия учения жидовствующих, которое он отчего-то вдруг именует «реформацией», переходит к вопросу об идеологических разногласиях Грозного и Курбского. Тут выясняется, что, с точки зрения Я. С. Лурье, у них обоих есть общий главный порок — вера в «пресветлое православие», из-за преобладания которого в умах Россия не пошла по пути развития капитализма. Она, напротив, в отличие от Западной Европы, «подавила предбуржуазные элементы — и в соци-

альном, и в идеологическом, и в политическом плане» — читай, тех же жидовствующих — и «развитие Московской Руси уже двинулось по... наклонной плоскости» [103].

Между тем, стоит только на миг вообразить себе, что было бы, сбудься мечта Я. С. Лурье и победи в ту пору любезные ему еретики. Со славными бы достижениями пришла наша страна к той точке отсчета, которую академик Д. С. Лихачев счастливо назвал «тысячелетием русской культуры», возьми в государстве власть в средневековье иконоборцы и содомиты!

ЕДИНСТВО

В заключение приходится повторить ту седую истину, что оселком всякой теории является практика, в первую голову потому, что след на свете оставляют не диссиденты, а творцы. Не на блуде, а на труде основана наша Москва; не на крови, а на любви собирал вокруг нее 33 года русскую землю доставивший ей звание стольного града настоящий князь Даниил, сын Александра Невского. И не чуждый Мосох или Рим, будь то первый, второй или третий, но созданный Андреем Рублевым образ Троицы символизирует для нас высшее достижение отечественной культуры средневековья — «да воззрением» на нее, как сказано в жизнеописании Сергия Радонежского, «побеждается страх ненавистной розни мира сего» [104].

1986

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Правда. 1986. 27 февраля.

[2] Кудрявцев М. П., Мокеев Г. Я. Каменная летопись старой Москвы. М., 1985. С. 86—87; см. также подробнее: Кудрявцев М. П. Москва в конце XVII в.: Дисс. ...канд. архитектуры. М., 1981, в особенности главу V «Идейно-символическое содержание градостроительной композиции». С. 130—147.

[3] Карпец В. И. Некоторые черты государственности и государственной идеологии Московской Руси. Идея верховной власти// Развитие права и политико-правовой мысли в Московском государстве. М.: ВЮЗИ, 1986. С. 13.

[4] Сказания Массы и Геркмана. Спб., 1874. С. 270; ср.: Масса, Исаак.

Известня о Московии в начале XVII в. М., 1937. С. 63. Цит. по: Л н х а ч е в Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 24. Ср.: Памятиикн лнтературы Древней Руси. Кон. XVI — нач. XVII в. М., 1987. С. 298; 582.

[5] Л о т м а н Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1983. С. 75.

[6] Р а б н н о в н ч М. Г. Не сразу Москва строилась. М., 1982. С. 5.

[7] Р о б н н с о н А. Н. Историе славянского Возрождения н Паисий Хилендарский. М., 1963. С. 100—127.

[8] Т а м ж е. С. 137.

[9] Аргументы 1984. М.: Политиздат, 1984. С. 133.

[10] Мифы народов мира. М., 1980. Т. 2. С. 596.

[11] В позднем иудаизме родилось поверне о предводителе Гога н Магога по имени Армилус, «сыне сатаны и камня», представляющем из себя «нечто вроде еврейского Аитихрнста» — «весь он плешивый, глаза маленькие, на лбу высыпь проказы, правое ухо закрыто, левое открыто». Армилусу, по преданиям иуданзма, суждено покорить Иерусалим, убить Мессню нз колена Иоснфа и наконец быть самому убиту от руки Мессии нз рода Давидова. Подробнее см.: Еврейская энциклопедия. Спб., б. г. Т. 3. С. 146—147.

[12] О Берозе см.: Д ь я к о н о в И. М. Историе Мидии. М.; Л., 1956. С. 35—40; ср.: Shnabel. Beross... Lpz. 1923.

[13] Одна нз наиболее известных средневековых подделок сочинений Бероза, прннадлежащая доминиканскому монаху Джованнн Наннн нз Витербо (см.: Энциклопедический словарь Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Пт. 6, Спб., 1891.... С. 583), вышла в 1498 г. в Риме под названием «Antiquitatum libri quinque cum commentariis Joannis Annii».

[14] Ф л а в и й И о с н ф. Древностн иудейския. Спб., 1779. Ч. 1. С. 14.

[15] Цит. по: Ш н ш к н н Н. И. К вопросу о происхождении названия «Москва»// Исторические запискн. 1947. № 24. С. 3—13.

[16] К а г а н к а т в а ц н М о и с е й. Историе албан/ Пер. с арм. К. П. Патканова. М., 1861. Цит. по кн.: М а р р Н. Я. Избранные работы. М.; Л., 1935. С. 97.

[17] Г а р к а в н А. Я. Сказання еврейских пнсателей о хазарах. Спб., 1874. С. 41.

[18] Т а м ж е. С. 57.

[19] Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. С. 307. К сожалению, из-за отсутствия его в бнблнотеках СССР, нам не удалось ознакомиться с указанным в библнографнн к этой статье нсследованием: Myres J.L. God and the Danger from North in Ezekiel// Palestine Exploration Fund Quarterly Statement, 1932, t. 64. Византийцы разделялн в иаписаннн библейское Ros с короткнм ударением от племенного Rēs с длинным, относившимся к рус-

ским — см.: Соловьев А. В. Византийское имя России. Византийский временник. М., 1957. Т. 12. С. 134—155.

[20] Dlugossi J. Historia Poloniae. T. X111. Lipsiae, 1712. P.4. Цит. по кн.: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 103.

[21] Там же. С. 14; ср.: Первольф И. Славяне, их взаимные отношения и связи. Варшава, 1988. Т. 2. С. 120.

[22] Sarnicii S. Annalium polonicorum... Цит. по кн.: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 104.

[23] Рогов А. И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения (Стрыйковский и его Хроника). М., 1966.

[24] См. статью «Хроника Мацея Стрыйковского» нз «Словаря книжннков и книжности Древней Руси»// Труды Отдела Древнерусской литературы. Л., 1985. Т. XXXIX. С. 171—173.

[25] Середонин С. М. Сочинение Джильса Флетчера «On the Russe Common Wealth» как историческнй нсточник. Спб., 1891. С. 52—54. Подделка, которой пользовался Флетчер, называлась «Berosus Babilonicus historiae qui praecesserunt... Antonini Piju».

[26] Алпатов М. В. Русская историческая мысль и Западная Европа. XII—XV11 вв. М., 1973. С. 304—305.

[27] Рукопись цит. по кн.: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 108.

[28] Там же. С. 109.

[29] Попов А. И. Обзор хроиографов русской редакции. Вып. 2. М., 1869. С. 203—204.

[30] Гиляров Ф. Предания русской начальной летописи. М., 1878. С. 12—14.

[31] Там же. С. 25—39. Ср.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Спб., 1842. Т. 2. С. 127/ примеч. 301.

[32] Гизель Иннокентий. Синопснс. Спб., 1810. С. 10—17.

[33] Цит. по кн.: Робинсон А. Н. История славянского... С. 114.

[34] Там же. С. 114.

[35] Введение краткое во всякую нсторию... Амстердам, 1699. С. 44.

[36] Митр. Димитрий Ростовский. Летопись. М., 1784. С. 244.

[37] Тредиаковский В. К. Три рассуждения о трех главнейших древностях Российских... Спб., 1758. С. 75.

[38] Манкиев А. А. Ядро российской историн. М., 1799. С. 151.

[39] Цит. по кн.: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 111.

[40] Грябянка Г. И. Действня презельной н от иачала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмельницкаго... Киев, 1854. С. 3.

[41] Паисий Хилендарский. История славеноболгарская. София, 1961. С. 54. Цит. по кн.: Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 100.

[42] Там же. С. 120.

[43] Златарски В. Н. История во кратце о болгарском наро-

де... София, 1900. С. XXVI—XXVII. Цит. по кн.: Р о б и н с о н А. Н. Указ. соч. С. 121.

[44] З а х а р ь и н П. Новый Синопсис. Николаев, 1798. С. 13—15.

[45] Л ь в о в Н. Подробная летопись. Спб., 1798. С. 19—20.

[46] Hammer. M. J. de. Sur les origines Russes. SPb., 1827. P.23—29.

[47] Дело камергера Алексея Еленского// Чтеиия в Обществе истории и древностей Российских. 1867. № 4. С. 63—82.

[48] Н е к р а с о в А. А. Место первоначальиого обособления славянского племени... Казаиь, 1879.

[49] М а р р Н. Я. Избранные работы. М.; Л., 1935. С. 97.

[50] Ш и ш к и н Н. И. К вопросу о происхождении названия «Москва»// Исторические записки., 1947. № 24. С. 3—13.

[51] П а й п с Р. Россия при старом режиме. Кембридж, Массачусетс, 1980. С. 95.

[52] Nouvelle edition de la Bible/ tr. L par. Segond. Geneve — Paris, 1975 (Пер. с англ. P. Scofield Reference Bible, выходившего в 1909, 1917, 1937, 1945 гг.), p. 19; 929—930; 1480. Выражаю благодарность Алексею Казакову, впервые ознакомившему автора с этим любопытиейшим памятником русофобии.

[53] C r o m e r i M. De origine et rebus gestis polonorum. Bas., 1555. P. 14—15. Цит. по кн.: Р о б и н с о н А. Н. Указ. соч. С. 103.

[54] З а б е л и н И. Е. История города Москвы. М., 1905. Ч. 1. С. 27.

[55] Ср.: У с п е н с к и й Д. И. Сказания о начале Москвы// Москва в ее прошлом и настоящем. М., 1910. Т. 1. С. 55—56.

[56] Т а т и щ е в В. Н. История Российская. М., 1768. Кн. 1. Ч. 1 С. 386, 70.

[57] Л о м о и о с о в М. В. Сочинения. М.; Л., 1952. Т. 6. С. 13, 20.

[58] Б о л т и н И. Критические замечания на 1 том «Истории» кн. М. Щербатова. Спб., 1793. Т. 1 С. 434.

[59] К и р п и ч н и к о в А. И., К литературной истории русских летописных сказаний// Известия ОРЯС. Спб., 1897. Т. 2. С. 55.

[60] З а б е л и н И. Е. История города Москвы. М, 1905. Ч. 1. С.27.

[61] Толковая библия. Т. 1. Спб., 1911. С. 68—69; Т. 6. Спб., 1909. С. 383. 445—446, 416.

[62] Коран/Пер. и комм. И. Ю. Крачковского. М., 1963. С. 571.

[63] Б о л ь ш а к о в Вл. Между мифом и одержимостью// За рубежом. 1986. № 21. С. 14.

[64] Т и т о в А. Тимофей Камеиевич-Рвовский// Библиографические записки. 1892. № 3. С. 174—178.

[65] Памятники литературы Древней Руси. Конец XV— первая половина XVI в. М., 1984. С. 452.

[66] Т а м ж е. С. 738.

[67] Г о л ь д б е р г А. Л. Три «послания Филофея» (опыт текстоло-

гического анализа) // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1974. Т. XXIX. С. 71—79.

[68] Памятники литературы Древней Руси. Конец XV— первая половина XVI в. С. 452.

[69] Т а м ж е. С. 738.

[70] М а л и н и н В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901.

[71] См. подробнее, напр.: Т р у б е ц к о й Евг. Религиозно-общественный идеал Западного христианства в V-м веке. Ч. 1. Миросозерцание блаженного Августина. М., 1892. С. 216—270.

[72] Новый завет. Брюссель, 1964. С. 502.

[73] Подробнее см.: К а з а к о в а Н. А., Л у р ь е Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — нач.XVI вв. М.; Л., 1955; К л и б а н о в А. И. Реформационные движения в России в XIV— первой половине XVI вв. М., 1960.

[74] Еврейская энциклопедия. Спб., б.г. Т. 7. С. 578.

[75] Подробнее см.: Иосиф Волоцкий, преп. Просветитель. Казань, 1904.

[76] Памятники литературы Древней Руси. Конец XV— первая половина XVI вв... С. 736.

[77] Краткий научно-атеистический словарь. М, 1964. С. 401.

[78] Цит. по кн.: М а л и н и н В. Старец Елеазарова монастыря Филофей... С. 491.

[79] Е ф и м о в Н. И. Русь — Новый Израиль. Казань, 1912. С. 50.

[80] Подробнее см.: С е р е б р я н с к и й Н. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле// Чтения в Обществе истории и древностей Российских, 1908. IV; ср. критику «видений» сочинителя повести о Евфросине в изд.: Памятники старинной русской литературы. Спб, 1862. Вып. 4. С. 119.

[81] Деяния Московских соборов 1666 и 1667 гг. М., 1893. 2-я паг. Л. 15.

[82] М а с л е н н и к о в а Н. Н. Присоединение Пскова к русскому централизованному государству. Л., 1955. С. 162.

[83] Журнал Министерства народного просвещения. 1893. № 5. С. 97—109.

[84] К р и ж а н и ч Ю р и й. Русское государство в половине XVII в. М., 1859. Разд. 32. С. 89—96; Разд. 53. С. 181—185.

[85] Г о л ь д б е р г А. Л. Историко-политические идеи русской книжности XVI—XVII вв. Автореф. ...доктора историч. наук. Л., 1978. С. 24.

[86] Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Спб., 1871. Т. X. С. 301.

[87] Д м и т р и е в а Р. П. Сказания о князьях Владимирских. М.; Л., 1955. С. 137; ср.: Ч а е в Н. С. «Москва — Третий Рим» в полити-

ческой практике московского правительства XVI в.// Историческне записки. 1945. № 17. С. 3—23.

[88] Щ а п о в Я. Н. О международном семинаре в Риме иа тему «От Рима к «Третьему Риму»// Вопросы истории. 1982. № 3. С. 151.

[89] З ы з ы к и н М. В. Патриарх Никои, его государственные и каионические идеи. Варшава, 1934. Ч. 2. С. 135.

[90] Л е б е д е в Л. Новый Иерусалим в жизни патриарха Никона// Журнал Московской Патрнархии. 1981. № 8. С. 76.

[91] Л о т м а н Ю. М., У с п е н с к и й Б. А. Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра Первого// Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 236—250.

[92] М а л и н и н В. Старец Елеазарова монастыря Филофей... С. 767—768.

[93] К и р и л л о в И. Третий Рим. Очерк исторического развития идеи русского мессианизма. М., 1914.

[94] Повести о начале Москвы. М.; Л., 1964. С. 193.

[95] Т а м ж е. С. 174.

[96] P a l m e r W. The Patriarch and the Tsar. V. I—VII. L., 1871—1876.

[97] Patriarch Nikon On Church And State. Nikons'Refutation. Berlin — New York—Amsterdam, 1982 (see esp. pp. 135—136).

[98] П р о ш и н Г. Черное воинство. М., 1985. С. 154.

[99] М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21. С. 495.

[100] В а р и ч е в Е. С. Православная церковь. История и социальная сущность. М., 1982. С. 152—153.

[101] Р а м м Б. Я. Папство и Русь в X—XV веках. М.; Л., 1959. С. 232—237.

[102] П а р н о в Е. И. Трон Люцифера. М., 1985.

[103] Л у р ь е Я. С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси// Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 230, 247—248.

[104] Цит. по: Т р у б е ц к о й Евг. Умозрение в красках. М., 1916. С. 12.





ПРЕПОДОБНЫЙ ТИХОН МЕДЫНСКИЙ, КАЛУЖСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ



динственное рукописное житие преподобного Тихона Калужского сгорело вместе с Успенским собором основанной им обители Тихонова пустынь в «литовское разорение» в 1610 году. С тех пор жизнеописание его может опираться на два основных источника: местные благочестивые предания и службу преподобному Тихону, которая была утверждена 15 июня 1805 года первым архиепископом новооснованной Калужской епархии Феофилактом (Русановым), а составлена благотворителем монастыря калужским дворянином Сергеем Васильевичем Еропкиным (однако есть основания полагать, что при этом была использована другая, более древняя служба). Текст ее был напечатан для всероссийского употребления в Минее Дополнительной, изданной в Санкт-Петербурге в 1909 году (лл. 107—114, без Акафиста).

Ключ к описанию жизни преподобного можно видеть в стихах службы о том, что святой более всего прославился «жития светлостию и чудес дарованиями». Известный исследователь отечественной агиографии архимандрит Леонид (Кавелин) свидетельствует о дошедшем сквозь века до его времени местном поверии о том, что на восьмые сутки после дня памяти преподобного Тихона, отмечающегося 16 июня ст. ст., по издревле бытовавшему в народе преданию почивший праведник «уходил» в Киев поклониться мощам святых угодников Печерских. В этот день окрестные поселяне во множестве собирались в оби-

тель на его своеобразные «проводы», что позволило архимандриту Леониду высказать предположение, что преподобный Тихон Калужский сам был родом из «матери городов русских», первопрестольного града Русских митрополитов («Историческое описание Тихоновой Калужской пустыни. Составил И(еромонах) Л(еонид Кавелин) Спб., 1862).

По словам преподобного Тихона, сказанным им в откровении одной болящей женщине (У. Семеновой), которая получила по его молитве в 1851 году исцеление от тяжкого недуга в Тихоновой пустыни, фамилия его была Уваров. Это сообщение косвенным образом подтверждается древней записью во вкладной книге монастыря, непосредственно следующей за записью о вкладе царя Иоанна Грозного. Она гласила: «Дал вкладу сын боярской Постник («Постник»— именное прозвище, распространенное на Руси наравне с такими, как «Истома», «Кручина» и проч.) Уваров Евангелие печатное напрестольное в десть большия бумаги, оболочено бархатом рытым по белой земле. Да он же Постник Уваров дал другое Евангелие печатное напрестольное в десть, оболочено бархатеею, да Псалтирь книгу печатную с возследованием, да жеребца чала 5 лет. Да он же Постник Уваров дал колокол весом 10 пуд за 40 рублев». Подробно изучавший данные о житии преподобного Тихона протоиерей С. Смирнов (см. его статью о нем в журн. «Душеполезное чтение», 1887, октябрь, с. 161—171) полагал, что столь дорогой по тем временам дар, возможно, свидетельствует о том, что «доброхотный датель» был одним из потомков преподобного.

Как явствует из 10 кондака Акафиста преподобному Тихону, он с юности оставил свое отечество, пришел в Москву и принял иноческий постриг (по преданию — в Чудовом кремлевском монастыре); но затем, по любви к уединению, удалился для подвигов в пустынное место — а из житий древнерусских святых хорошо известно, что «пустынью» для них зачастую служили глухие леса и боры (сведения эти, впрочем, совпадают с подобными же стихами из службы современнику преподобного Тихона Калужского — преподобному Тихону Луховскому).

Инок Тихон поселился в 17 верстах от Калуги и в 15, по другую сторону, от города (впоследствии уездного) Медыни, имена которых позже навсегда стали частью его собственного. Место, выбранное им для уединенного подвига, располагалось на правом берегу небольшой речки

Вепрейки, которая пятью верстами южнее впадает в реку Угру, а та в свою очередь неподалеку отдает свои воды Оке. Как считал протоиерей С. Смирнов, весьма вероятно, что инок Тихон был из числа учеников преподобного Пафнутия Боровского (+1477 г.): по древним описям калужских храмов известно, что до «Большого пожара» в них находились иконы с изображениями трех калужских святых: преподобного Пафнутия Боровского, преподобного Тихона Калужского и ученика его преподобного Никифора (последний упоминается также в рукописных святцах бывш. собрания МДА № 209, однако официальной канонизации его не было).

Знаменательно, что неподалеку от окрестности, где спасался преподобный Тихон, в последние годы его жизни произошло знаменитое «стояние на Угре» (1480 г.), окончательно положившее предел татарскому игу. «Пустынь» преподобного была тогда покрыта дремучими лесами и находилась во владении князя Василия Ярославича Боровского, внука Владимира Андреевича Храброго. Подвижник поселился в дупле исполинского дуба, простоявшего потом еще почти четыре века, покуда он не был сломлен грозой в начале 1830-х гг.; но уже в 1838 году игумен Геронтий устроил над сохранившимся могучим остовом часовню, ревностно почитавшуюся посещавшими Тихонову обитель паломниками. Как гласит служба преподобному, пищей ему служили «былии саморосленныя» (дикорастущие), а питием — вода из целебного кладязя, ископанного им собственными руками при истоке Вепрейки и до нашего времени именуемого «кладязем преподобного Тихона».

Провождал инок Тихон дни своего жития в безмолвном делании и, согласно кондаку 3 Акафиста, «силою, данною свыше, долготу летнюю и пустынное озлобление, в потребных скудость пред очима имея, терпел благодарно».

Брань ему довелось вести, однако, не только с невидимыми врагами. Как повествует предание, слава о подвигах нового молитвенника постепенно привлекла к нему учеников, но одновременно с тем, как собиралась вокруг него братия, поначалу немногочисленная, молва о нем распространилась среди окрестных поселян, и не все из них приняли ее доброжелательно. Упрежден злонамеренными слухами был наконец и владелец здешних лесов, упомянутый выше князь Василий Ярославич. Разъезжая как-то с охотой на диких зверей, он сам натолкнул-

ся на человека Божия и, воззрев на него ярым оком, приказал немедленно удалиться прочь из своих вотчин, в довершение оскорблений дерзнув замахнуться на преподобного плетью. Поднятая на святого рука тотчас онемела и осталась неподвижною. Вразумленный наказанием свыше гордец-князь раскаялся и стал смиренно просить у инока прощения; получив же по его молитве исцеление, он преложил гнев на милость и усердно умолял пустынножителя остаться навсегда в его земле и устроить здесь иноческую обитель для своих учеников, обещая неоскудно снабдевать ее всем потребным.

Тогда-то преподобный Тихон и основал свою пустынь, поставив в ней первый деревянный храм в честь Успения Божией Матери. Он же стал первым наставником посвященного Богоматери монастыря; согласно рассказу икоса 2-го Акафиста, собрав учеников, был им наставником, управляя со смиренномудрием, имея кроткий обычай, стяжал незлобиво сердце, последуя кроткому пастырю Христу, питал алчущих, напоял жаждущих, принимал странных, заступал обидимых. В «похвалах» той же службы об образе его жизни в обители повествуется так: «Радуйся, ангельски на земли пожил еси, жития чистотою просветился еси, тяготу вара дневнаго понесл еси, слезными потоками землю сердца своего напоил еси, тем лукавых духов ополчения попрал еси, высоту достиг добродетелей и восприял еси Святаго Духа озарение» (икос 3).

О внешности преподобного Тихона сохранилось свидетельство в одном «Иконописном подлиннике», который предписывает изображать его в следующем виде: «Преподобный отец наш Тихон, начальник монастыря Богородицына, иже на Калуге, подобием надсед, брада аки Власиева, ризы преподобническия и в схиме». Любопытно, что почти те же приметы содержит и трогательное описание, датированное уже 1842 годом, когда накануне дня своей памяти преподобный Тихон предстал в видении простой крестьянке Александре Ждановой, которую исцелил от 12-летнего страшного недуга (полного расслабления, особенно тяжкого в крестьянской среде, где каждая пара рабочих рук на счету). Согласно ее письменному свидетельству, никогда прежде не видавшая иконописных изображений преподобного Тихона больная женщина запомнила его как небольшого роста худощавого старца с седой, недлинной бородою, одетого в черное длинное платье (мантию), имеющего на главе подобие круглой шапочки, на

коей были вышиты зеленые крестики (то есть схимнический куколь — см. «Житие преподобного Тихона Калужского чудотворца и новые свидетельства о благодатных знамениях, явленных им страждущему человечеству в последнее время, с прибавлением краткого описания основанной им обители». Изд. 3-е, с 7 рис. М., 1908, с. 16).

По древнему монастырскому преданию, преподобный Тихон скончался в глубокой старости, приняв Великий ангельский образ, украшенный сединами возраста и мудрости духовной. Год успения его отмечен был в синодике Лаврентиева монастыря, составленном при царе Феодоре Иоанновиче: в соответствии с исчислением в нем русских святых, преподобный Тихон отошел ко Господу в символический для Древней Руси 7000-й год от Сотворения мира (т. е. в 1492 г. от Рождества Христова).

Согласно первоначальному мнению архимандрита Леонида Кавелина (впоследствии он изменил его, считая, что, «вероятно, местное празднование было установлено преподобному Тихону в 1589 г.»— см. его поздний сводный труд «Святая Русь», Спб., 1891, № 601), прот. С. Смирнова и других ученых, преподобный Тихон был прославлен и причислен к лику святых на соборе 1547 года, на котором утверждено было и празднование второго святого покровителя Калужской земли — преподобного Пафнутия Боровского. Именно в царствование Иоанна Васильевича Грозного в Тихонову пустынь был внесен первый царский вклад, в записи о коем основатель обители назван уже «преподобным»— как сказано во вкладной книге 1666 года, списанной слово в слово с прежней: «Дано в сей монастырь, в доме пречистыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Успения и преподобнаго отца игумена Тихона, Великаго Государя жалованья, блаженныя памяти Государя Царя и Великаго Князя Иоанна Васильевича всея Руси Евангелие престольно письменное, в десть, оболочено бархатом зеленым, евангелисты сребреныя басменныя позлащены».

До Смутного времени, как о том хранилось в монастыре сказание, мощи преподобного Тихона почивали «на вскрытии» в Успенской деревянной церкви, после сожжения которой они были перенесены в единственный уцелевший храм во имя Трех святителей. Разоренная польско-литовским нашествием («литовские люди» последний раз ночевали в обители с 15 на 16 мая 1634 года, пришед из-под Калуги, где они бились с русскими «до вечерен», и Тихоновский игумен Герасим ходил по указу ка-

лужского воеводы звать на помощь рословских казаков), Тихонова пустынь была восстановлена при царях Михаиле Феодоровиче и Алексие Михайловиче усердием игуменов Герасима и Феодосия. Были вновь выстроены деревянный Успенский собор, а также теплая Никольская церковь с трапезной при ней. В 1677 году Трехсвятительский храм перенесли в подмонастырскую слободу, а на его месте началось сооружение каменного Преображенского собора, в котором с тех пор были положены под спудом за правым клиросом св. мощи преподобного основателя обители.

В 1684 году по малочисленности братии указом царей Иоанна V и Петра пустынь была приписана к московскому Донскому монастырю, а в 1764 году при учреждении штатов ее оставили на правах заштатной в подчинении Крутицкой епархии; в эту пору насельников в ней было всего семь: строитель, 4 иеромонаха и 2 иеродиакона. По упразднении Крутицкой епархии в 1788 году пустынь временно отошла к Московской, а с основанием в 1799 году новой Калужской епархии наконец навсегда причислена к ней.

XIX столетие может по праву быть названо веком «второго рождения» обители, порой ее духовного воскресения и материального обновления. Во многом этот расцвет был обусловлен установлением тесных связей с другой прославленной обителью калужской земли — Козельской Введенской Оптиной пустынью. В 1803 году строителем Тихоновой пустыни назначен был постриженник Оптиной иеромонах Мефодий; в 1812—1814 годах ею руководил присланный из Оптиной иеромонах Михаил, один из преемников которого, игумен Ираклий, в свою очередь окончил дни насельником оптинского монастыря. В 1837 году строителем Тихоновой пустыни стал скитский оптинский иеромонах Геронтий, ближайший ученик знаменитого старца Льва (Леонида), заведовавший монастырем двадцать лет. Ему наследовал оптинский иеромонах Паисий (1857—1858 гг.), а с 1858 года в течение долгого времени Тихоновой пустынью руководил бывший иеромонах Оптиной архимандрит Моисей, ученик оптинского старца Макария, который и сам нередко навещал Тихонову обитель, говоря: «Я здесь отдыхаю душой». Настоятельство архимандрита Моисея было «золотым веком» обители. Многих своих духовных детей благословлял на паломничество сюда продолжавший служение старчества после кончины отца Макария отец Амвросий (Гренков); обитель установила мо-

литвенное общение и с известным духовным писателем отцом Иоанном Сергиевым.

В 1879—1886 годах дважды поправлявшийся уже в XIX в. Преображенский храм, пришедший наконец в ветхость, был разобран и стараниями архимандрита Моисея на его месте воздвигли новый с тремя престолами в главной церкви и еще двумя в трапезной (до наших дней он не сохранился). Сожженный в 1610 году деревянный Успенский храм в западной стене ограды был выстроен вновь сначала из дерева же, затем в 1822 году заменен каменным с каменной колокольней; а в 1894—1904 годах на их месте воздвигнут был величавый собор в византийском стиле, дошедший до нашего времени. Рядом с ним к 1894 году выросла мощная 5-ярусная колокольня. В Отечественную войну отходившие фашисты заложили под нее более полутора тонн взрывчатки и попытались снести; от взрыва здание пронзила насквозь узкая трещина, но оно устояло — сохранились даже колокола в верхнем пролете звона. Третий, домовый храм, примыкающий к больничному корпусу, был выстроен в конце XIX века; он также сохранился.

В трех верстах от пустыни при истоке речки Вепрейки над ископанным преподобным Тихоном колодцем в 1887 году выстроена была деревянная церковь Живоносного Источника с огромной водосвятной чашей под куполом; по бокам ее срубили крытые мужскую и женскую купальни. А в 8 верстах к северу, у самой станции Брянской (ныне Киевской) железной дороги, которая и по сей день носит название «Тихонова пустынь» (в то время как монастырская слобода переименована в поселок им. Льва Толстого), был устроен Сретенский скит с каменной Сретенской церковью (1867—1871) о двух этажах, в нижнем ярусе коей погребалась монастырская братия, и деревянным домовым храмом во имя Калужской иконы Богоматери. Согласно наиболее авторитетному справочнику «Православные монастыри Российской Империи» Л. И. Денисова, к началу XX века число насельников обители превышало две сотни монашествующих и послушников. В 1892 году Тихонова пустынь молитвенно отмечала 400-летнюю годовщину блаженной кончины своего преподобного основателя.

Но наибольшую славу монастырю принесло цельбоносное действие источника, изведенного преподобным Тихоном. В продолжение XIX века при нем стала вестись официальная запись выдающихся исцелений, произошед-

ших при освященных преподобным водах, которая неоднократно публиковалась обителью в особых изданиях. Записи заверялись медицинскими работниками и духовными властями, что дает возможность с достоверностью установить — более половины исцелений касалось людей, одержимых душевными недугами («беснованием» и проч.), в особенности женщин; во множестве выздоравливали также страдавшие глазными и детскими болезнями. Исследования, проведенные уже в советское время, подтвердили наличие целебных свойств источника (точнее — источников: здесь на небольшом пространстве бьют из-под земли несколько различных ключей, обладающих самыми разными полезными свойствами, от сероводородного, помогающего при кожных и женских болезнях, до радонового, приносящего помощь от заболеваний нервной системы и сердечно-сосудистых; причем благодаря воздействию последнего растительность вокруг места выхода целебных вод имеет преувеличенный, несколько даже фантастически-волшебный вид). Нельзя не отметить также, что в прошлом веке большинство жителей бывшей Тихоновской волости составляли раскольники поповщинского толка, и влияние столь яркого очага православия в значительной мере сказывалось положительно на их возвращении в лоно Матери-Церкви (преподобный Тихон включен в раскольнические святцы, как поповские, так и беспоповские). Особенно закосневшим в расколе душам нередко могло помочь лишь чудесное предстательство самого преподобного Тихона Калужского.

Ансамбль сохранившихся зданий Тихоновской пустыни привлекает сегодня не только путешественников по славным местам в истории нашего Отечества; им, как одним из наиболее впечатляющих памятников русского градостроительства последней трети XIX столетия, занялись и исследователи-архитекторы: внимание к этой, еще совсем недавно незаслуженно почти совершенно забытой эпохе, возрождено стараниями современных искусствоведов — таких, как Е. И. Кириченко, Е. А. Борисова и др.

Память преподобного Тихона благоговейно чтится в Калужской епархии; но и далеко за ее пределами часто можно встретить в городских соборах, скромных сельских церквах и домах верующих широко разошедшиеся по Руси образы преподобного Тихона, Калужского чудотворца, на которых он обычно изображен в схимническом одеянии молящимся перед иконами Спасителя и Божией Матери, укрепленными в дупле большого дуба, на фоне вы-

строенной трудами его учеников величавой обители со множеством храмов и зданий.

Ежегодно в православных храмах звучит 16/29 июня особая служба преподобному Тихону, в которой уже не первое столетие русские люди обращаются к нему с мольбой о небесном предстательстве за нашу землю: «Божественныя радости и веселия духовнаго богоспасаемый град Калуга исполнися в светоносней памяти твоей, отче Тихоне; мы же духовная твоя чада радостне сошедшися, светло празднуем, боголепную славу возсылающе прославляющему тя Богу, Ему же, преподобне 'отче наш, молися за творящих память твою, спасти души наша» (стихира 4-я на «Господи Воззвах»).

1984





ПРАВЕДНЫЙ ПРОКОПИЙ УСТЬЯНСКИЙ



мертию смерть поправ...»— поет православная церковь в пасхальном тропаре; в дониконовской редакции эти слова звучали еще так: «Смертию на смерть наступи». И нигде, наверное, священнотайный и наглядный планы события Распятия и Воскресения Христова не отразились так уязвительно вместе, как в истории нашего Отечества, а особенно в последнем столетии, когда и судьбы русских людей, и судьбы народных святынь являют невозможное, казалось бы, соединение необычайного, чудесного взлета с самым печальным и низким надругательством, сплетшимися так тесно, что, пожалуй, теперь уже никогда, по крайней мере в этом мире, не расцепить. Короткое житие скромного северного подвижника Прокопия Устьянского, явившегося во времена первого царя из дома Романовых «в краю самом заглушном и отдаленном, без мала в 500 верст от города Вологды», в этом смысле представляет собою яркий символ именно нашего века потому, что, в отличие от хорошо усвоенного современным культурным сознанием сюжета о «жизни после жизни», все его видимое, знаемое нами существование целиком протекло по эту сторону, *состоялось уже после смерти*, так что и мученичество приняли самые святые мощи праведного. Или, как говорит, используя собирательный агиографический оборот, древняя запись сказания о нем: «Сего блаженного и приснопамятного Прокопия отечество дольно и племя земнородно, град или весь, в ней же святый родися, нам манием Божиим весьма утаися; да известнее вемы, яко святии Божии не земнаго, но небеснаго отечества ищут, не человеческим, но ангельским сродст-

вом хвалятся, и не дольняго, но горняго Иерусалима гражданами быти тщатся».

* * *

Путешествуя не так давно по лесным пространствам Заволочья у схода архангельских и вологодских земель по речке Устье (от нее-то и произошло прозвание святого — Устьянский или, в другом написании, Усьянский), мы время от времени встречали в избах иконки «Прокопия праведного», случалось также слышать такие географические указания, как, «недоезжая Прокопия, пятеро верст влево...»; раза два или три видели мы и гравюру, изображавшую многолюдный крестный ход между двумя церквами — деревянной шатровой и каменной в стиле классицизма,— но все это, по сравнительной близости к стоящему на недалекой Сухоне Великому Устюгу с *его* святым юродивым Прокопием, известным по всей православной России, относили именно к нему. Однако, по мере того как течение становилось полноводнее, упоминания о «Праведном» делались все настойчивей, и вот однажды на излуке реки мы увидали на высоком отлогом холме стоящий чуть пониже его вершины покосившийся и все же по-прежнему величественный шатер храма, в котором распознали тот самый, с картинки,— а спросив название, убедились, что эта-то церковь и есть главная «Прокопьевска». Только тогда в сознании святые тезки разделились один от другого, и вместе с тем прошлые рассказы неожиданно получили совершенно новое освещение; памятуя же, что ничто на этом свете даром не случается, во всем заключен для человека урок, предложение сотворчества с Промыслом — мы стали понемногу собирать все, что еще осталось в памяти людей о Прокопии Устьянском.

Приходится сразу оговориться, что сохранилось очень немногое. От самых верховий реки и вплоть до впадения ее в Вагу нам так и не удалось сделать толковой полной записи рассказа о нем; а вернувшись в город, мы столкнулись с тем, что жития устьянского праведника, как поначалу казалось, вообще не существует в печатном виде, упоминания же в литературе можно перечесть по пальцам одной руки. Так, в Православном календаре на 1951 год святой православный Прокопий Устюжский и святой православный Прокопий Устьянский ошибкою превращены в единое лицо — память у них действительно в

один день, 8 июля старого стиля; и, хотя в новых календарях эта оплошность исправлена, в изданном в 1979 году 20-тысячным тиражом третьем томе «Настольной книги священнослужителя», содержащем месяцеслов на вторую половину года (тут уже по неведомой причине вовсе отсутствует статья об Устюжском угоднике), 15-строчная заметка о Прокопии Устьянском, помещенная на с. 540, содержит новую ошибку — 1818 годом в ней помечено «установление повсеместного празднования памяти святого», в то время как на самом деле, согласно всем другим источникам, именно тогда Синод как раз решительно отказался утвердить канонизацию праведного Прокопия.

Упоминаний о святом нет ни в Прологе, ни в Четьих Минеях, ни в дореволюционных святцах, и даже специальные источники по вологодской агиографии или вообще не называют его имени (Н. Коноплев. Святые Вологодского края.— «Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских», 1895 г., № 4) или довольствуются одной строкой (митр. Евгений. Топографическое описание святых вологодских...— «Вологодские епархиальные ведомости», 1864. № 1. Прибавления, с. 16). Наконец, что касается двух наиболее основательных, ставших уже классическими, работ о русских подвижниках, то в «Святой Руси» архимандрита Леонида (Кавелина; М., 1891 г.) нашему святому отведено менее 10 строк, а в «Истории канонизации святых в Русской Церкви» Е. Голубинского святой Прокопий Устьянский упомянут лишь дважды (на с. 159 и 200—201), причем, кроме истории с самою канонизацией, здесь почти никаких сведений о жизни праведника не сообщается (ср. также: Верный месяцеслов всех русских святых... М., 1903. С. 24).

И все-таки поиски не оказались без пользы — когда надежда выяснить что-либо стала уже тончать, мы снова как будто бы случайно получили для работы весьма редкую книгу под названием «Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии, прославляемых всею церковью или местно чтимых», изданную в Вологде в 1880 году. В ней устьянскому праведнику посвящена 20-страничная статья, которая, по всей вероятности, является единственным и практически теперь недоступным сказанием о житии его. На основе этой публикации, а также местных легенд в современных рассказах старожилов и сделан наш нынешний опыт жизнеописания святого Прокопия.

Составитель «Исторических сказаний» свящ. Иоанн Ве-

рюжский сам происходил родом из причта Верюжской Введенской церкви Вельского уезда, в приделе которой почивали мощи Прокопия Устьянского (имя церкви и волости он, по-видимому, по семинарскому обычаю тех лет и выбрал себе в качестве фамилии). О том, как выглядел край этот в XIX веке, отец Иоанн пишет: «Редко можно встретить на севере такую прекрасную и очаровательную местность, как «у Праведного». Тут природа постаралась превзойти самою себя и на небольшом пространстве раскинула все свои красы, как бы для того, чтобы и самое место вечного покоя праведника соответствовало красоте души его. Большая река Усья, с красивым островком и стаями плещущихся на поверхности ея речных птиц, тихо катит свои воды с востока на запад. На левом берегу несколько вековых сосен, как гиганты какие возвышаются над молодым лесом. С правой стороны две речки, в полуверсте одна от другой впадающие в Усью, образуют между собой ровный, испещренный цветами луг. Две церкви, высокая шатровая деревянная, уже почерневшая от времени, и белеющаяся каменная красивой архитектуры, с массивной высокой колокольней, стоят на уступе пологой горы, к лугу круто в виде отвесной стены обрывающейся. Над церквами, на самой вершине виднеется небольшая деревня, огни которой в ночное время издалека кажутся звездами. Внизу под горою близ извилистой речки стоят домы церковнослужителей, утопающие в густой листве рябин и черемух. Дорога проходит по самому берегу Усьи и далеко, за несколько верст не доходя до села, видны с нея сияющие главы и кресты церквей. Окружающие село деревеньки, то стоящие на возвышенностях, то спускающиеся к самой воде, с их полями и лугами, опушенными кустарником, еще более разнообразят картину и дают ей самый красивый и оживленный вид».

...В первой трети XVII века, когда местность эта принадлежала еще к Новгородской епархии, по восточную сторону от церкви Введения во храм Божией Матери явились — по древней рукописи «земля издаде»— мощи в гробе затейливой работы, сплетенном наподобие колыбели из ивовых прутьев. («Такого рода погребение никогда не было в употреблении в нашем доныне изобилующем лесами крае»,— замечает отец И. Верюжский.) Мощи эти были совершенно целы, как будто бы в тот самый день похоронены, и издавали из себя приятный запах, только от ветхости гроба несколько были засыпаны.

Никому во всей волости покойный не был известен, да

и не помнили, чтобы тут хоронили кого-либо; чудесное же явление его нетленным, происходящее от мощей благоухание и последовавшие вслед за тем исцеления одержимых различными недугами постепенно стали склонять окрестных жителей — а поселений вокруг Верюжской церкви по небольшим речкам и ручьям словно целый разросшийся куст — к мысли о том, что принадлежат они какому-то святому. Воздав славословие за дарование им своего источника благодати и безмездного врача, они построили над местом открытия часовню. Вскоре после этого устьянскому земледельцу Савелию Онтропову явился во сне человек и велел сделать себе новый гроб. На вопрос: кто он — явившийся назвал себя Прокопием и объяснил, что он тот, чье тело было обнаружено близ церкви. Савелий выполнил необычный заказ споро и не откладывая, но когда он уже собирался доставить его в часовню, святой снова посетил его и приказал домовину свою сверху несколько убавить. Новопривезенный гроб оказался точно по мерке мощам, а рассказанная Савелием история его изготовления подтвердила общее убеждение в святости погребенного. Прежнюю его ивовую колыбель народ тогда по прутикам разнес себе на память и благословение.

Много лет святые мощи так и почивали в часовне, но слух о происходящих от них чудесах наконец распространился вокруг настолько, что когда в 1641 году на место обветшавшей срублена была новая деревянная церковь гораздо больших размеров, то их перенесли уже внутрь нее, поставив открыто подле южной стены. По особливой письменной книжице стали совершать святому и церковную службу, в основном составленную из уже известных других — например, тропарь и кондак были заимствованы из службы близкому праведному Прокопию Устьянскому по явлению святому Иакову Боровичскому (нетленное тело которого в дубовой колоде доставлено было в Боровичи плывущею против течения льдиной; а вскоре представший перед старейшинами селения в тонком сне святой сообщил им свое имя и мирское звание — юродивый; память его 23 октября ст. ст.). Затем часто навещавшему Верюжскую волость сольвычегодскому купцу Иоанну Ермолаеву, возымевшему усердие создать образ праведного и для того горячо молившемуся, чтобы он позволил изобразить себя, угодник показался в видении, дал на то свое благословение,— и в 1652 году Ермолаев, призвавши иконописца Онисима Карамзина, описал внешность Прокопия и поручил сделать икону.

По перенесении мощей в церковь священнослужители наконец получили возможность записывать происходящие при них чудотворения. И вот, с 1641 по 1750 год, со слов самих исцеленных, которые во исполнение обета приходили в церковь благодарить и поклониться мощам святого, было занесено в нарочитую тетрадь двадцать наиболее знаменательных случаев выздоровления и спасения. Интересной особенностью этих записей представляется то, что даже люди, заведомо не знавшие о том, что мощи почивают открыто поверх земли, единодушно рассказывали: посещавший их в видениях прав. Прокопий казался им как бы парящим на воздухе... В середине XVIII века по епископскому благословению во имя святого Прокопия Устьянского были освящены придел при Верюжской Введенской церкви, а также придельный престол в ближней заячеостровской, где среди поля над ключом воды находился уважаемый народом образ праведного Прокопия.

Но вместе с тем на север стали в этом веке проникать и новые веяния; кажется не случайным, что именно с началом петровских времен, когда от ложно понятого просвещения руки и глаза стали признаваться более верными органами познания, чем сердце, связано первое дотошное «свидетельствование» в 1696 году мощей в Верюжской церкви; после него они, однако, были переложены из ветхого в новый гроб. В 1739 году по указу Анны Иоанновны и Синода свидетельствование было произведено вторично в присутствии 12 иереев. Сейчас нам уже трудно спокойно читать этот «протокол», который тем не менее воплотил в себе самый дух того столетия с его причудливым сочетанием доставшегося еще от громогласного церковнославянского языка эпического движения торжественно-звучных слов во фразе — с любопытно-безблаговейным, а местами и грубо педантским отношением к видимому знаку чуда на земле: «На главе и на лице до очей и носа надлежащее тело есть, токмо к кости присохло, а очей и носа и власов на главе и уха десного невидимо, а левое ухо есть, только сухо и сверху немного его нет же, а на устех верхние губы и нижния малыя части, а зубы все целы, а глава приклонилась на левую сторону, а лицем прямо к верху, шея и плечи целы. Десная рука вся цела, пригбена к персям подле самую выю, а левая простерта под бок, и перси и все тело до ногу цело токмо видом вмале почернело, а признано, что от частого приезжающим для молебствования богомолам

открывания... А возрасту был среднего, а во одежде положен в срачице и в штаниках холщевых, и те побиты, а видом с желта черны, сухи и еще крепки, а длиною срачица по левой ноге до колена, а по десной ноге до стегна, и штаники длиною до тех же мест... И то свидетельство с вышеприведенным, бывшим в 7204 (т. е. 1696) году весьма сходственно и никаких частей не умалилось, и тления одеждам никакого не учинилось».

Когда в 1763 году строилась новая деревянная церковь — это поставленное на каменном подклете величественное шатровое храмовое здание, обновлявшееся еще в 1868 и 1890 годах, и сохранилось от всего погоста до наших дней — то, как уже выше было сказано, в ней по благословению правящего архиерея Иоасафа, епископа Архангелогородского и Холмогорского, был освящен придельный престол во имя православного Прокопия Устьянского. По северному обычаю церковь поставили не на вершине холма, как могло бы показаться на первый взгляд наиболее выгодным, а несколько отступя вниз по склону. По поводу выбора этого места нам довелось несколько лет назад услыхать такой рассказ (просуществовавший, следовательно, уже два с лишним века): при подготовке к работам три ночи подряд чья-то могучая сила низвлекала с вершины «горушки» припасенные для закладки в нижние венцы громадные бревна и повергала их сорока метрами ниже,— пока, наконец, в ночном чудодействе не угадали волю праведника и не поставили храм именно там, где указал сам Прокопий. Должно быть, такое расположение спасло его от всех последующих пожаров, ударов молнии, бурь и прочих природных напастей, но мы бы прибавили к этому еще и то преимущество, что именно так он наилучшим образом вписывался в окружные виды, не пригнетал окрестность, довлея над нею, а, как бы естественно вырастая из тела холма, необременительно венчал всю «мироколицу».

Следующие за возобновлением храма полвека наполнены были целым рядом печальных событий и трудностей, связанных с попыткою добиться «официальной» канонизации Синодом Прокопия Устьянского. Началось все с того, что после причисления Верюжской церкви к Вологодской епархии епископ Арсений (Тодорский) отобрал данную его предшественником епископом Иринеем в 1783 году храмозданную грамоту на построение второй, каменной церкви близ уже стоящей деревянной, по которой дозволялась освятить верхний престол ее во имя пра-

вославного Прокопия и положить там мощи. Ссылаясь на то, что имени устьянца не было в общих святцах, епископ Арсений приказал посвятить верхний престол, а с ним и весь сооружаемый храм Введению Божией Матери. У недовольных такою переменой прихожан было для производства следствия вытребовано древнее рукописное сказание о явлении мощей Прокопия и произошедших от них чудесах, причем служившие тогда на приходе священники показали, что прежде при храме существовало и житие, забранное вместе с указом и грамотою о свидетельствовании в Архангельскую консисторию, где оно погибло в пожаре 1793 года (сама консистория подтверждала это письменно).

В 1800 голу в пользу канонизации Прокопия было подано на Высочайшее имя отношение статского советника Березникова, который получил незадолго перед тем исцеление после молитвенного обращения к устьянскому святому. Рассмотрением отношения велено было заняться Синоду, но он в своем постановлении от 16 декабря 1801 года во всероссийском прославлении отказал, разрешив, впрочем, оставить местное почитание в том виде, каким оно было к моменту подачи просьбы Березникова. Это решение, конечно, не могло удовлетворить усердных почитателей, и вскоре — в 1809 году — чудесно выздоровевший при благодатной помощи святого Прокопия крестьянин Федор Кузнецов, заручившийся уже доверенностью четырех тысяч лиц, подал государю еще одно прошение нетленные и дважды свидетельствованные мощи огласить всенародно. Хотя теперь и епископ Вологодский Евгений писал, что, по его мнению, повсеместное почитание новых мощей ничего другого не произведет, кроме распространения в народе благочестия и приверженности к родине, возбуждаемой особенно отечественными святынями,— Синод от положительного ответа снова уклонился. Наконец, когда в 1818 году по случаю окончания строительства каменного храма Кузнецов опять подал царю ходатайство об оглашении мощей, перенесении их в каменную церковь и освящении ее во имя Прокопия Устьянского,— по поручению министра народного просвещения и духовных дел А. Н. Голицына для проверки на месте и дачи решительного заключения в Верюжскую волость лично отправился новый вологодский архиерей — епископ Онисифор (Боровик).

По свидетельству — уже третьему — от 1 августа 1818 года, при котором снова, конечно, не обошлось без

описаний в том роде, что «от плеча на всей спине тела не имеется и видны ребра и становая кость, а спереди грудь и весь живот целы, исключая пуп, вместо коего зияет набольшое отверстие»,— было установлено еще, что росту Прокопий имел 2 аршина и 2 вершка (то есть около 151 см), а довольно крепкая холщовая рубашка, в которой он был обретен, «поклонниками стрижена» и тело в некоторых местах тоже «весьма приметно, что отрезывано». Были предъявлены новые данные об исцелениях — как крестьян, так и лиц купеческого и дворянского сословий. Представляя доклад обо всем этом Синоду, преосвященный Онисифор писал: «Я и сам убеждаюсь совестию, и внушением Божественной благодати признаю мощи сии святыми, огласить же прав. Прокопия Устьянского почитаю не токмо можным, но и должным». Но как прежде, явно руководствовавшийся своими «особыми» соображениями Синод прославить угодника отказался. О том, что это были за соображения, ясно говорит в своей книге «Святые древней Руси» (Нью-Йорк, 1959. С. 15) один из наиболее известных исследователей отечественной агиографии Г. П. Федотов: «Петровский Духовный Регламент относится к новым канонизациям более чем сдержанно. Два последних синодальных столетия отмечены чрезвычайно ограничительной канонизационной практикой: до Императора Николая II были причислены к лику общечтимых святых всего четыре угодника. В XVIII в. нередки случаи, когда епархиальные архиереи собственной властью прекращали почитание местных святых, даже церковно канонизированных. Лишь при Императоре Николае II, в соответствии с направлением его личного благочестия, канонизации следуют одна за другой: семь новых святых за одно царствование».

...Между тем слава Прокопия Устьянского в народе все разрасталась, и постоянно увеличивающееся число паломников из самых различных мест страны гласило о том с совершенной несомненностью. В конце упоминавшегося выше краткого сказания о двадцати чудесных исцелениях XVII—XVIII веков отец Иоанн Верюжский приводит и случаи уже своего времени, из которых наиболее интересным — как рассказ непосредственного очевидца — нам представляется его собственное воспоминание. Он пишет: «В детстве, еще до поступления в училище, я был свидетелем того, как одного бесноватого купца, связанного, едва несколько человек насильно могли привести в церковь, как он страшно кричал различными голосами

зверей и птиц, и лежа на полу близ раки угодника, бился руками, ногами и головою, изрыгал хулы на праведного Прокопия и священника с диаконом, служивших молебен, похваляясь своею крепостию и силой. Но когда возложили на него небольшой атласный покров с вышитым на нем изображением святого Прокопия и обыкновенно всегда находящийся на мощах его, то уже не мог двигнуть ни одним членом и только глухо кричал: ой, задавили, задавили, выйду, выйду... Купец этот несколько раз приводим был в церковь и уехал домой здоровым».

«Ныне мощи святого Прокопия,— заканчивает свое повествование в 1880 году отец Иоанн,— почивают в старинной деревянной раке, украшенной резьбою под таковым же балдахином; они покрыты шитым по атласу шелками, серебром и золотом изображением святого. Память его совершается 8 июля, и многие из тамошних жителей постятся пред тем целую неделю».

По словам старожилов, в начале XX века с помощью щедрых жертвователей была изготовлена новая драгоценная рака. Тогда же были выпущены и описанные нами во вступлении гравюры, изображающие торжественный ежегодный крестный ход с перенесением мощей праведного Прокопия из каменной зимней в летнюю деревянную церковь; картинки эти и по сю пору еще не все перебрали по избам пустившиеся в «иконосборческую ересь» ловкие молодцы, а одна даже выставлена в краеведческом музее районного города Вельска. Обозрение памятников русской архитектуры Вологодской губернии, напечатанное в 1915 году в 59-м выпуске «Известий Императорской археологической комиссии», называет в числе их: «Вельского уезда села Бестужева Богородицерождественскую деревянную на каменном фундаменте трехпрестольную церковь, построенную в 1763 году; и того же села трехпрестольную каменную Введенскую церковь 1803 года» (с. 108). Наконец, почитание праведного Прокопия Устьянского сделалось общенародным и повсеместным.

К самому началу нашего века относится и такая, слышанная нами спустя семьдесят лет история. Однажды в семье Лоскутовых, давших чуть ли не треть всех жителей села, заболел ребенок, несколько дней кричавший от какой-то боли и отказывавшийся брать материнскую грудь. Положение его посчитали было уже безнадежным, но по совету приходского священника мать все же отслужила молебен праведному Прокопию с просьбой об исце-

лении своего сына, дав обет в случае выздоровления отправить его по достижении совершеннолетия на год «трудником» в Соловецкий монастырь. В ту же ночь ребенок снова стал сосать молоко и вскоре совершенно поправился. Впоследствии, когда он вырос, во исполнение обета мать отправила его работать на Соловки, откуда он вернулся большим грамотеем и привез с собою «целый сундук духовных книг» (сундук этот в лихие годы был закопан в горе, да так и поглотился землею — позже его не смогли отыскать).

Следующее свидетельство относится уже к нашим временам, находясь по эту сторону революции. В ходе открытой по указанию наркомата юстиции от 1 марта 1919 года кампании по вскрытию мощей «6 марта 1919 года были в Вельском уезде вскрыты и мощи святого Прокопия Устьянского»,— читаем мы на 260 странице «Черной книги («Штурм небес»)», изданной в 1925 году в Париже А. Валентиновым. После этого кощунства, производившегося, по рассказам крестьян, приезжими насильниками, драгоценная рака пропала, а мощи были тайком перекинуты на сельское кладбище, где их спешно зарыли в безымянной яме.

В начале 30-х годов закрыли и оба приходских храма. Священника помоложе сослали вместе с семьею в Сибирь, откуда они уже не вернулись; другого же, престарелого и все время хворавшего, чтобы не возиться с лишнею обузой, оставили домирать дома. Но он, на зависть злодеям, оказался необыкновенно долгоживуч и дотянул до 50-х; дети его ныне уже на пенсии и вместе с внуками, нарожавшими правнуков, продолжают жить в прадедовском селе.

Какое-то время само оно было еще районным центром, а потом, постепенно захиревши, как многие нынешние поселения на русском Севере, превратилось просто в совхозный центр Бестужево; в названии его отчетливо слышится теперь новый оттенок — если вспомнить, что по-славянски «стыд» писался как «студ»: наглой бесстыжести, «безстудия» потерявших человеческий образ гонителей. В 1948 году они каменный храм и вовсе разбили, изломав на кирпич (в искусствоведческих книжках это скромно именуется: разобрали), из которого по ту сторону реки выстроили гараж. Старый священник, в ту пору начавший с горя пить, внятно и громко на людях всех участвовавших в этом святотатстве проклял, за что они его, не поглядев на седины, поймали ночью в глухом за-

кутке и нещадно избили. Однако ни один из порушивших церковь — и об этом любят рассказывать как в самом Бестужеве, так и далеко вверх и вниз по течению Устьи — своею доброй смертью не умер: кто утопился, кто угорел либо повесился или даже просто в лесу пропал. Все они получили свое воздаяние еще на земле, как раз по слову, сказанному в Нагорной проповеди: «В ню же меру меряете, возмерится и вам» (Мф. 7: 2). Несчастный гараж вскоре сгорел и развалился, сейчас его не существует. Умирая, батюшка еще раз пригрозил всеми карами неба и преисподней тому, кто осмелится тронуть оставшийся деревянный храм. И оказалось вполне действенно: хотя начальство предлагало до трехсот рублей (деньги для этих мест и поныне немалые), чтобы кто-то только начал крушить, один лишь крест содрал — охотников не нашлось. Кроме попова проклятия причиною этого была еще известная притча о том, как «активисты» попытались было снести церковь. Они собрали полдюжины лошадей, прихватив к ним и трактор, затащили все это на угор, обвязали шатер канатами на манер удавок; зацепили их всеми наличными лошадино-механическими силами и принялись тянуть. Но мотор «чудо-коня» вдруг без всякой на то причины намертво заглох... Тут-то бы им задуматься и, может быть, постараться опомниться,— но нет, оскотинившуюся до лютости ватагу такая помеха только раздразнила. Всем скопом погромщики бросились по ближним деревням добывать новых лошадей, оставив одного мужика сторожить при церкви уже собранных. «Мобилизация сознательности», однако, проходила чрезвычайно медленно — сердобольные женщины совсем не торопились отдавать свою скотину для поругания святыни, колхозное стадо работало в поле, да рыскавшие еще против собственной совести и страху поддали водчонки,— словом, на поиски ушел почти весь день. Когда же под вечер они наконец возвратились к приговоренному ими храму, то не нашли там ни оставленного товарища, ни опекавшихся ими трактора с гужевою силой — все они как сквозь землю провалились, да так прочно, что с той поры никто их уже на этом свете не видал. Вот такого неожиданного оборота, как рассказывают, даже с самых заносчивых оказалось достаточно.

...Подъезжая летом 1977 года к Бестужеву, вторым, на что мы обратили внимание после храма, был необычный цвет реки: вся она как будто бы маслянисто лоснилась от мокрой древесины. Между тем, как вспоминают

местные жители, с дореволюционных лет и почти до самой войны речка была еще настолько глубока и просторна, что летом сюда постоянно ходил пароходик из Вельска через Шангалы,— но теперь, как и множество других ее северных сестер, Устья непоправимо загублена беспорядочным лесосплавом.

На дороге «к Праведному» нас обошел как-то раз целый поезд байдарочников; они пролетели мимо, горланя что-то невозможно бодрое под веселое посверкивание отражавших солнце лопастями весел,— и мы позавидовали со своего пешего хода сметливым туристам, избравшим такой замечательно скорый способ передвижения. Однако, не доезжая еще километров двадцати до Бестужева, навстречу вдруг снова попался тот же поезд, тянувшийся теперь в обратном направлении: гребцы песен не пели и лишь устало хрюкали в такт, пересиливая не очень быстрое течение. Поначалу мы все гадали, что за причина могла заставить их бросить столь счастливо начавшееся путешествие, и надо же где привелось увидать ее воочию — прямо под церковью Верюжского погоста: кое-как сплавляемый лес запрудил поворот реки у холма километра на два, вода вокруг разлилась, и всякое движение по ней сделалось невозможным. Эта картина повторялась потом у каждого поворота русла...

Подымаясь по тропинке ко храму, мы повстречали еще и типовую плиту-памятник с фамилиями погибших в последнюю Отечественную войну бестужевцев. Такие траурные знаки поставлены во многих сохранившихся еще сельских центрах Севера, и всегда чтение их вместе с понятною скорбью вызывает ощущение какой-то особенной боли: списки в десятки имен содержат обычно всего три-четыре одинаковых фамилий убитых, хочется даже сказать — выбитых целыми родами жителей... Разорение исконных русских земель, населенных когда-то крепкими гордыми людьми, никогда не знавшими крепостной зависимости, начато было еще в 20-е годы, когда крестьян насильно сгоняли в истребительные колхозы, а наиболее домовитых ссылали на погибель в отдаленнейшие края. Несколько раз показывали нам тех немногих, кому удалось вернуться оттуда: вот, например, стоит посреди села крепкий еще, столетний и чуть ли не трехэтажный (если прибавить верхнюю летнюю комнату-«вышку») сруб — после ареста хозяев он был занят сначала под клуб, попытавшийся заменить поруганную церковь, а теперь с общим оскудением сельской жизни тот закрылся и строение

зияет пустыми очами-окнами на три стороны света; на самом же краю порядка, в крошечном «зимнике», ютятся дети бывших раскулаченных, пришедшие умирать на родное пепелище — две маленькие узловатые старушки с какими-то притушенными, скорбными глазами (ведь и имя иконы Богоматери Всех скорбящих радость сокращают у нас упорно до «Скорбящей»). После коллективизации никогда раньше не ввозившее хлеб Заволочье вдруг принялось во всевозрастающем числе закупать зерно; потом прошла та самая война, как будто нарочно погубившая чуть ли не половину именно северного мужского населения... А в 50-х годах прокатился и раззор хрущевских «химероприятий», когда все колхозы, где население хоть как-то — пусть и бесчеловечными связями,— но привязано к земле, сменили на животноводческие совхозы, в успехе работы которых не заинтересован уже решительно никто: горе-временщик Никита предполагал одним росчерком сделать из богатого травами речного края как бы огромный мясокомбинат. Итоги этих одноглазых стараний сейчас внятны каждому россиянину и объяснений не требуют: мясо снова превратилось из товара в предмет охоты. Скудеющие же села тем временем запустели, так что теперь от одной до двух третей изб в них стоит заколоченными, а десятки тысяч поселений и совсем оставлены. Недавно решили проявить об этом новую заботу — нацелились вдвое сократить число всех вообще населенных пунктов, собрав их жителей в поселки покрупнее. И вот Север непоправимо домирает на наших глазах.

К сожалению, здесь обнаружили еще и «подземные кладовые»— сожалеть об этом приходится потому, что тотчас же вместо будущей гадательной пользы стали погибать вполне настоящие остатки замечательных добрых нравов: если на нашей памяти всего несколько лет назад даже двери в домах нигде не запирались — к ним попросту приставлялась сбоку палка, означавшая, что хозяин куда-то отлучился, а путешественников (не «туристов») местные жители охотно брали ночевать, кормили, топили баньку и никогда не соглашались взять за свое гостеприимство деньги,— то теперь розыски «полезных ископаемых» по болотам ведут в основном бригады освободившихся из расположенных поблизости лагерей уголовников (общее число жителей Вологодчины чуть ли не на четверть состоит из осужденных, множество которых находится на полусвободном «бесконвойном» режиме и за-

нимается вырубкою и транспортировкой леса) и ходить тут становится небезопасно. Так и в самом Бестужеве мы впервые за весь путь столкнулись с тем, что пришлось два часа промаяться и проторговаться, покуда нашелся охотник пустить нас за плату переночевать хоть в сено на поветь,— раз уж здесь обосновался центр совхоза, то и обычаи соответствующие.

Нельзя упускать из виду и главную, пожалуй, причину распада края: вынут духовный стержень. Ведь в центральных районах России даже закрытые кирпичные сельские храмы продолжают все-таки как-то и местность «держать» своими высокими колокольнями, и душу, постоянно наталкивающуюся взглядом на вознесенный в небо крест, не допускают упасть на самое дно безобразия,— а на Севере, где тысячи храмов были деревянными (памятником этому сказочному и утраченному уже богатству останется первый том курса истории русской архитектуры М. Красовского, выпущенный в Петрограде в 1916 году, значительная часть описаний и снимков которого посвящена северному деревянному зодчеству, в основном церковному),— они почти все уже успели исчезнуть с лица земли; потому что дерево, подобно живому существу, требует за собою постоянного ухода и попечения. Без человеческого участия деревянные постройки необычайно быстро превращаются в труху и распадаются. Вот один разительный пример — в современной Архангело-Холмогорской епархии, включающей в себя вместе с Архангельскою еще Мурманскую область и Коми АССР (со столицею в Перми), едва набирается два десятка действующих церквей, да и те сохранились в основном по городам.

...Но мы уже входим под своды Богородицерождественского храма. Раскрытый внутри — без обычного в старинных церквах низенького потолка — шатер его полон света, а иконостас выломан; и одни лишь остатки убранства валяются в забитом мусором подвале. Здесь же, как это сделалось обычным в архитектурных памятниках, обильно нагажено (тут кстати припомнить, кто был начальником этого кощунства: ведь, как гласит стойкое предание, именно за подобную мерзость в алтаре, да в придачу к ней еще воровство, выставили в свое время Иосифа Джугашвили из тифлисской семинарии). Окна со старинными коваными решетками пробиты, ветер гуляет где хочет, и непогода постепенно делает свое сырое дело: одна галерея, подточенная гнилью, уже рухнула. Правда, в последние годы сюда наведывались студенты-архитекто-

ры,— но жители поторопились радоваться: они не имели средств и сил ставить церковь на охрану или чинить, а просто сделали обмеры.

И все же почитание святого Прокопия сохраняется до нашего времени по всему течению Устьи от истоков ее и до самой Ваги, а в Прокопьев день 8 (по новому стилю — 21) июля никто здесь на работу не выходит, хотя и пытались как-то выгонять силой: он отмечается всеми как законный местный праздник. В самом Бестужеве гуляние теперь переместилось в сторону кладбища, куда ограбившие раку каты перетрясли когда-то посмертно-мученические мощи праведного. И пусть, как и другие церковные праздники ныне, не все встречают его с положенною пристойностью, а молодежь иногда использует только как предлог упиться той «плодово-выгодной» дрянью, что продают в «сельпе» под именем вина (уходит с Севера и обычай варить к счастливым событиям свое пиво, как в старину — целыми бочками; одна ложка для помешивания пивного котла вмещала литров десять),— не стоит торопиться осуждать, потому что даже и в такой искаженной форме это может стать порою первым уроком того главного на земле закона, который начисто исключен из современной школьной программы. Как знать, не эти ли вот веселящиеся полусознательно дети, вырастая духовно, позаботятся в грядущих годах о том, чтобы не пресеклось в Заволочье поминание имени Прокопия Устьянского.

...Отправляясь вниз по течению реки дальше к самой Северной Двине, где-то далеко-далеко принимающей воды ее, соединенные с важскими, мы уже на автобусной станции услыхали — и, конечно, снова нарочно, потому что таких случайностей не бывает в оживленной дыханием Духа природе — как одна женщина пересказывала приезжему родственнику совсем еще свежую современную легенду о том, кто теперь охраняет брошенный храм. «Как умер последний наш батюшка-старичок,— говорила она, цокая по вологодскому обычаю на каждом «ч» и подчеркнуто произнося слова на «о»,— то из живых за церковью присматривать стало уже некому, и вот Бог наказал тогда ему и после смерти печься о высокой Прокопьевской свече, двери которой злобесные люди широко растворили для осквернения. С тех самых пор жители Бестужева стали все чаще примечать как бы след поповой души, что летает легкою тенью вокруг шатра, стережет место и даже, где сил хватает, подправляет разорен-

ное здание. Верующие устьянцы, увидав носящегося в небе кругом церкви «батьку» своего, невольно осеняют себя крестным знамением, благодаря Спасителя за то, что не оставляет их без ангела-хранителя не только что от «губернского города Вологды», но и от ближайшей-то живой церкви в нескольких сотнях километров пути. Года три назад, однако, засек низко спустившуюся к алтарю воздушную тень и глаз какого-то поганого человека, который принялся стрелять в нее из охотничьего ружья и так напугал небесного сторожа, что тот, скрываясь от дурного ока, задел крышу, которая с той поры и покосилась несколько к югу... А какой грех, встретя живую умершую душу, в нее палить-то,— сказала под конец женщина,— ведь коли дано кому увидать больше других, то беспощадней и спросится».

— Тут нам еще в связи с этим припомнилось, что в возобновленной недавно в некоторых православных храмах России древнейшей литургии апостола Иакова, брата Господня, есть как будто лучше всего подходящий именно к нам — вместо того «русского Бога», что так усердно провозглашался в конце прошлого века — истинно «русский вопль ко Христу»: взамен «Господи помилуй» в этой службе поется: «Господи, пощади!..»

1981

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В 1981 году очерк этот был напечатан в Париже; на следующий год во втором выпуске сборника «Реставрация и исследования памятников культуры» (М., Стройиздат) появилась статья о Введенском погосте М. И. Мильчика — но еще 17 июня 1978-го, на следующее лето после нашего путешествия, шатер Прокопьевского храма рухнул.





МОСКОВСКИЙ ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ В XVIII ВЕКЕ



Смена исторических эпох, произошедшая в России на рубеже XVII и XVIII столетий, в отношении Русской Православной Церкви особенно наглядна: со смертью в 1700-м, последнем году семнадцатого века, последнего Патриарха Московской Руси Адриана, настал новый период, названный «синодальным». Длительное время в церковной истории было принято считать его временем чуть ли не полного упадка. Однако, встречаясь с новыми трудностями, Русская Церковь проявила и новые доказательства своей крепости, сумела пережить различные неблагоприятные веяния, подчас казавшиеся сокрушительными, и вышла из испытаний не ослабленной, а еще более могучей.

Показателен итог, подведенный в связи с этой эпохой историком А. В. Карташевым: в самом начале нашего столетия он был в числе наиболее последовательных критиков синодального строя, затем, в 1917 году, волею судеб получил возможность взглянуть на вопрос с противоположной стороны, будучи последним министром вероисповеданий Временного правительства; несколько следующих десятилетий он состоял профессором Духовной академии в Париже и имел возможность спокойно сделать окончательный вывод. На склоне лет в своем курсе истории Русской Церкви он говорит об эпохе, открытой Петром I для государства, так: «Как ни дефективен по-своему весь послепетровский имперский период, он есть, очевидно, наиболее ценный, самый блестящий и славный период России. Мы знаем его недостатки. Он был бы еще лучше, еще ослепительнее, если бы их не было. Но ведь

это отвлеченное, бесплодное суждение. А реальный, фактический, положительный, прогрессивный результат пережитого периода налицо. Никакая лгущая... историософия не в силах затемнить сияния этой бьющей в глаза правды:— всё восходящей линии биологической эволюции единого организма России по ее государственной и церковной стороне».

Переходя непосредственно к церковным вопросам, он развивает свою мысль далее: «Помимо всяких пристрастий, мы вынуждаемся видеть в пережитом периоде действительно такое количество черт положительного характера, что именно, в сравнительном сопоставлении их с прежними периодами русской церкви, мы обязуемся признавать объективно синодальный период русской церкви — периодом ее восхождения на значительно большую высоту почти по всем сторонам ее жизни в сравнении с ее древним теократическим периодом».

Одним из главных доказательств такого расцвета видится ему монастырская жизнь: «Другим наглядным свидетельством обилия святости на Руси, давшей ей дерзновение величать себя «Святою Русью», было широкое разлитие по лицу русской земли монашества и монастырей. Секуляризационное давление императорских правительств только на опыте проверило необыкновенную живучесть русского монашества и даже повело к новому его расцвету. Отобрание земельных владений и закрытие части монастырей пробудило в монашестве энергию трудового приспособления и даже послужило толчком к духовному его возрождению в форме прославленного старчества». И, перефразируя известное изречение: «Петр бросил вызов России, и через 100 лет она ответила ему явлением Пушкина»,— заканчивает следующим выводом: «Петр бросил вызов русскому монашеству, и через 50 лет оно ответило ему явлением святителя Тихона Задонского, старца Паисия Величковского, еще через 50 лет — св. Серафима Саровского, через новые 50 лет — святителя Феофана Затворника, старца Амвросия Оптинского и целого полка оптинцев. Словом, по всем внешним и внутренним признакам, следует дать отставку устаревшей односторонне-пессимистической оценке синодального периода и увидеть в нем высшее, исторически-восходящее выявление духовных сил и достижений русской церкви» [1].

Вместе со всеми русскими обителями разделил их общую судьбу в XVIII веке,— названном поэтом «столетье безумно и мудро»,— и первый по времени основания мо-

сковский монастырь, в чьих стенах сохранялись мощи основателя рода московских князей. Более того, будучи первой по чести, но не богатству, Свято-Даниловская обитель являет собой типический образец истории русского монастыря в эту эпоху как в духовном, так и в материальном отношении.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ МОНАСТЫРЯ

На самом пороге нового века, в 1700 году, обитель, по данным Государственного архива старых дел, владела всего 142 крестьянскими дворами[2].

От 1703 года сохранилось любопытное прошение о поправке монастырских зданий, свидетельствующее о более чем скромном достатке даниловцев, не позабывших, однако, былой своей славы:

«Державнейший царь! Государь милостивейший! Ваше государское богомолие, Данилов монастырь построен из давных лет, и погребен в том монастыре ваш государев сродник, благоверный и великий князь и чудотворец Даниил Александрович. А ограда и святыя врата каменная около монастыря построились не в давных летах, а по стене той ограды водяных спусков не учинено; значено было быть по той стене деревянной кровли, а той деревянной кровли по городовой каменной стене и на святых вратех по се число не учинено. И та каменная стена и святыя врата от дождей и снегу размываются, и если впредь вскоре кровли не учинить, оттого будет поруха не малая. А на поварне и на хлебне каменная кровля обветшала, а братския кельи деревянныя весьма ветхи, и кровли все огнили; в зимнее время братьем от мороза, а летом от дождя нужда не малая. Всемилостивейший государь! Вели в своем царском богомолии, в Данилове монастыре, каменнаго строения городовыя стены и святыя врата и поварню и хлебню покрыть, а кельи вновь построить, или перебрать и покрыть, и на построение дати из своей государевой казны денег из Монастырскаго приказу. Нижайшие богомольцы Данилова монастыря игумен Макарий с братиею, августа 18 дня 1703»[3].

Из дела 1704 года явствует, что земельные владения обители были невелики и состояли всего из подмонастырского села Даниловского да сельца Добрятино в Московском уезде со 121 бобыльским и крестьянским дворами[4].

Однако молодой царь Петр менее всего заботился о

благосостоянии богомолий — напротив, он рассматривал их лишь как один из источников средств, во множестве уходивших на его различные предприятия. Уже с 1701 года все монастырские сборы и доходы в стране были взяты в светские руки, что быстро привело к упадку ранее высокопроизводительных хозяйств. С 1705 года даниловские иноки получали содержание деньгами, с 1723 года товаром, а с 1756 года и вовсе в виде провианта.

Помимо того, как выразительно повествует историк Данилова монастыря конца XIX столетия архимандрит Дионисий, притеснения обители сделались постоянными. В монастырь насильственно помещались инвалиды, монахам настрого запрещали выходить за ворота и переписываться с родными, у них отняли книги, бумагу и чернила — и вместе с тем требовали заниматься увещанием раскольников и умалишенных; запрещалось вновь постригать великороссов, взамен которых в обитель посылали украинцев и отставных солдат. Наказания применялись самые жестокие — битье братии, в том числе иеромонахов, на людях батогами и шелепами (вплоть до отмены телесных наказаний духовенства при Александре I). Учреждались нисколько не сообразные с монашескими обетами должности: монах-смотритель, монах-городничий (наблюдавший за военным караулом), монах-судия, инквизитор и даже протоинквизитор (в 1721—1730 годах даниловский насельник Иоанн Фатуев последовательно занимал три последних должности). С 1702 по 1792 год в обитель присылались для прохождения епитимии на различные сроки более 140 человек — от архимандрита до крестьянина[5].

Напротив, царские вклады за весь XVIII век поступали в Данилов всего трижды: в 1729 и 1732 годах он вместе с другими московскими монастырями получил из дворца ризы на помин усопших великих княгинь, а в 1753 году великий князь и наследник Петр Федорович — будущий Петр III и его супруга Екатерина Алексеевна — впоследствии Екатерина II— прислали парчи для одежды престола[6].

Невелико было и количество братии. В 1710 году она состояла из 30 монахов и 5 служителей[7]. Согласно донесению Духовной Дикастерии Синоду от февраля 1727 года накануне кончины долголетнего настоятеля Даниловского монастыря игумена Макария в обители было: денег 290 рублей 21 копейка, хлеба сверх семян 399 четвертей, обывателей духовных с игуменом 30, светских 18[8].

Штат в 30 иноков подтвержден был и в 1735 году[9].

В 1744 году монастырь владел уже 1243 душ крестьян[10] — столько же оказалось их и при окончательном отнятии крестьян от монастырей в 1764 году.

Накануне введения штатов была сделана сохранившаяся доныне «Опись Московского Данилова монастыря во исполнение имянного Ея Императорскаго Величества указа марта 9-го дня 1763 году учиненная лейб-гвардии Семеновского полку поручиком Петром Свиньиным по данной ему из учрежденной о церковных имениях комиссии инструкции и печатной формы, коликое во означенном монастыре имеется каменных церквей, церковной утвари, ризницы и протчаго (число)».

После упразднения в 1764 году монастырского землевладения, отобрания средств и угодий братия обители и вовсе разошлась, «боясь умереть с голоду». По праздникам настоятелю не с кем даже было совершать службу, и епархиальное начальство вынуждено было предписать дьякону соседней Воскресенской церкви отправляться по этим дням на подмогу даниловскому игумену.

Положение несколько улучшилось с началом выплаты штатного жалованья. Согласно установленному в 1764 году расписанию Даниловский монастырь был сделан третьеклассным с годовым содержанием в 786 рублей 50 копеек ассигнациями и количеством братии в 12 человек — один игумен, один казначей, четыре иеромонаха, два иеродиакона, один пономарь, один просфорник, один ключник и одновременно хлебник, один чашник — при 8 служителях[11].

Новой жестокой невзгодой, вскоре постигшей обитель, оказалось «моровое поветрие» (чума) 1771 года, когда на время эпидемии иноки были выведены в Донской монастырь, а в Данилове размещен карантинный караул и лазарет. По снятии карантина в живых оставался один только настоятель...

И все-таки Даниловский монастырь возродился вновь, несмотря на гонения и стеснения. Одним из последних был указ Синодальной конторы от 2 июля 1773 года, которым запрещалось погребать братию и светских людей в стенах монастырей. Для общего упокоения монахинь назначался упраздненный Андреевский монастырь, монахов — отдаленные от города Николо-Перервинский и Николо-Угрешский, а от мирян требовался билет духовного и светского начальства. Впрочем, «первое вскоре было отменено, второе осталось в силе, хотя в ином простом виде»,— иронически замечает архимандрит Дионисий[12].

Именно с конца XVIII столетия Даниловский мона-

стырь становится в ряд известных московских некрополей — так, помимо собственных игуменов и архимандритов, здесь был погребен Сергей Герасимович Домашнев (1743—1795), воин, писатель, поэт и второй директор Академии наук[13].

Благосостояние обители заметно улучшается в самом конце века, когда при императоре Павле штатное содержание его было удвоено и восстановлено учрежденное еще основателем, святым благоверным князем Даниилом, возглавление монастыря архимандритами вместо положенных по штату 1764 года игуменов.

НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЯ В XVIII СТОЛЕТИИ

23-м настоятелем со времени начала обители и первым в XVIII веке был игумен Макарий II, управлявший ею с 1700 года по самую свою кончину в 1727 году.

24-м — игумен Герасим, оставивший память как храмоздатель: 1727—1733.

25-м — игумен Варлаам II, назначенный в 1733-м из Перервинского монастыря, но так и не прибывший в Данилов.

26-м — игумен Товия по прозванию Чебановский, бывший крепостной графа Шереметева, выбранный из даниловских ризничих: 1733—1759.

27-м —игумен, затем архимандрит Константин Боровский, 1759—1767, который в 1763 году переведен в Пафнутьев-Боровский монастырь, но оставлен в Даниловском архимандритом, а в 1767 году назначен в Казанский Спасо-Преображенский монастырь.

28-м — архимандрит Иустин, 1767—1776.

29-м — иеромонах, затем игумен Митрофан, 1776—1780.

30-м — иеромонах Варлаам, 1780—1781.

31-м — архимандрит Геннадий, 1781—1788.

32-м — присланный из Ахтырского Троицкого монастыря архимандрит Венедикт, 1788—1792, переведенный затем в Переяславский Данилов монастырь.

33-м — архиепископ Никифор Феотоки, 1793 — 31 мая 1800.

34-м — назначенный в 1800 году в Данилов архимандрит Иоанникий, который был переведен, не прибывши в обитель.

35-м — архимандрит Георгий из казначеев Троице-Сергиевской лавры, 1800—1806[14].

МОНАСТЫРСКОЕ ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО

В первой четверти XVIII века строительство в монастыре, как и во всей империи, было приостановлено царским указом 1714 года, запрещавшим возводить каменные здания где бы то ни было, кроме Петербурга. Возобновление строительной деятельности стало возможным лишь после смерти Петра I; в конце 1729-х — начале 1730-х годов оно связано с именем наместника Новоспасского монастыря Герасима, назначенного игуменом Даниловской обители 28 июля 1727 года.

В 1728 году он вместе с другими московскими монастырскими властями присутствовал на коронации Петра II; а в следующем, 1729 году в прошении на высочайшее имя изъяснял, что соборный храм во имя святых отец Семи Вселенских Соборов обветшал до того, что входить в него для служения перед мощами благоверного князя Даниила опасно — богомольцы могут пострадать от распадающихся кирпичей. Игумен Герасим испросил до 1600 рублей на исправление здания и на эту сумму возобновил собор, разобрав ветхие его стены до пола над нижним этажом и устроив новые кирпичные с куполом, поставил новую главу и крест, покрыл почти весь храм листовым железом, установил внутри новый иконостас и престол — и наконец в 1730 году освятил обновленный собор.

В XVIII веке в обители вновь появился престол во имя преподобного Даниила Столпника. Древняя церковь в честь этого святого, заложенная при благоверном князе Данииле около 1282 года, существовала до конца XVII столетия. Писцовая книга 1635—1636 годов отмечает «за монастырем слобода село Даниловское, в ней церковь Даниила Столпника древяна клецки, строение монастырское и приходских людей». Но в описи монастыря 1702 года эта церковь уже не упоминается. Зато здесь же, в реестре вновь прибылых предметов 1720-х годов, значится в трапезной соборного храма придел Симеона и Даниила Столпников. Вскоре он был перенесен в колокольню, где 1 сентября 1732 года освящен как вновь устроенный храм. Опись 1753 года называет под колоколами уже храм во

имя одного Симеона Столпника, а опись 1763 года гласит: «Против церкви с западной стороны Седми Вселенских Соборов вторая церковь каменная Даниила Столпника однопрестольная». В следующей описи, 1763—1767 годов, говорится, что «подле оной (то есть соборной) церковь новопостроенная каменная Даниила Столпника», иконостас которой освящен Святейшего Правительствующего Синода членом преосвященным Тимофеем.

Епархиальный архиерей Тимофей (Щербатский) управлял Московской епархией с 27 октября 1757 года по самую свою кончину 18 апреля 1767 года с титулом сначала «Московский и Севский», а затем «Московский и Калужский». Примечательно, что при въезде его впервые в новый кафедральный город — преосвященный Тимофей был переведен с киевской кафедры — 23 января 1758 года именно в Даниловском монастыре собирались для встречи владыки всемосковские монастырские архимандриты, игумены и поповские старосты[15].

В первой половине следующего, XIX столетия службы в храме во имя Даниила Столпника постепенно прекратились, а в 1858 году он был упразднен «за ветхостию иконостаса» и использовался для ризницы и библиотеки. С тех пор первый престол Данилова монастыря ждал своего обновления до 1988 г.

В 1760-х годах были вычинены северная и южная паперти соборного храма, а около 1800 года вместо них по обеим сторонам алтаря нижней Покровской церкви и на ее западных углах снаружи пристроили каменные палатки со сводами для погребений. Над палатками нижнего этажа устроены каменные сводчатые пристройки, из которых две близ алтаря имели в него открытый ход. В них в 1805 и 1806 годах устроены придельные храмы преподобного князя Даниила и святых Бориса и Глеба; паперть же перенесена на западную сторону, сделана крытой с двумя каменными лестницами, которые также ограждены и подведены под крышу[16].

Монастырские описи с 1701 по 1760 год свидетельствуют, что мощи святого благоверного князя Даниила лежали в это время против правого клироса соборного храма — то есть с юга верхней церкви Семи Вселенских Соборов. Начиная с описи 1763—1767 годов мощи показаны уже на левой стороне, в арке северного клироса. Гроб или рака для мощей упоминаются с 1732 года. Опись 1753 года сообщает: «Мощи благоверного князя Даниила в раке, над ним образ его писан на дске, да

Святыя Троицы; венцы на них вызолочены, около раки обложено серебром, тщанием князя Феодора Ивановича Голицына». Последующие описи уточняют, что оклад этот был серебряным с позолотой — впоследствии он был похищен французами в 1812 году и в 1817 году заменен новым[17].

Отдельной колокольни в монастыре не было вплоть до XVIII столетия, однако набор самих колоколов был изрядный — в 1701 году общий вес их составлял 292 пуда. В тот же год четверть колоколов, в 73 пуда весом, была изъята по царскому указу в казну для нужд армии, а в 1710 году, воспользовавшись тою уловкой, что указ запрещал отбирать более четверти колокольного веса только в столичных храмах, а Данилов монастырь стоял в пригороде, вновь отобрали колокола еще на 57 пудов 10 фунтов.

Тем не менее до начала XX века в обители сохранялись два колокола общим весом более 100 пудов, подаренные царем Феодором Алексеевичем. Надпись на одном из них, 40-пудовом, гласила: «Лета 7190 (1682) марта 17 дня Государь и Великий Князь Феодор Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец пожаловал сей колокол в Дом Святых Отец Седми Вселенских Соборов и Святаго Благовернаго Князя Даниила при игумене Тимофее с братиею»[18]. Надпись на втором, большем колоколе была схожа с первой.

Северные святые ворота существовали в монастыре еще с конца XVI века. В 1729 году игумен Герасим просит устроить над святыми воротами, под колокольней, упоминавшийся уже выше храм Симеона и Даниила Столпника, а над колокольнею поставить башенные часы с боем. Необходимость часов он объяснял тем, что они будут для братии полезны, а проходящим мимо послужат утешением. Часы просуществовали почти столетие, покуда в 1838 году, снятые за несколько лет до этого из-за повреждения, не были проданы за 80 рублей.

Опись 1883 года рассказывает о церкви Симеона Столпника: «Церковь сия построена в 1731 г. московским купцом Михаилом Андреевым Носыревым и освящена в 1-й день сентября 1732 года по новоисправленному требнику знаменским архимандритом Варлаамом на освященном Антиминсе, выданном из Синодального Дома». Построением колокольни и храма под звоном в 1727—1732 года заведовал тот же игумен Герасим, который возобновил в 1729—1730 годах монастырский собор.

Исполнив меру своих земных трудов, он отошел к Господу 16 сентября 1732 года, через пятнадцать дней после освящения надвратной церкви.

О причине, вызвавшей именно такое двойное название храма, убедительнее всего предполагает архимандрит Дионисий: через день после 30 августа, когда празднуется обретение мощей благоверного князя Даниила, 1 сентября, на Симеона Столпника и церковное новолетие, издревле под стенами Даниловской обители собиралась ярмарка овощей и фруктов, сопровождавшаяся гуляниями; обычай этот прекратился только в XIX веке[19].

В самом начале XX века монастырские власти попытались было надстроить колокольню еще тремя ярусами, так как она обветшала и не вмещала самый большой колокол, который пришлось повесить отдельно около святых ворот. Они дважды обращались в Комиссию по сохранению древних памятников Императорского московского археологического общества за разрешением на перестройку (в 1905 и 1907 годах), но оба раза получили отказ. Однако благодаря этому неудавшемуся предприятию в «Трудах» Общества осталось краткое, но ценное описание состояния надвратного храма и прекрасная его фотография[20].

В 1773 году к востоку от колокольни, в линию северной стены, которой они составляют часть, выстроены были «старые» братские кельи.

При Даниловском монастыре издавна существовала часовня. Когда по указу Синода от 31 декабря 1721 года все московские часовни, а вместе с ними и фонари, в которых ставились свечи перед иконами на воротах и в других местах, были переписаны (часовен всего оказалось 40, а фонарей 26), то в список этот попали в числе прочих каменная и деревянная часовни у Даниловской обители. По «сказке» смотрителя часовни иеродиакона Пафнутия, деревянная построена была «изстари», а каменная в 1718 году вместо другой, тоже деревянной. Доходу с обеих набиралось от 13 до 19 рублей в год, шедших в пользу монастыря[21]. В конце XIX века эти «ближние» часовни были перенесены в западную арку колокольни.

А в 1784 году в полуверсте от монастыря, при въезде в Даниловскую слободу из Москвы, рядом с бывшею городской Серпуховской заставой выстроена была новая каменная часовня во имя святого благоверного князя Даниила, тщанием даниловского архимандрита Геннадия[22].

В монастыре долго существовал благочестивый обычай накануне праздника иконе Божией Матери Троеручица (11 июля ст. ст.) совершать торжественный крестный ход из обители к часовне, где затем на открытом воздухе служилась праздничная всенощная. Сохранилось живописное свидетельство очевидца одного из последних таких праздников в начале XX столетия, продолжавшегося с пяти часов вечера до поздней ночи и возглавлявшегося настоятелем Данилова монастыря епископом Феодором (Поздеевским) [23].

Ограда монастыря, на отсутствие крыши поверх которой сетовали игумен и братия в приведенном выше прошении к Петру I, была выстроена в камне незадолго перед 1700 годом. Она имела башни, но в описи 1763—1767 годов названа уже ветхой. В те же годы, говорится там, «к стоящей от Москвы-реки боковой стене вновь сделан дубовый обруб, который железом окован, землею насыпан и бутовым камнем забучен».

До настоящего времени дошли почти все описанные храмовые постройки XVIII столетия, за исключением часовни, на месте которой по левой стороне в начале нынешней Большой Тульской улицы в 1930-е годы разбит сквер. Тогда же колокольня была разобрана до крыши храма и вновь воссоздана реставраторами уже в 1980-х годах.

ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ В КРУТИЦКОЙ ЕПАРХИИ

В 1765 году произошла новая встреча в истории двух благих насаждений на церковной ниве святого благоверного князя Даниила — Данилов монастырь был перечислен из Московской в Крутицкую епархию, а его настоятель сделан присутствующим в епархиальной консистории[24].

Епархия эта была учреждена еще в 1261 году по ходатайству святого благоверного князя Александра Невского, отца князя Даниила, митрополитом Кириллом под именем Сарайской на Волге, в столице татарского ханства — городе Великом Сарае, для русских христиан, купцов и пленников, во множестве обитавших в нем. В 1292 году святой благоверный князь Даниил отвел пришедшему из Греции епископу Варлааму, который странствовал со святыми мощами по Руси, место на крутом

берегу Москвы-реки,— по которому оно и названо было Крутицами,— в тех же пяти верстах от Кремля, что и Даниловская обитель, но несколько северо-восточнее[25]. В 1300 году епископ Варлаам освятил здесь храм во имя святых апостолов Петра и Павла, рядом с которым выстроил архиерейский дом. После кончины епископа Крутицкое подворье осталось в собственности Сарайских, или Сарских владык. С тех пор как епископ Афанасий получил от святого митрополита Алексия церкви по реке Дону, епархия получила двойное наименование Сарской и Подонской.

Начиная с епископа Вассиана, правившего с 1454 года, архиереи Сарские и Подонские окончательно поселились в Москве на своем подворье и стали ближайшими помощниками московских митрополитов, а затем и патриархов в управлении русской церковью[26]. В Смутное время, когда Кремль был захвачен поляками, церковь Успения на Крутицах даже была одно время кафедральным собором России[27].

Расцвет Крутицкого подворья приходится на вторую половину XVII века, к которой относится завершение возникшего здесь прекрасного ансамбля древнерусского зодчества, дошедшего до наших дней.

Доныне сохранилось два храма подворья. Первый — домовая церковь Успения (впоследствии Воскресенская), основанная еще в 1292 году, перестроенная в камне в 1516-м, с северным приделом святого Николая. В 1672—1675 годах главный храм был переделан в Крестовую палату Крутицкого архиерея, а придельный сделан домовым. С 1788 года служб в храме уже не было, в XX веке он превращен в трехэтажный жилой дом, а ныне реставрируется. Подвалы существующего здания относятся к середине XV века, подклет с абсидами храма — к началу XVI-го, верх — к середине XVII века.

Вторая церковь — Успения Богоматери с престолом святых апостолов Петра и Павла в нижнем этаже — выстроена в 1667—1689 годы, освящена в 1700-м.

Два храмовых здания соединяют затейливые переходы, в состав которых входит знаменитый «Крутицкий теремок»— творение русских зодчих О. Старцева и Л. Ковалева (1693—1694), сплошь украшенное многоцветными «ценинными» изразцами.

Здания подворья, много лет реставрировавшиеся известным русским ученым П. Д. Барановским (работами ныне руководит В. А. Виноградов, его преемник), не так

давно переданы Государственному Историческому музею, который разместил в них отделы металла и тканей[28].

Седьмого марта 1761 года на Сарскую и Подонскую епархию был переведен один из ученейших и образованнейших людей своего времени — епископ Амвросий (Зертис-Каменский), 7 октября того же года пожалованный званием архиепископа. По отцу он происходил из знатного молдавского рода Зертисов, по матери — от малороссийской фамилии Каменских. Родился в Нежине 17 октября 1708 года и, рано лишившись отца, остался на попечении дяди — старца Киево-Печерской лавры Владимира Каменского, фамилию которого впоследствии присоединил к своей родовой.

По окончании курса Киевской духовной академии усовершенствовался во Львовской духовной академии, в 1739 году пострижен в монахи; был учителем, а затем префектом Александро-Невской духовной семинарии в Петербурге. В 1748 году его назначают архимандритом ставропигиального Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Будучи прекрасным знатоком зодчества, он ознаменовал свое настоятельство в этой прославленной обители восстановлением рухнувшего в 1736 году купола соборного храма Воскресения Христова. Работы, начатые под его руководством в 1748 году, продолжались и по назначении архимандрита Амвросия в 1753 году епископом Переяславским и Дмитровским; даже находясь на Крутицкой кафедре, он продолжал числиться настоятелем Нового Иерусалима вплоть до полного завершения строительства 2 августа 1765 года. Затем его сменил родной брат Никон, переведенный из Саввино-Сторожевской обители в основанный патриархом Никоном монастырь.

По всей видимости, именно в ознаменование духовной связи с Воскресенским собором, куда владыка даже с Крутиц наезжал по 5-10 раз в месяц, он восстановил в Крестовой палате Крутицких митрополитов храм (1765—1768), названный в честь Воскресения.

Согласно расписанию епархий российской церкви, утвержденному Екатериной II 14 июня 1764 года, Сарский и Подонский архиерей стал именоваться Крутицким, с кафедрой на Крутицком подворье в Москве[29]. В соответствии с этим расписанием Крутицкая епархия как бы вклинивалась в Московскую, начинаясь от ныне действующей церкви во имя иконы Божией Матери Живоносный источник (иначе Святой Троицы) на Воробьевых горах и продолжаясь до Тарусы и Медыни.

После поступления в Крутицкую епархию в 1765 году Данилова монастыря архиепископ Амвросий тотчас сделал распоряжение во всех церквах епархии на больших отпустах поминать имя благоверного князя Даниила[30].

Дальнейшая судьба архипастыря сложилась трагически. 18 января 1768 года он стал архиепископом Московским и Калужским и вновь деятельно принялся за реставрацию трех главных кремлевских соборов,— но успел окончить только Благовещенский. Во время чумы 1771 года растерявшиеся гражданские власти потеряли управление над взбунтовавшимся городом, и владыка Амвросий пал жертвой самоотвержения, с которым боролся с заразой, одним из немногих высших сановников не покинув зачумленной Москвы.

Его решительные распоряжения по соблюдению карантина возмутили разъяренную толпу, подстрекаемую раскольниками (одним из главных убийц архиерея оказался купец-старовер Иван Димитриев[31]). Не найдя владыку на митрополичьем подворье в Чудовом монастыре в Кремле, убийцы бросились по его следам в Донской. 16 сентября 1771 года, разбив по дороге карантин в Даниловской обители, они настигли владыку-мученика в Донском соборе, вывели за ворота и тут же растерзали насмерть. Через несколько дней скончался и брат архиепископа Амвросия Никон, сошедший с ума после бесчинств, совершенных над ним бунтовщиками в Кремле. Преосвященный Амвросий погребен в малом соборе Донского монастыря, рядом с которым он принял мученическую кончину.

Погибший архипастырь, вложивший свою лепту в прославление памяти благоверного князя Даниила, много потрудился на почве духовного просвещения. Переведенная им с еврейского языка Псалтирь была издана в Москве в 1809 году. Он выполнил немало переводов с других языков — греческого: «Двенадцать посланий Игнатия Богоносца», М., 1772, «Кирилла Иерусалимского огласительные и тайноводственные поучения», М., 1772, «Иоанна Дамаскина Изложение веры», М., 1774 (второе издание М., 1782); с латинского — «Грациево рассуждение против атеистов и натуралистов», М., 1765. «Слова» его так и остались неизданными, а «Записки по истории русской церкви» погибли во время чумного бунта в Чудовом монастыре. Первая биография владыки принадлежит перу его внучатого племянника Д. М. Бантыш-Каменского — «Жизнь преосвященного Амвросия, архиепископа Московского и Калужского, убиенного в 1771 г.» М., 1813[32].

Памятью о чуме в ближайшей окрестности монастыря осталось также поныне существующее Даниловское кладбище, основанное вместе с семью другими общегородскими кладбищами в 1771 году — оно расположено в версте от обители и имело церковь во имя семи Херсонских мучеников — Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора[33]. Ныне существующее здание этого действующего храма выстроено в 1832 году архитектором М. Ф. Шестаковым и является памятником архитектуры[34]; главный его престол во имя Сошествия Святого Духа, а имя семи мучеников Херсонских носит восточный придел. В этом храме в 1930—1980-е годы бережно сохранялись многие даниловские реликвии, недавно вновь переданные в возрожденный монастырь.

После введения екатерининского «Учреждения о губерниях» епархии Российской Церкви были приведены в соответствие с новым административным делением государства, и в 1788 году Крутицкая епархия была упразднена, а ее приходы разделены между Московской и другими остававшимися и новообразованными согласно указу Святого Синода от 17 мая того же года[35]. Однако по исторической связи с древними Крутицами, основанными святым благоверным князем Даниилом, нынешний архиерей, управляющий Московскою областью (сам город Москва находится в непосредственном ведении Святейшего Патриарха), носит в своем титуле наименование «Крутицкого».

СОСТАВЛЕНИЕ НОВОЙ СЛУЖБЫ И ЖИТИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ДАНИИЛА

Первая известная служба святому князю Даниилу была составлена в 1682—1690 годах Симеоном Олферьевым и иноком Троицкого Данилова монастыря в городе Переяславле-Залесском Сергием. По содержанию служба эта повествует в основном об обретении мощей благоверного князя 30 августа 1652 года и о их прославлении. В 1761 году архимандрит Данилова монастыря Константин Борковский испрашивал у преосвященного Крутицкого позволение напечатать ее, но положительного ответа, по-видимому, не получил. Служба впервые была издана архимандритом Амфилохием, известным ученым-археографом, управлявшим несколько лет Даниловским монастырем в XIX столетии в 1873 году[36].

В начале XVIII века новая служба была создана иеромонахом Карионом Истоминым. Это был человек разносторонне образованный, проявивший себя в различных областях деятельности — он состоял приказным справщиком Печатного двора, а затем и его начальником, личным секретарем Патриархов Иоакима и Адриана, был педагогом, поэтом, переводчиком, автором проповедей, догматических, исторических и учебно-педагогических трудов; за обилие поприщ и отсутствие приверженности к какой-либо политической партии носил прозвание «пестрого»[37] (1640-е — не ранее IX.1717 или 1722 г.). Отойдя от дел, он составил службу благоверному князю Даниилу в 1711 году по прошению даниловского игумена Макария и старца Кариона Борина, государева дьяка. Но и этой службе пришлось долго ждать напечатания — более двух с половиной веков; она была впервые опубликована известным современным исследователем русской богослужебной литературы игуменом Андроником (Трубачевым) в мартовской Минее издания 1984 г.[38].

Карион Истомин был ярким представителем эпохи барокко; литературный стиль этого течения заметно сказывается и на витийственном слоге нашей службы: «В таковом трудопребытии велиарова злокознства поправ, не обременился еси грехами пагубоносныя троерожицы: сластолюбием, сребролюбием и славолюбием» (седален утрени).

Наконец первая печатная служба благоверному князю вышла из-под пера самого, пожалуй, знаменитого русского иерарха XVIII столетия — митрополита Платона (Лёвшина; 1737—1812).

Происходивший из семьи бедного подмосковного причетника, он благодаря природным дарованиям и упорному прилежанию поднялся до положения первого архиерея своего времени, стяжав такую же громкую славу своим красноречием, какой пользовался в XIX веке лишь его преемник по кафедре митрополит Московский Филарет (Дроздов). Сама Екатерина II говорила: «отец Платон делает из нас, что хочет: хочет, чтобы мы плакали — и мы плачем». Он был назначен законоучителем наследника Павла Петровича и его невесты; Московскую епархию возглавлял в течение 37 лет. Искусно и твердо отстаивая свои православные убеждения среди придворных вольтерьянцев, умел ладить с окружающими, обнаруживая много находчивости и такта. Когда однажды первый президент Российской Академии княгиня Е. Р. Дашкова лукаво спросила у него: «Преосвященный, вот вас возят шесть

коней, а Христос ведь ходил пешком?»— он ответил ей так: «Да, Христос ходил пешком — и за ним овцы следовали. А я овец своих не догоню и на шестерке» [39].

Даже такой гиперкритический современный исследователь, как протоиерей Г. Флоровский, признает в своих «Путях русского богословия»: «Среди деятелей церковного просвещения XVIII века самым значительным и ярким был, конечно, митрополит Платон... Платон был великим и увлеченным ревнителем учености и просвещения. У него была своя идея о духовенстве. Он хотел создать вновь ученое и культурное духовенство, через гуманитарную школу. Он хотел поднять и возвысить духовный чин до социальных верхов,— в век, когда его старались снизить и растворить в «третьем роде людей» и даже в безликой податной массе» [40].

«Православное учение веры» митрополита Платона, впервые изданное в 1765 году, было вскоре переведено на латинский, греческий, французский, немецкий и английский языки, став первым русским курсом богословия. Написанная им «Краткая российская церковная история»— также первый по времени в отечественной литературе курс этой науки. Митрополиту Платону принадлежит более пятисот проповедей, любопытнейшие автобиографические записки и другие сочинения; под его наблюдением в Синодальной типографии печатались русские летописи, извлеченные им из древних монашеских обителей. Созданное митрополитом «Житие» Сергия Радонежского имело не менее пяти изданий. И вот этот-то выдающийся иерарх написал службу благоверному князю Даниилу, доныне употребляющуюся в Русской Православной Церкви, а также и его наиболее подробное житие, изданные им впервые в 1791 году[41].

В отличие от сочинения Кариона Истомина, служба, принадлежащая митрополиту Платону, написана более удобопонятным, ясным, но вместе с тем и вполне церковным славянским языком: «Блажен град, в немже в житии твоем подвизатися изволил еси, и по смерти твоей, яко многоценный дар, иконы твоя оставив, призираеши на всех живущих в нем» (песнь 6-я канона).

«Служба и житие благоверного князя Даниила», созданные митрополитом Платоном, неоднократно переиздавались в XIX веке (в 1828, 1875, 1884 годах); в наше время они вновь опубликованы в «Журнале Московской Патриархии» в 1977 году (№ 10, с. 33—48, с новым акафистом) и в мартовской Минее в 1984-м (ч. I, с. 80—103).

О «Житии» благоверного князя, сложенном митрополитом Платоном, следует сказать особо. В древних рукописных «Прологах», так же как и в печатном «Прологе» времен патриарха Иосифа, сказания о преподобном Данииле нет; отсутствует оно и в Великих Минеях-Четьих митрополита Макария. Сказание впервые появилось в «Прологе», изданном при Патриархе Никоне, обретшем святые мощи князя, и затем стало перепечатываться во всех последующих; оно заимствовано в основном из «Степенной книги», составленной митрополитом Афанасием при Иоанне Грозном, с незначительной стилистической правкой[42]. Судя по подстрочным примечаниям, обязательно помещенным митрополитом Платоном в его издании службы и жития преподобного Даниила, наряду с этими пособиями он пользовался и другими — только что изданными и рукописными летописцами, «Историей Российской» князя М. М. Щербатова и проч.

Изложение митрополита Платона следует по пути от внешнего к «внутреннему человеку». Рассказав о родословии князя, он пишет, что тот в 1272 году получил по разделу от своих старших братьев «доставшийся ему в жребий и в стяжание град Москву с принадлежащею к нему областию, и от сего времени начат быти княжение Московское. Управляя же сим не весьма важным тогда княжением, имел правителем над страстьми своими разум, поставляя единственным правилом всех своих поведений и деяний евангельския заповеди и сими предписуемыя добродетели: кротость, милосердие, любовь мира и тишины, правоту, нелюбостяжание, удаление от властолюбия, нежелание чуждаго, а на конец недреманное попечение о пользе своих подданных» (л. 26—26 об.).

Затем он переходит к душевным качествам, обнаруживая тонкие познания в человеческой психологии: «Мы разсматривая и удивляяся толь знаменитым блаженнаго мужа деяниям, от единые добродетели преходим к другой, и как бы зрением увеселяяся в прекраснейшем раю, или в некоем распещренном различными цветами саде, от одной красоты устремляем взор наш на другую. Видели мы различныя украшающия его добродетели: кротость, человеколюбие, и прочия сим подобныя. Которыя обозрев якобы точию по внешности их, и от внешних их содеятельностей (ибо к стыду человечества сказать можно, что не всякая наружность человека согласуется с внутренним души его расположением) теперь приближимся мы к сердцу сего праведника, и откроем, так сказать, его внут-

ренность. Сия внутренность сердца у многих закрыта бывает притворством и лицемерием; но сей блаженный чужд был всякаго лицемерия, был он неприятель всякаго притворства и коварства, сих двух скрытых врагов человеческаго рода, сих злейших орудий, служащих к несправедливому многих простейших и неповинных душ обольщению и погублению» (л. 31).

Венцом всех трудов благоверного князя была крепкая вера, явленная в делах храмоздательства, и праведная кончина: «Наконец все сии и другия им подобныя добродетели запечатлел он отличным благочестием и теплейшею верою к Богу. Мы находим его во время жизни своей пекущагося о создании храмов Божиих, из коих числа был и созданный от него монастырь Даниловский с храмом во имя преподобнаго Даниила Столпника, в немже и архимандрита перваго учредил, потомже пред кончиною своею в сем монастыре и сам восприял чин монашеский» (л. 33).

В завершении «Жития» митрополит Платон слагает чрезвычайно выразительный гимн средоточному граду Отечества и государственной мудрости святого князя, заложившего основание его расцвета: «Таков был основатель Московского княжения, а купно и града Москвы. И таковому возникнуть определила судьба, предуготовлявшая сей град к будущему его сиянию и славе. Сей-то первоначальный основатель положил начало нынешнему его величию, пролагая малую точию стезю к сему тихими стопами. Якоже бы здание некое сооружаемое не с чрезвычайною поспешностию, а с большим точию искусством и старанием, получает вящшую твердость и нерушимо пребывает чрез должайшее время: и якоже древо чрез многия веки растущее, начав прежде с малаго прутика, приходит помалу в толстоту, и ветви его окрест далече распространяются: тако и граду сему надлежало возрастати от малых, но твердых начал, дабы первый его блеск не омрачил очи завиствующих, и дабы под первым огромнейшаго здания бременем не потрястись и не пасти ему скорее, нежели оно возрасло в высоту свою.

Тако предуготовя град, великий сей основатель, дав ему во-первых малое точию, но не прерывающееся никаким дуновением ветра сияние, предоставил вящщую славу возвышения его сыну своему Великому Князю Иоанну Данииловичу, проименованному Калите, который, будучи истинный подражатель знаменитых, но притом кротких и любезных родителя своего добродетелей, возвел уже сей

град на вышший степень славы и могущества» (л. 34-34 об.).

Знаменательно, что в год своей кончины — 1812-й — митрополит Платон, успевший перед смертью узнать об изгнании из Москвы неприятеля и последовавшем его поражении, передал собственный посох на память даниловскому архимандриту Ираклию, который поместил его в монастырской ризнице среди наиболее дорогих реликвий обители[43].

НАСТОЯТЕЛЬ ДАНИЛОВСКОГО МОНАСТЫРЯ АРХИЕПИСКОП НИКИФОР (ФЕОТОКИ)

Жизнь Даниловской обители в самом конце XVIII века — века просвещения истинного и ложного — ознаменована настоятельством в ней другого столпа света Христова, «просвещающего всех»— архиепископа Никифора, которого уже вскоре после его кончины стали громко именовать «отцом положительных наук возрождающейся Греции» и «одним из двух предтеч ее умственного и политического пробуждения» [44]. Немало совершил он и на ниве духовного просвещения своей второй родины, России.

Будущий архипастырь, в миру Николай Феотоки, родился 15 февраля 1731 года в старинной греческой семье, родоначальник которой переселился после захвата турками Константинополя на остров Корфу. Он окончил греческую гимназию в Патавии, а затем Болонскую академию в Италии, где получил математическое, философское и богословское образование.

В 1748 году принял на родине пострижение в монашество; вскоре был поставлен проповедником Великой церкви в Константинополе, служил также в Яссах у молдавского господаря Григория Гики.

Путешествуя по Европе, он издал в Германии свои первые труды: в Лейпциге — сочинения Исаака Сирина в 1770 году, курс «Физики» в двух частях в 1766—1777 годах, ставший учебным пособием во всех греческих гимназиях, «Цепь отцов»— свод святоотеческих толкований на первые восемь книг Библии и на книги Царств, обнаруженный им в константинопольской библиотеке Г. Гики и собственноручно дополненный, напечатанный в Лейпциге в 1772—1773 годах, «Поучительные слова на святую Четыредесятницу и речи» в 1766 году, пе-

ревод с латинского на греческий сочинения Самуила Раввина против иудеев в 1769 году; в 1775 году в Галле вышла написанная Никифором обличительная книга против папизма «О насилии католиков и кто суть схизматики и униаты».

В последней трети XVIII столетия в связи с «греческим проектом», вынашивавшимся Екатериной II при деятельном участии Потемкина,— он предусматривал воссоздание Византийского царства во главе с русским цесаревичем Константином — многие греки переселялись в Россию. Приехал сюда и Никифор Феотоки, вызванный своим соотечественником митрополитом Евгением (Булгарисом) в 1776 году в качестве своего будущего преемника на епархии Славянской и Херсонской, кафедра которой располагалась в Полтаве.

Здесь он быстро освоил русский язык, состоял сперва членом консистории, затем инспектором народных училищ; в 1779 году сменил митрополита Евгения в качестве епархиального архиерея. В 1786 году переведен в Астрахань, где, как и ранее в Полтаве, основал семинарию для образования духовенства, много писал и проповедовал, обращая в православие раскольников и даже магометан. Общаясь со старообрядцами, во множестве населявшими обе епархии, сочинил «Окружное послание к старообрядцам Херсонской епархии», а также «Ответы на Соловецкую челобитную». В 1790 году к нему явились два известных расколоучителя, подавшие уважаемому греческому архиерею 15 вопросов с обещанием в случае удовлетворительного на них ответа всем обществом воссоединиться с матерью-церковью. Преосвященный Никифор сумел найти убедительные и понятные слова для них в своих «Ответах на вопросы иргизских раскольников и рассуждении о св. мире», после чего, сдержав обет, множество старообрядцев с двумя своими учителями вернулись в лоно православия.

Как гласит «Предуведомление о создании и творце сея книги»— предисловие к собранию противораскольнических трудов владыки «Ответы преосвященного Никифора Архиепископа Славенскаго и Херсонскаго, а потом бывшего Астраханскаго и кавалера, на вопросы старообрядцев», вышедшему в Москве в феврале 1800 года, всего за три месяца до кончины автора — «В 1792 г. апреля 10, по прошению, за слабостию здоровья, быв уволен от управления епархиею с пенсиею, приехал в Москву, и по благоволению Святейшаго Синода получил на житие и

в управление Московской Даниловской монастырь, где и по ныне находится, провождая время в сочинениях и переводах книг. В 1797 апреля 5 в день коронования Его Императорского Величества получил орден св. Анны 1-го класса»[45].

При вступлении в управление Даниловским монастырем преосвященный Никифор истребовал от своего предшественника архимандрита Венедикта подробную опись имущества обители — церквей, утвари, ризницы и прочего; благодаря этому распоряжению до нас дошел наиболее полный список всего монастырского хозяйства, составлявшийся в течение нескольких лет.

По приезде в Данилов владыка Никифор жестоко занемог и составил завещание; и хотя после его окончания он прожил еще восемь лет, многие положения были затем все-таки исполнены. Так, Даниловской обители архиепископ Никифор оставлял серебряный крест с частицей Животворящего Древа и пятьсот рублей денег. Почти все собственные средства он тратил на книги, из числа которых свои печатные и рукописные сочинения, а также все иностранные издания он отказал Афонской горе, откуда они впоследствии, в 1804 году, были переданы в Константинополь и легли там в основу библиотеки патриаршей школы.

Пребывая на покое в Даниловской обители, преосвященный Никифор посвятил почти все свое оставшееся время писательству. Здесь были составлены и отредактированы принесшие ему славу «Кириакодромии»— четырехтомное собрание толкований на все недельные чтения Евангелия и Апостола; русский перевод «Толкования Евангелий Воскресных дней» вышел в Москве в 1805-м, а «Толкования Воскресных чтений из Апостола» в 1809 году.

В Данилове владыка Никифор пересмотрел и издал с помощью своих долголетних сотрудников по печатной деятельности братьев Зосимадов трехтомное учебное пособие по математике на греческом языке (1-й том — арифметика и геометрия, М., 1798 г.; 2-й том — тригонометрия и 3-й — алгебра — М., 1799). Они предназначались для даровой раздачи по эллинским школам всех стран.

В эту же эпоху было создано направленное против вольтерьянства сочинение на греческом языке; вскоре после кончины архиепископа Никифора вышли по-русски «Четыре слова монахине» (М., 1809).

Помимо духовных и просветительских трудов, владыка

занимался и поэтическим творчеством, писал элегии, надписи и ямбы. Самой большой его работой на этой ниве был сделанный по указанию Екатерины II перевод гекзаметрами с латыни на греческий «Энеиды» и «Георгик» Вергилия, изданный по повелению императрицы с текстом подлинника в двух больших томах — на создание его ушло двадцать лет.

В 1799 году земляки архиерея на Корфу, находившемся тогда под протекторатом России, избрали преосвященного Никифора своим «протопапой»— главой православного духовенства острова.

Однако последний покой архипастырю-просветителю довелось обрести на своей второй родине: он скончался 31 мая 1800 года и был погребен в стенах последнего места служения, Свято-Даниловской обители[46].

Трудам его суждена была еще долгая жизнь: множество их извлекалось после кончины автора из рукописи и выходило в свет. Так, «Слова огласительные» архиепископа Никифора стали одной из первых книг, с которой начала свою прославленную издательскую деятельность Оптина пустынь — но это произошло уже в середине XIX века, в новую эпоху, принесшую дальнейший расцвет и развитие материальной и духовной жизни Даниловского монастыря.

1987

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Париж, 1956. Ч. 2. С. 316—320.

[2] Иванов П. И. Описание Государственного архива старых дел. М., 1850. С. 345.

[3] Горчаков М. И. Монастырский приказ (1649—1725). Спб., 1868. Приложение. С. 15—16.

[4] Там же. С. 16.

[5] Дионисий, архимандрит. Даниловский мужской монастырь в Москве. М., 1899. С. 105—109.

[6] Там же. С. 114.

[7] Там же. С. 82.

[8] Описание документов и дел архива Святейшаго Синода. Спб., 1883. Т. 6. С. 440—443.

[9] Горчаков М. И. Монастырский приказ. Приложение. С. 43.

[10] Чтеиия в Императорском Обществе истории и древностей Российских. 1860. Ч. 3. Отд. 1. С. 143.

[11] Д и о н и с и й, архимандрит. Даниловский мужской монастырь. С. 83.

[12] Т а м ж е. С. 70.

[13] О С. Г. Домашневе см.: Л о г и н о в М. Н. Д о м а ш н е в С. Г.//Русская старина. 1871. № 2. С. 205—207; Чтення в Императорском Обществе истории и древностей Российских, 1866. Ч. 4; В е с е л о в с к и й К. С. Борьба академиков с директором С. Г. Домашневым//Русская старина. 1896. № 9; Русский архив. 1872. № 10. С. 2032—2036. О нем неоднократно упоминает в своих «Записках» сменившая С. Г. Домашнева иа посту главы Академии наук и неприязненно относившаяся к своему предшествеинику Е. Р. Дашкова.

[14] С т р о е в П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российскня церкви. Спб., 1877. С.198—199; исправлено по книге архимандрита Дионисня «Даниловский мужской монастырь».

[15] Р о з а н о в Н. История московского епархиального управления. М., 1870. Ч. 2. Кн. 2. С. 1—59.

[16] Д и о н и с и й, архимандрит. Даииловский мужской монастырь. С. 50—51.

[17] Д и о н и с и й, архимандрнт. О святом благоверном Данииле Александровиче, князе Московском и чудотворце. М., 1898. С. 27, 69—70.

[18] Д и о н и с и й, архимандрит. Даниловский мужской монастырь. С. 57—65.

[19] Т а м ж е.

[20] Древности. Труды комиссни по сохранению древних памятников Императорского Московского Археологического общества. М., 1907. Т. 1. № 1. С. 10—11 и илл. иа лнсте 1-м.

[21] Описание документов и дел архива Святейшаго Сниода. Спб, 1879. Т. 2. Ч. 1. С. 65.

[22] А л е к с а н д р о в с к и й М. Указатель московских церквей. М., 1915. С. 75.

[23] М а к а р о в М. И. Из жизии (Даниловцы). Воспомииаиия. Глава «Накануне Троеручицы». М., 1981 (машинопись).

[24] Д и о н и с н й, архимандрит. О святом благоверном Даниилe. С. 296.

[25] История Российской иерархни. М., 1807. Ч. 1, гл. 1. С. 234.

[26] Р о з а н о в Н. История московского епархиального управления. М., 1870. Ч. 3. Кн. 1. С. 112—113.

[27] К у д р я в ц е в М. П. Москва в XVII веке. Дисс... канд. архитектуры. М., 1980. С. 130.

[28] В и и о г р а д о в В. А., К о р ю к н н а Т. А. Новые даи-

ные по истории Крутицкого подворья в Москве//Памятники Отечества. 1984. № 2. С. 114—131.

[29] Р о з а н о в Н. И. История московского епархиального управления. Ч. 2. Кн. 2. С. 16.

[30] Д и о н и с и й, архимандрит. Даниловский мужской монастырь. С. 95.

[31] Ф и л а р е т, архиепископ Черниговский и Нежинский. Обзор русской духовной литературы. Спб., 1861. Кн. 2. С. 51.

[32] Об архиепископе Амвросии см. также: Православный собеседник. Казань, 1895. Т. 3. С. 203—214.

[33] Р о з а н о в Н. История московского епархиального управления. М., 1871. Ч. 3. Кн. 2. С. 93.

[34] Памятники архитектуры Москвы, состоящие под государственной охраной (список). М., 1980. С. 76.

[35] Р о з а н о в Н. История Московского епархиального управления. Ч. 3. Кн. 1. С. 155—161.

[36] А м ф и л о х и й, архимандрит. Летописные и другие сказания о святом благоверном князе Данииле Александровиче, сыне святого благоверного Великого князя Александра Невского, и построенном им за Москвою-рекою Даниловском монастыре. М., 1873. С. 20—37.

[37] См. о нем: Б р а и л о в с к и й С. Н. Один из «пестрых» XVII столетия. Историко-литературное исследование в двух частях с приложением. Спб., 1902; сводка последних исследований дана в биографической статье Л. И. Сазоновой//Труды Отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома. Л., 1985. Т. 39. С. 45—53.

[38] Минея. Март. М., 1984. Ч. 1. С. 103—124.

[39] См. подробнее: С н е г и р е в И. М. Жизнь московского митрополита Платона. М., 1857. Ч. 1—2; Б а р с о в А. Очерк жизни митрополита Платона. М., 1891.

[40] Ф л о р о в с к и й Г. Пути русского богословия. 2-е изд. Париж, 1981. С. 109—110.

[41] Служба (с житием) преподобному и благоверному князю Даниилу Александровичу Московскому: его же память положена в Прологе Марта 4 дня, а обретение честных мощей празднуется месяца августа 30 дня. М., 1791. (Предисловие к благочестивому читателю Л. 1—2 об.; служба ЛЛ. 3—23; житие ЛЛ. 24—36 об.)

[42] А м ф и л о х и й, архимандрит. Летописные и другие сказания... С. 7.

[43] Д и о н и с и й, архимандрит. Даниловский мужской монастырь. С. 121.

[44] Слова Гервинуса и Стурдзы. Цит. по: Энциклопедический словарь изд. Ф. В. Брокгауз — И. А. Эфрон. Спб., 1897. Пт. 41. С. 85—86.

[45] Ответы преосвященного Никифора... на вопросы старообрядцев. М., 1800. «Предуведомление». С. 11—111.

[46] Подробиее об архиепископе Никифоре см.: С т р у д з а А. С. Евгеиий Булгарис и Никифор Феотоки, предтечи умствениого и политического пробуждения греков//Москвитянин. 1844. № 2. С. 337—367; С о л о в ь е в М. М. Никифор Феотоки//Труды Киевской духовиой академии, 1894. Т. 3. № 9. С. 78—115. № 10. С. 248—266. № 12. С. 569—597.





«ПО ВЫМЫСЛУ НЕКОТОРЫХ ВЛАСТОЛЮБИВЫХ ВЕЛЬМОЖ...»



Новое издание романа новгородского писателя Станислава Десятскова «Верховники» в серии «История Отечества в романах, повестях, документах», выпускаемой «Молодой гвардией» (впервые он вышел в 1980 году в «Современнике») наглядно подтверждает мнение, что художественная и историческая критика в свое время опрометчиво пропустила почти что без внимания это произведение о славном российском «осьмнадцатом веке». К нему, на наш взгляд, несомненно стоит вернуться еще и по той весьма веской причине, что плохо усвоенные уроки истории чреваты повторением безвозвратно, казалось бы, минувших бед в самом доподлинном настоящем.

...Европа уже отпраздновала приход Нового года, а в Москве все еще шел декабрь 1729-го. Ранним зимним утром взобравшийся на замоскворецкую колоколенку сонный пономарь или просто любитель ударяет в морозный колокол, вслед за ним веселый рождественский трезвон подхватывают на Покровке, на Арбате — и вот, в довершение всего, громко запевают кремлевские колокола, от мощного звука которых порою снег осыпается с крыш. Давно отзвеневшая, эта музыка знаменитых «сорока сороков» настолько явственно возникает в представлении читателя, что звон ее раздается как будто бы уже по обе стороны — и в нашем современном мире, и среди тех художественно-исторических картин, что встают со страниц «Верховников».

При всей проторенности начального хода — в первой главе герой из простонародья въезжает в захваченную бурной святочной чехардой и политическими хитросплетениями Москву — и некоторой искусственности использованных в дальнейшем для оживления действия приемов

плутовского романа, когда в прихотливый ход достоверных событий вставляются похождения бывшего петровского матроса, промышляющего теперь ремеслом лицедея,— С. Десятскову сразу же удается привлечь внимание, заставить поверить в правдивость воссоздаваемого им прошлого. Вызвав сочувствие и ответное доверие, авторское изложение «втягивает» воображение воспринимающего, которое словно песчинка сквозь воронку песочных часов попадает в иной вымышленный мир, вдруг представляющийся не менее насущным, чем подлинный. К достоинствам книги нужно отнести еще и яркость обрисовки множества выведенных лиц, показанных на достаточно сжатом словесном пространстве (около десяти печатных листов), удачное соединение уважения к законам словесности с уважением к читательскому времени, обоюдно не допускающим перегрузки, растягивания повествования на бесконечные пухлые тома.

Занавес истории приподымается писателем в один из напряженнейших ее часов. Верховный тайный совет, осуществлявший на деле управление Российской империей после Петра I при его супруге Екатерине I и внуке Петре II,— из-за неожиданной смерти последнего, пресекшей наследство дома Романовых по мужской линии, наконец оказывается у власти один. Теперь «верховники» сами выбирают, кого пригласить на опустевшее место главы государства. И вот, когда после долгих споров им удается как будто сойтись на личности второй дочери старшего брата Петра Великого Ивана V — Анны Иоанновны, вдохновитель этого решения князь Дмитрий Михайлович Голицын вдруг в заключение заявляет, словно вопрос о престолонаследии вовсе не служит самым важным: «Выберем, воля ваша, кого изволите, только надобно себе полегчить». На недоуменный вопрос — как же именно?— Голицын дает разъяснение: «Так полегчить, чтобы воли себе прибавить». Он предлагает послать на подпись к новой монархине обязательные для нее п у н к т ы — те сделавшиеся впоследствии знаменитыми «кондиции», сутью которых было упразднение единоличной власти императора, становившегося во всех важных действиях подотчетным Совету, полномочному в случае невыполнения условий даже лишить его короны. И хотя разного рода требования предъявлялись царям при избрании на московский престол и прежде — при Василии Шуйском, королевиче Владиславе, Михаиле Феодоровиче,— только теперь внятно высказано было утверждение: «Самодержавию

в России не быть!» В случае удачи предприятия государственное устройство, а с ним и дальнейшая жизнь страны могли весьма существенно измениться,— эти-то судьбоносные месяцы и стали полем, на котором разыгрывается драма «верховников».

Предположения о том, что случилось бы, пойди история в какое-то из перекрестных мгновений другою дорогой, никогда, по-видимому, не перестанут волновать умы любомудров, писателей, ученых, да и вообще всех тех, кому небезразличны судьбы Отечества. По известному образному выражению, грядущие события отбрасывают тень далеко впереди себя, и иногда трудно отделаться от впечатления, что действа, подобные произошедшему в 1730 году, являются как бы прологом многих будущих, произошедших в гораздо более близкие нам эпохи.

Впрочем, С. Десятсков открыто столь далеко идущих выводов не делает, и нам представляется справедливым отнести это именно к достоинствам его работы. Метод писателя при встрече возможностей и противоречий своеобразен: он показывает главных героев изображаемого им времени с разных сторон, как бы обходя их вокруг, отчего они приобретают искомую многогранность. Это схоже с тем, как Владимир Даль в своем словаре вместо длинного пояснения предпочитал выставить ряд близких по значению слов, каждое из которых освещало одну какую-то грань требовавшего определения понятия, и оно словно бы на глазах получало плоть и объем.

...Съехавшееся на предполагавшуюся свадьбу Петра II русское дворянство волею жребия оказалось захвачено совсем иными заботами. По подсчетам исследователей, в Москве тогда собралось большинство лиц, носивших по петровской табели о рангах не только генеральские (1—4 класса), но и штаб- и обер-офицерские чины,— то есть положение неожиданно напомнило былые земские соборы. В дополнение к уже подписанным поневоле Анною Иоанновной «кондициям» «верховники» пригласили «шляхетство» подавать на рассмотрение Совета свои прожекты будущего устройства империи,— и вот в городе закипели разного рода кружки и ассамблеи. По словам одного из выдающихся деятелей той поры Феофана Прокоповича, на наш взгляд, довольно внятно сумевшего переложить иноземные политические имена на русский язык, в «смуте и безурядице» перед умами открывались три основных пути: «народное владетельство» (республика)— причем в понятие «общенародья» включались горо-

жане, но не входили крепостные, попечение о которых на правах главы большого семейства должны были иметь владевшие ими помещики; «власть избранных» (аристократия) — и «насильство и тиранство, сиречь олигархия», как, будучи противником Верховного тайного совета, называл план «осьмоличных затейников» новгородский архиепископ.

В первое издание романа вкралась счастливая опечатка: вместо «осьмеричных» «верховники» названы были «осьмиречными»,— что удачно передает постоянно происходившие среди них разногласия. Но коль скоро речь коснулась до неточностей и Прокоповича, приходится заметить, что на долю сего петровского сподвижника их досталось, как кажется, более всего. Смещен порядок перемены им личных имен (которых Прокопович перепробовал за свою жизнь ни много ни мало — четыре); неверно назван он «первосвященником»— это полагалось, исторически, лишь главе Синедриона в Иудее или, во времена Феофана, одному лишь Христу «по чину Мелхиседекову». Под пером С. Десятскова Феофан вдруг величает себя «тоже перекрещенцем, как Иосиф Флавий»,— что для перешедшего из иудаизма в язычество еврейского писателя вряд ли подходяще; неприлично и архиепископу, как заставляет его делать автор на следующей же странице, почитать себя «крестным отцом» скомороха. Даже ладан на службе Феофана в Успенском соборе обретает в романе никак не подобающий ему «кисло-сладкий»(!) запах. Такого рода оплошности в той области, к которой весьма ревниво относились наши предки, едва ли можно приветствовать в историческом повествовании.

Вернемся, однако, к «затейщику» всей смуты Д. М. Голицыну, чья во многом загадочная личность постепенно вырастает в главного героя «верховников». Происходивший из одной из самых родовитых боярских семей, князь Дмитрий еще в молодости отправлен был для обучения в Италию, после чего успел побывать и дипломатом в Константинополе, и киевским губернатором, и, наконец, президентом петровской камер-коллегии. Сделавшись влиятельным верховником уже после смерти Петра I, он способствовал возвращению двора из Петербурга в Москву, освобождению всех сословий от тягостных последствий крутых преобразований деятельного императора и, в довершение всего этого «увольнения», как образно называет его С. Десятсков, увлекшись, решил и вовсе уволить Россию от самодержавия.

Пока новая государыня Анна Иоанновна добиралась из далекой Курляндии в Москву, политические страсти в городе продолжали накаляться, и положение Совета менялось день ото дня. Среди горячо принявшегося за обсуждение проектов реформ шляхетства постепенно выделились две партии: «конституционалисты», на челе которых были князь А. М. Черкасский, историк В. Н. Татищев, князь А. Кантемир и многие другие европейски образованные люди,— и сторонники восстановления самодержавия. Но различие во взглядах не помешало им уже вскоре найти взаимное понимание,— и тем, и другим главной опасностью виделось усиление до крайних пределов власти родовитых временщиков: перед глазами стоял пример обессиленных, разоренных аристократическим произволом Польши, Германии и некоторых других соседних стран; постоянно приводили они себе на память и события столетней давности — доведшую страну в Смутное время до государственного крушения «семибоярщины».

И дворянство сделало окончательный выбор в пользу твердого монархического правления, создав тем самым такое странное на первый взгляд положение, когда, как пишет С. Десятсков, «самые просвещенные люди стоят за самодержавие, а самые знатные отстаивают конституцию». На стороне прибывшей в столицу Анны Иоанновны сплотились гвардия, шляхетство и генералитет, подавшие проект с просьбою отменить «кондиции», которые тут же были императрицей принародно изодраны,— и единодержавие по воле большинства восстановлено.

Спустя несколько времени большая часть «верховников» подверглась опале. Некоторых из них казнили; князь Дмитрий Голицын скончался в заключении в Шлиссельбургской крепости, «еще не раз яд злобы своей на российские порядки изблевав, прежде чем помре». А в самый день упразднения кондиций над Москвою таинственным знамением разлилось редкое в наших широтах северное сияние, о символическом значении которого гадали тогда совершенно по-разному,— да и продолжают гадать до сих пор.

...Книга читается легко и проглатывается чуть ли не в один присест, что составляет еще одно достоинство емкого изложения, выигрывающего в цельности художественного воздействия. Но и после того как перевернута последняя страница, разбуженная мысль продолжает ставить перед собою вопросы. Главный из них состоит в том, чем же все-таки была затея с «пунктами»— попыт-

кой сломить средневековую косность и продолжить петровские преобразования, смягчив только деспотический способ проведения их в жизнь? Или последним отчаянным заговором бояр с целью прибрать к рукам государство и растворить единство власти, хотя бы это и грозило привести к полному распаду под ударами внешних и внутренних врагов; реформы же начала XVIII века, как считали многие исследователи — например, Н. И. Костомаров, писавший, что «во многих отношениях царствование Анны Иоанновны может называться продолжением славного царствования ее великого дяди»,— развивали именно его преемники на троне?.. Заслуга С. Десятскова состоит в том, что он снова поставил этот острый историософский вопрос, не менее, кажется, насущный, чем постоянно воскресающие споры вокруг деятельности Иоанна Грозного или того же Петра Великого, которым удается задеть за живое, пожалуй, всех своих соотечественников.

Нужно, однако, заметить, что иногда С. Десятсков нарушает законы повествования, слишком резко проявляя собственные склонности или неприязнь к историческим деятелям,— и тогда уже сама художественная ткань разрушается. Вот какою, к примеру, представлена в романе императрица Анна Иоанновна: у нее «отвратительное, рыхлое», «напудренное и обрюзглое лицо, казавшееся вылепленным из жирного теста»; «все как-то вываливается: и грудь, и третий подбородок, и толстые губы-нашлепки»; руки «мясистые, свекольного оттенка»; простым голосом она не говорит, а лишь «кричит ночью басом» или «выдавливает хриплым горловым тоном» и в первое же свое утро появляется перед нами со страниц книги «босая, нечесаная, неумытая», поглощающая с тоской одну за другой конфеты из «лакомника». Такое безжалостное издевательство над поневоле безответным человеком вызывает отклик, обратный желаемому: читатель не может не проникнуться сочувствием к загнанному автором в угол и обижаемому безо всякого удержу — пусть даже в чем-то и заслуженно — «отрицательному» герою.

Чересчур пристрастное отношение к отдельным сторонам прошлого может привести и к неоправданному обеднению создаваемого образа. Так, один из главных теоретиков дворянской партии историк В. Н. Татищев представлен в «верховниках» поверхностным вольнодумцем на основании анекдота о том, что в разговоре с Петром I он как-то в юности позволил себе усомниться в истинно-

сти некоторых мест Библии; причем случай этот пересказан в таком духе, будто бы Петр чуть ли не склонился на доводы молодого человека. Между тем, если обратиться к исходной записи происшествия, то выясняется картина совершенно иная: когда заразившийся во время обучения за границей буйным рационализмом Татищев принялся было развязно болтать, подсмеиваясь над нравственными ценностями и российскими порядками, Петр, вызвав его для беседы, прикрикнул: «Как же ты осмеливаешься ослаблять такую струну, которая составляет гармонию всего тона?! Я тебя научу, как должно почитать оную и не разрывать цепи, все в устройстве содержащей!» И, огрев знаменитой своей дубиной, прибавил: «Не соблазняй верующих честных душ, не на тот конец старался я тебя выучить, чтобы ты был врагом общества...»

Куда уместнее было бы взамен свидетельства безусой юности привести хотя бы отрывок из знаменитой «Духовной»— не так давно, кстати, вместе с другими материалами по событиям 1730 года переизданной в «Избранном» историка. Из этого во многом итогового для Татищева документа, написанного вскоре после истории с «верховниками», перед читателем встает образ государственного мужа с глубоким внутренним миром, прекрасно владеющего всеми духовными богатствами, накопленными отечественной культурой за прошедшие со времен князя Владимира Святого века,— а не легкомысленный фертик-«афей», только что заявившийся из Европы.

Но все же предпринятая попытка равноправного показа вместе положительных и темных сторон действующих лиц, поворачивая их перед нами то одним, то другим боком, чрезвычайно увлекательна. Иногда, правда, успех достигается тут помимо воли писателя, которому не удается собрать из перечисленных противоречий единый живой образ, и тогда читатель, проявляя сочувствие, сам берется «достраивать» его, выбрав кажущееся наиболее сильным качество. Упущение романиста прибавляет авторских прав нам, и мы теперь поспешим воспользоваться предложенным способом «повышенного уровня сотрудничества», повернув происшествия той их гранью, что представляется ближайшей к разгадке. Для этого вглядимся пристальней в самые первые строчки книги: помните, там невыспавшийся безымянный человек начинает праздничный звон, расходящийся от него по городу, пока его в конце не подхватывают, «сладострастно застонав», большие кремлевские колокола? А вот свидетельства другого рода.

«В большие праздники на Ивановской площади Кремля собирались толпы людей, ожидавших первого удара большого колокола с колокольни Ивана Великого: по его сигналу начинали трезвон колокола всех московских церквей... Этот большой колокол, в отличие от остальных, издавал не звон, а своеобразный мощный, но глуховатый гул»,— пишет маститый историк Москвы П. В. Сытин. «Самый низкий звук, который я в жизни встречал,— у большого колокола на Иване Великом в Кремле, гул которого на октаву ниже его основного тона; это по темперации ре-бемоль субконтроктавы, звучащий ниже регистра рояля»,— вторит ему виртуозный композитор-звонарь К. К. Сараджев. Неточность в зачине оказывается прообразовательной: пользуясь ей как ключом, можно сказать, что роман С. Десятскова запечатлел историю о том, как на место Великого Ивана, из самого сердца Руси — Кремля,— подававшего настрой всякому звуку в государстве (недаром, наверное, имя Иван чаще других — шесть раз — принималось великими князьями, а потом и царями),— попытался влезть «любитель из Замоскворечья».

Еще в конце XIX века историк Д. А. Корсаков в своем «Воцарении Анны Иоанновны» с документами в руках показал, что в основе голицынских «пунктов» лежали не какие-то своеобразно выраженные русские мысли, а недвусмысленно заимствованные шведские «формы правления» 1720 года. Кстати, С. Десятсков отчего-то замечает, что текст «кондиций» будто бы опасались печатать вплоть до 1905 года; между тем он не только подвергался в прошлом столетии широкому обсуждению, но и неоднократно воспроизводился, а в книге П. Н. Милюкова «Из истории русской интеллигенции», также вышедшей до 1905 года, приложен даже снимок разорванного подлинника. Будущего вождя конституционно-демократической «партии народной свободы» вопрос о кондициях, как видно, занимал еще в пору его академической деятельности,— он посвятил ему особое, несколько раз переиздававшееся исследование, в котором весьма живо, мы бы сказали, соблазнительно, представляет движение 1730 года как первую попытку ввести в России нечто вроде столь близкого его сердцу Учредительного собрания. (Любопытно, что и у С. Десятскова в описании прочтения дворянского проекта князем Черкасским при достоверном «собрании» вдруг вырывается отсутствующее в исходном тексте прилагательное «учредительное».)

Милюков же первым привлек внимание ко крайне показательной для всей эпопеи «верховников» фигуре — гамбургскому уроженцу Фику. Недаром не только имя его, явно насмешливо звучащее для русского уха, но и судьба удивительным образом оказались прообразовательными для будущего политического пути самого Павла Николаевича.

В свое время Петр I посылал Фика в Швецию для ознакомления с устройством ее государственного механизма; оттуда тот вернулся горячим поклонником увиденного, но шведская система даже Петру показалась неподходящей. Несколько лет после этого Фик являлся непосредственным подчиненным Д. Голицына и вошел с ним в отношения настолько приятельские, что они, по-видимому, не раз вместе обсуждали планы перемен правления в империи. По смерти Петра I Фик в 1726 году с помощью Голицына сделался вице-президентом коммерц-коллегии и сразу же после появления «кондиций» в Петербурге читал их своим сослуживцам вслух прямо на заседании, похваляясь при том, что «сам дал к ним повод», и прибавляя: «Ныне Россия стала сестрица Швеции и Польше». Вслед за тем он направился осуществлять свои проекты в Москву, спеша как на пожар,— но там чересчур разлетевшийся реформатор вместо простора для интриг застал уже восстановленную твердую власть. Он попытался сунуться к ней на поклонение, однако на прием его не допустили; вскоре Фик был совсем отставлен от должности и отправлен в ссылку.

Сочувствие к шведскому опыту ограничения единовластия Голицын прививал и Татищеву, по свидетельству очевидцев, пытавшемуся в наиболее напряженное время «за любые деньги» достать текст «форм правления». А сам князь Дмитрий, по сообщению датского посланника Вестфалена, в разгар смуты прямо спросил у него, ожидая встретить в иноземце близкого по убеждениям человека: какую из государственных реформ считает он лучше подходящей к России — шведскую или английскую? Но Вестфален отказался проявлять единодушие с затеявшим переворот боярином, заявив, что, по его мнению, шведская система — самая тщедушная, да и английская здесь вряд ли приложима.

На выступление Милюкова в свое время откликнулся А. С. Алексеев, который прямо указал на неверное использование им документов: к тексту «кондиций» будущий министр Временного правительства механически при-

соединял под видом «проекта князя Голицына» разноречивые слухи, сообщавшиеся своим правителям иностранными послами в Москве и никакого отношения лично к Голицыну по большей части не имевшие (подобную же подмену при изложении «пунктов» совершает у С. Десятскова Остерман),— отчего откровенно олигархические намерения покрывались изрядною дымкой «либерализма». Такая подтасовка имела своей целью заменить природный русский характер требований к власти, выражавшийся замечательным словом «соборность»,— на полностью противоположный ей, лишенный духовной основы «парламентаризм», который наши предки, верно производя от французского глагола «говорить», уничижительно-точно называли «говорильнею».

Подводя итоги, нам кажется справедливым согласиться именно с теми исследователями, кто, подобно А. С. Алексееву, после тщательного изучения содержания «кондиций» пришел к выводу: смыслом их было боярское самовластие, и суть дела состояла не в деятельности Верховного тайного совета как такового, а в происках попеременно правивших им «сильных персон»— таких, как Меншиков, Долгорукие и тот же князь Дмитрий Голицын. Последний уже, «забрав паче меры ума», готовил России судьбу столь же, если не более тяжкую, какая в конце концов постигла превратившуюся в игрушку магнатов Польшу, разделенную в XVIII веке между соседями.

Остается сказать несколько слов о тех отрицательных чертах царствования Анны Иоанновны, которые не раз упоминаются на страницах книги С. Десятскова. Хотя они по обычаю носят печально известное имя «бироновщины», историческая наука давно отказалась от упрощенного подхода к ним, когда все пороки списываются на одного курляндского герцога или вообще немецкую общину, подлинное значение коих чрезвычайно преувеличивалось в прошлом. Не раз говорилось и о недопустимости обыкновения валить все грехи на иноземцев, по сути своей оскорбительного для всякого народа, который почитается тогда стоящим на столь низкой ступени развития, что достаточно нескольких ловких проходимцев, чтобы тиранить и дурачить его на протяжении десятилетий.

Разумеется, по сути своей дело обстояло гораздо сложнее; здесь можно только наметить пути к решению этого вопроса. Немцев — как собирательно именовали издавна на Руси всех вообще иностранцев за «немоту» в нашем языке — усиленно зазывал не один Петр I; нема-

ло их было приглашено и до, и после него. Есть достаточное число примеров их добросовестной службы на благо России,— скажем, фельдмаршал Миних как раз в правление Анны Иоанновны принес русскому оружию европейскую славу. Темные же и жестокие события, происшедшие в это царствование, в большой степени обязаны своим появлением палаческой деятельности ярко обрисованного С. Десятсковым главы Тайной канцелярии (политического сыска) Андрея Ивановича Ушакова,— не зря ведь Татищев, повторяя свой проект государственного переустройства уже в условиях крепко установившейся самодержавной власти, все равно включил в него отдельное требование помесячного присутствия в Тайной двух выборных человек, «чтоб смотрели на справедливость».

Много бед принесли и люди, подобные не единожды помянутому выше Феофану Прокоповичу, который, как пишет Н. И. Костомаров, «из мирного ученого времен Петра стал после его кончины ужасным тираном, не разбиравшим никаких средств, бессердечным эгоистом, безжалостным мучителем, который тешился страданиями своих жертв даже и тогда, когда они переставали быть для него опасными» (нужно добавить только, что уже и при Петре, начавши проводить в своем ведомстве реформу протестантского пошиба, Феофан показал себя вполне безнравственным деятелем). В книге С. Десятскова он характеризуется одной выразительною чертой: в спальне его на соблазн православным вместо иконы повешена была картина с «нагой девкой Данаей и черной служанкой, деньги в подол принимающей»,— что для искушенных в символическом языке религии русских людей XVII столетия было подменой весьма значащей. Известный исторический анекдот рассказывает, что прокраснобайствовавший всю жизнь Прокопович и на смертном одре не удержался, сам вынес себе последний приговор, воскликнув: «О, главо, главо! разума упившись, камо ся приклониши?..»

В том мире понятий, с помощью которого выражали свои духовные ценности люди этого времени, для подобного рода временщиков и оборотней находились вполне точные выражения. Отразились они и на образном строе «верховников». Например, Феофан недвусмысленно назван однажды «поп-колдун», а Голицын, тень которого прыгает перед Татищевым «чертиком», кажется самому историку похожим на одного из плотных, костистых разбойников, распятых по сторонам Иисуса. Вопрос состоит в том,— продолжая пользоваться тем же образным рядом,— каким

из разбойников представлялся современникам Д. М. Голицын: благоразумным или же проклятым?

Разгадка незаметно вплетена в ткань книги, но и она требует от читателя самостоятельного усилия, тем большего, что автор как будто бы ее не предлагает, иногда даже наружно отдавая свое сочувствие предприятию князя Дмитрия. Но вот на предпоследней странице он оговаривается: единственными, кого не покарали по делу о «верховниках», оказались вольнодумные книги из родового имения Голицыных Архангельского. Ранее в их числе назван был «Государь», труд «преславного итальянца Маккиавелли»— того самого, который пустил в оборот злодейский призыв «цель оправдывает средства». Теперь первой называется книжка, трактующая о Бруте, знаменитом древнеримском предателе, который в Дантовой «Комедии» помещен внизу последнего круга преисподней торчащим в пасти самого Сатаны головою вперед. А вот что сказал на своем суде князь Голицын, пытаясь оправдать использованные им средства: «Если б Сатана из ада говорил мне что-нибудь полезное, я бы и его послушал!»

...Стремительно промелькнула перед нами драма «верховников», поломавшая, переменившая и вознесшая многие судьбы. Итог ей подвел впоследствии один из главных участников событий, первый русский ученый-историк Василий Никитич Татищев: «Великие и от соседей небезопасные страны без самовластного государя быть в целости и сохранности не могут, что мы из разных прикладов наглядно видим... Да наилучше посмотреть на бытность нашего государства».

1981; 1988





ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПОЭТЕССА



Прочтя заголовок, почти каждый захочет в первую голову узнать ее имя, захочет — следовательно, сам его не ведая; между тем оно не представляет из себя тайны более двух веков...

Образованные, пишущие женщины известны на Руси около тысячи лет, они появились уже вскоре после Крещения[1]. Жившей в первой половине XVII песельнице Марусе Чурай молва приписывала сочинение двух доныне бытующих малороссийских песен — «Виют витры, виют буйны» и «Ой, не ходы, Грицю, тай на вечорныцю» [2]. Не так давно было высказано любопытное предположение, что во времена Петра I жила неизвестная поэтесса, оставившая более двух десятков лирических стихотворений[3]. А к 1889 году составитель «Библиографического словаря русских писательниц» князь Н. Н. Голицын собрал и напечатал известия уже о 1286 «авторах» прекрасного пола.

Но все-таки первой поэтессой, которую мы знаем по имени, остается одна — императрица Елизавета Петровна. Именно от нее, подчеркивает исследователь, дошли до нас достоверно «первые литературные произведения, свидетельствующие об участии русской женщины в развитии литературы» [4].

Творческое вдохновение у дочери Петра Великого было как будто написано на роду. По образному выражению историка, «императрица Елизавета Петровна родилась близ Москвы в селе Коломенском 18 декабря 1709 г. под веселые звуки музыки во время триумфального шествия, которым праздновалось в Москве в этот день возвращение царя после Полтавской победы» [5]. Годы своей юности, пришедшиеся на царствование Анны Иоан-

новны, Елизавета Петровна провела в пригородном московском селе Покровское и собственной подмосковной вотчине — известной Александровой слободе. В эту пору, по словам составителя одного из ее жизнеописаний, «любимым развлечением Елизаветы было собирать сельских девушек, заставлять их петь песни, водить хороводы, причем царевна сама нередко принимала в них живое участие. Говорят, что даже одна из народных песен была сложена самой Елизаветой. Песня эта начиналась так: «Во селе — селе Покровском...» [6].

Приведем слова ее полностью так, как она воспроизведена в девятом выпуске знаменитого собрания П. В. Киреевского[7]:

Во селе — селе Покровском
Среди улицы большой
Разыгралась-расплясалась
Красна девица душа,
Красна девица душа —
Авдотьюшка хороша.

Разыгравшись, взговорила:
«Вы, подруженьки мои!
Поиграемте со мною,
Поиграемте теперь:
Я со радости — с веселья
Поиграть с вами хочу.

Приезжал ко мне детина
Из Санктпитера сюда.
Он меня, красну девицу,
Подговаривал с собой,
Серебром меня дарил,
Он и золото сулил:

«Поезжай со мной, Дуняша,
Поезжай,— он говорил.—
Подарю тебя парчою
И на шею жемчугом;
Ты в деревне здесь крестьянка,
А там будешь госпожа:
И во всем этом уборе
Будешь вдвое пригожа!»

Я сказала, что поеду,
Да опомнилась опять:
«Нет, сударик, не поеду,—
Говорила я ему.—
Я крестьянкою родилась,
Так нельзя быть госпожой:

Я в деревне жить привыкла,
А там надо привыкать!

Я советую тебе
Иметь равную себе,
В вашем городе обычай —
Я слыхала ото всех:
Вы всех любите словами,
А на сердце никого.
А у нас-то ведь в деревне
Здесь прямая простота.
Словом мы кого полюбим —
Тот и в сердце век у нас!»

Вот чему я веселюся,
Чему радуюсь теперь:
Что осталась жить в деревне,
А в обман не отдалась!

В примечаниях к песенному собранию П. В. Киреевского Бессонов попытался нащупать связь между бесхитростным содержанием этого сочинения и неудавшимся сватовством немецкого принца Людовика к самой Елизавете Петровне; однако составитель обширного двухтомника «Русской поэзии» С. А. Венгеров вполне убедительно показал, что подобное сопоставление представляет собою грубую натяжку[8].

Общий голос, пишет он далее, приписывал эту песню Елизавете уже с 1770-х годов; в 1790-е она сделалась особенно широко известной в народе благодаря исполнению певицей (и также отчасти поэтессой) Елизаветой Семеновной Сандуновой. А с 1820-х в песенниках рукописных и печатных помещалось прямое указание, что «Во селе — селе Покровском» есть «сочинение знаменитой Россиянки, воспетой Ломоносовым».

Второе стихотворное произведение царевны Елизаветы имеет собственную драматическую историю. Текст его сохранился в подлиннике, написанном рукою сочинительницы, который еще в 1870 году был передан в Императорскую (ныне Публичную) библиотеку[9]. Посвящено же оно горькой разлуке с первой любовью будущей императрицы — Алексеем Яковлевичем Шубиным.

Молодой прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка происходил из бедных дворян Владимирской губернии; вотчина его сельцо Курганиха, соседняя с принадлежавшей Елизавете Александровой слободою, и была наиболее вероятным местом их знакомства[10]. Как гласит предание, влюбленная цесаревна предполагала даже сочетаться со

своим избранником тайным браком[11],— но по распоряжению Анны Иоанновны несчастный любовник был подвергнут заточению в Ревеле, а затем выслан на Камчатку и насильно обвенчан там с камчадалкой. Ссылка эта продолжалась почти десять лет.

Вступив на престол в 1741 году, Елизавета Петровна уже на четвертый день вспомнила об изгнаннике и послала на его розыски подпоручика Алексея Булгакова, однако поиски оказались весьма долги и лишь спустя почти два года, летом 1743-го, Шубин был доставлен в Петербург[12]. За «невинное претерпение» он из гвардейских прапорщиков произведен был прямо в генерал-майоры, награжден орденом Александра Невского и поместьями в Ярославском и Нижегородском уездах. Пережитые годы превратили бойкого молодого повесу в глубоко верующего человека, далекого от столичной суеты,— и уже на следующий год он попросил увольнения от службы, а получив его вместе с чином генерал-поручика, удалился в свое село Работки на правом берегу Волги близ Нижнего Новгорода, где и скончался мирно почти четверть века спустя, в 1766 году[13]. На прощание императрица подарила ему драгоценный образ Нерукотворенного Спаса, хранившийся затем в здешней Спасской церкви вместе с преданиями о любви Шубина и Елизаветы вплоть до начала нынешнего века[14].

Вещественным же свидетельством этой трагической истории остались написанные цесаревной стихи, ходившие до поры только в списках. Вот, например, как осторожно упоминает о них, приводя лишь вторую строфу в своем «Словаре достопамятных людей Русской земли», Д. Н. Бантыш—Каменский в первой половине XIX столетия: «Я видел в Москве, у Павла Федоровича Карабанова, песню, сочиненную и писанную девицею, которая страстно любила Шубина. Слог устарел, но песня дышит огненным чувством»[15]. Впервые она появилась полностью в печатном «Отчете» Императорской публичной библиотеки за 1870 год:

Всякий рассуждает, как в свете б жить,
А недоумевает, как с роком бы быть:
Что така тоска и жизнь не мила,
Когда друг не зрится, лучше б жизнь лишиться
Вся-то красота.

Я не в своей мочи огнь утушить,
Сердцем я болею, да чем пособить,

Что всегда разлучно и без тебе скучно,
Легче б тя не знати, нежель так страдати
Всегда по тебе.

О нещастие злое, долго ль мя мучить,
О чем я страдаю, то не даешь зрить;
Или я тебе отдаина,
Что мене мучити — тем ся веселити
И жизни лишити.

Куда красные дни тогда бывали,
Когда мои очи тя видали,
Ах! не была в скуке и ни в какой муке,
Как цвет процветали.

(При переводе автографа на современное правописание мы постарались сколько возможно сохранить подлинную орфографию, когда она передает фонетические особенности и смысловые оттенки, утрата которых нежелательна.)

Третье стихотворное произведение Елизаветы Петровны — «галантная пастораль» «Чистый источник...»— появилось впервые без упоминания имени сочинительницы в «придворном» песеннике Шнора в 1791 году; четверть века спустя его в исправленном виде поместил в «Чтении в Беседе любителей русского слова» Гавриил Державин. Знаменательно, что именно это стихотворение завершает всю изданную при жизни великого поэта часть его обширного трактата «Рассуждение о лирической поэзии или об оде» (глава «О песне»).

«Царствование императрицы Елисаветы,— пишет «певец Фелицы»,— век был песен. Она сама благоволила снисходить на сию забаву. Для показания тогдашнего вкуса прилагаю ниже сего песню, сколько по преданию известно, сочиненную собственною ее особою...

Чистый источник! всех цветов красивей,
Всех приятней мне лугов,
Ты и рощ всех, ах! и меня счастливей,
Гор, долинок и кустов;
Но не тем, что лишь струйки тихо льются
По сыпучему песку,
И что птичек вслух песни раздаются
По зеленому леску.
Нет, не тем; но прекрасно умывала
Нимфа что лицо тобой,
С брегу белыя ноги опускала
И ток украшала твой.
Тут и алые розы устыдились,
Зря ланиты и уста,

И лилеи к ней на грудь преклонились,
Что белей их красота.
О, коль счастливы желтые песчинки,
Троиуты ее стопой!
О, коль приятны легкие травинки,
Смятые ее красой!
Тише ж ныие, тише протекайте,
Чисты струйки по песку,
И следов с моих глаз вы не смывайте,—
Смойте лишь мою тоску»[16].

Пастораль была также переиздана в 9-м выпуске песенного собрания П. В. Киреевского; С. А. Венгеров замечал о верности приписания авторства императрице, что хотя принадлежность эта «устанавливается только преданием, но настолько всеобщим, что достоверность предания едва ли может быть подвергнута сомнению».

Наконец, последнее известное (и второе из сохранившихся в собственноручном подлиннике стихотворений Елизаветы Петровны) — начало акростиха, впервые напечатанное в первом томе «Архива князя Воронцова»:

Сия удивлейна ныне учиилось,
А что любовь сама во глупость вселилась:
Мыслила тую болей в ум вселити,
А ан! стала тая еще глупее быти.
Ревность пресильиа в ией пребывает
И сама ие зиает, кто ее умерщвляет;
На то уповает, что сама ие знает...

Акростих недописан: далее следуют еще пять строк, обозначенных только первыми буквами (так что все зашифрованное послание читается несколько загадочно: «Самарин собле...»). Он любопытен еще в том отношении, что три строки носят следы дальнейшей работы над текстом — приписанные сбоку на полях исправления.

...Таким образом, от первой русской поэтессы до нас дошли четыре произведения, не во всех отношениях удачных и выдающихся, но несомненно любопытных в историческом и филологическом отношениях. Почему же тогда вот уже более полувека они не появляются в антологиях и работах исследователей?

Сейчас, когда печать получила больше свободы, ответ на сей вопрос, наверное, внятен почти всем — как и то, что пора наконец избавиться от суеверного страха сказать доброе слово о том, что каким бы то ни было образом связано с понятием «царство». Нелюбовь к начальству как к таковому — не за его действительные грехи, а

«по определению»— страсть, на наш взгляд, столь же холуйская, как и любоначалие. Именно лакей, до земли склоняющийся перед лицом господина, наиболее ядовито перемывает ему косточки, сидя на кухне с прочей челядью; отношение же всякого достойно работающего человека к любого разбора трудящемуся на всех поприщах — от солдатского и до высочайшего — будет столь же беспристрастно, сколь и нелицеприятно.

Недаром сам Александр Пушкин спокойно и уверенно отвечал на низкие упреки в лести, если знал за собою правду в стихотворении «Друзьям»:

> Нет, я ие льстец, когда царю
> Хвалу свободную слагаю:
> Я смело чувства выражаю,
> Языком сердца говорю.

1988

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Л и х а ч е в Е. Материалы для истории жеиского образоваиия в России (1086—1796). Спб., 1890.

[2] Подробиее см.: Библиографический словарь русских писательииц. Сост. ки. Н. Н. Голицыи. Спб., 1889.

[3] П о з д и е е в А. В. Неизвестиая поэтесса Петровского времени.//Русская литература на рубеже двух эпох (XVII— иачала XVIII вв.). М., 1971. С. 277—307.

[4] В л а д и м и р о в П. В. Первые русские писательницы. XVIII в. Киев, 1892.

[5] Три века. М., 1913. Т. 4. С. 157.

[6] Д а л ь С. П. Императрица Елизавета Петровиа. М., 1894. С. 10.

[7] Песни, собраииые П. В. Киреевским. М., 1873. Ч. 3. Вып. 9.

[8] Русская поэзия, под ред. Венгерова С. А. Спб., 1897. Т. 1. С. 142—144.

[9] Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1870 г. Спб., 1875. С. 159—160.

[10] С т р о м и л о в Н. С. Цесаревиа Елизавета Петровна в Алексаидровой Слободе.//Чтеиия в Обществе истории и древностей Российских. 1874. Ки. 1. С. 22.

[11] М е л ь н и к о в—П е ч е р с к и й П. И. Собраиие соч.: в 8 т. М., 1976. Т. 8. С. 251—253.

[12] П е т р о в П. Н. А. Я. Ш у б и н.//Памятиики новой русской истории. Спб., 1871. Т. 1. С. 146—152.

[13] Русский библиографический словарь. Спб., 1911. Том «Шибанов—Штюц». С. 464.

[14] Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Под ред. В. П. Семенова. Спб., 1899. Т. 1. С. 388—389.

[15] Бантыш — Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. Спб., 1847. Ч. 3. С. 550. См. также: Семеновский М. И. Елизавета Петровна до восшествия своего на престол//Русское слово. 1859. № 2. С. 239.

[16] Сочинения Державина. Спб., 1872. Т. 7. С. 608—611.





ОПЫТЫ В ПРОЗЕ И ЖИЗНИ



онстантин Батюшков, сама фамилия которого звучит ласкательно и нежно, остался в истории отечественной словесности носителем данных ему Пушкиным званий— «счастливый ленивец», «певец забавы», «философ резвый», «мечтатель юный». Казалось бы, он есть сама олицетворенная молодость новой российской литературы, воспоминание о которой невольно вызывает улыбку...

Связь Батюшкова с Гоголем, запечатленная в их произведениях отраженно,— предмет почти что неисследованный, хотя она и служит, как представляется, естественным продолжением хорошо известного сочетания «Батюшков— Пушкин». В статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» Гоголь писал, что Батюшков «весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Всё прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслаждения. Он слышал, выражаясь его же выражением, стихов и мыслей сладострастье». И далее, сравнивая его с Жуковским, выстраивал следующее противопоставление: «Казалось, как бы какая-то внутренняя сила равновесия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркою, Парни и нежными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая

слышна у южных поэтов новой Европы»[1]. Вслед за этим Гоголь переходит к тому, как две противоположности, воплощенные в двоице «разнородных поэтов», соединились в «средине»— Пушкине.

С течением времени «солнечный» дар его как бы затмил собою былую славу Батюшкова. Однако совершенно справедливо звучат заключительные слова старого (но покуда единственного) жизнеописания Константина Николаевича, принадлежащего перу замечательного исследователя Л. Н. Майкова: «При блеске солнца меркнет бледная луна; но в Божьем мире всему есть свой час и свое место»[2]. Луна названа здесь как символ батюшковской жизни и сочинений совсем неоплошно: путешествие Астольфа в лунные пределы из «Неистового Роланда» было одним из любимейших мест нашего поэта в мировой литературе, а сама она— непременный житель поздних его рисунков.

Действительно, при всей «земной прелести» поэтических и прозаических созданий Батюшкова, в них явственно ощущается еще и некая «лунная» тайна, без которой эти произведения лишились бы во многом своей трагической, да и онтологической глубины. Подспудное «нечто» современники чувствовали и в самой внешности поэта: «Кроткая, миловидная наружность Батюшкова согласовалась с неподражаемым благозвучием его стихов, с приятностию его плавной и умной прозы. Он был моложав, часто застенчив, сладкоречив; в мягком голосе и в живой, но кроткой беседе его слышался как бы тихий отголосок внутреннего пения. Однако под приятною оболочкою таилась ретивая, пылкая душа, снедаемая честолюбием»[3].

Жизненная повесть признанного главы русской «легкой поэзии» незамысловата: отпрыск древнего, но небогатого вологодского дворянского рода, он, как и большинство его сверстников, стал участником наполеоновских войн; на гражданской службе состоял «помощником хранителя манускриптов Императорской Публичной библиотеки». Немного не дойдя середины земного пути, опреде-

[1] Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Л., 1952. Т. 8. С. 379—380.

[2] Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. Спб., 1896. С. 240.

[3] Стурдза А. С. Беседа любителей русского слова и Арзамас в царствование Александра 1//Москвитянин. 1851. № 21. Кн. 1. С. 15.

лился на дипломатическую службу в Италию, где в 33 года неожиданно замолк как писатель, год спустя лишился рассудка и пробыл на свете еще ровно столько же в сумеречном состоянии сознания, пережив почти всех своих современников и оплаканный ими заживо.

Иногда у него случались, впрочем, недолгие просветления ума, в одном из которых он заметил князю П. А. Вяземскому на вопрос о новых произведениях: «Что писать мне и что говорить о стихах моих. Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!» [1]

Иной извод тех же слов— запись Федора Глинки, услыхавшего их от А. Н. Верстовского: «Мне дали, поставили на голову, прелестную вазу с драгоценным напитком и велели нести. Но я разбил свой сосуд и не донес своей ноши до цели» [2].

Так «сорвался» — или сам «разбил»? Красивый сосуд, «чем-то» наполненный — либо «драгоценный напиток» в прелестной вазе? И наконец, что это было за таинственное содержимое — мыслимое ли дело узнать? Ведь и черепки прекрасной амфоры, некогда наполненной драгоценным миром, благоухают века...

Первый соблазн — разглядеть нечто в потемках душевной болезни; он тем сильнее, чем больше обычно стараются про нее умолчать. Между тем поиск истины не терпит «подчисток» в летописях прошлого, хотя он и вовсе не склонен отдаваться во власть темных начал. Не романтическое, а самое доподлинное и попросту страшное безумие как будто мертвящим кольцом окружает историю Батюшкова. Не случайно излюбленными произведениями его были поэма о безумном Роланде Ариосто и «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо, долгие годы проведшего в лечебнице для душевнобольных; да и третьего своего «сродственника» в литературе— Шатобриана наш поэт в пору недуга величал вместе «святым» и «сумасшедшим».- Безумием страдал его дядя по отцовской линии, Илья Андреевич, помешательство которого выразилось в речах об умысле свергнуть с престола Екатерину II и в итоге увело его к безвестной могиле в запо-

[1] Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Спб., 1883, Т. 8. С. 481.
[2] ЦГАЛИ, фонд 141, оп. 1, е. х. 53, л. 6 об.

лярной Мангазее. Когда Константин Николаевич был еще младенцем, лишилась рассудка и вскоре скончалась его мать, Александра Григорьевна Бердяева. В 1803 году тот же недуг поразил последнего из Кантемиров— самому славному представителю рода которых Батюшков посвятит последнее свое произведение в прозе. В 1810 году припадок безумия настигает чтимого им драматурга В. А. Озерова. В 1812-м помешательство случается с живописцем Сальватором Тончи, дававшим советы Батюшкову в отношении столь близкой нашему поэту итальянской словесности. В 1817-м происходит громкий скандал с оскорбившим жену П. А. Вяземского сумасшедшим поэтом С. М. Соковниным, вызывающий оживленное обсуждение между Батюшковым и ближайшим его другом. Дочь Петра Андреевича дает Константину Николаевичу прозвище «дурака»; сатирик А. Ф. Воейков помещает его в жители своего «Дома сумасшедших»,— а трагических угадок о своем будущем у самого поэта в произведениях и письмах можно счесть не одну дюжину.

Этот род несчастия не оставляет его судьбы и после того, как завладевает батюшковским рассудком. В 1829 году заболевает тем же расстройством и вскоре умирает опекающая его старшая сестра Александра. Затем племянник, сын другой сестры— Елизаветы, Петр Григорьевич Гревенс, автор печатной записки о последних днях знаменитого своего дяди, кончает с собою, застрелившись во время приступа душевного расстройства. Наконец, даже неродственный дому Батюшковых земляк его, бывший ученик местной гимназии Ф. П. Савинов, написавший стихи к 100-летнему юбилею Константина Николаевича— невдолге лишается рассудка и так же, как Батюшков, оканчивает свою жизнь в Вологде сумасшедшим[1].

Однако поиски «ключа» к Батюшкову, не отшатываясь суеверно от его душевной трагедии, отнюдь не должны замыкаться в ее тесном кругу. К счастью, врач его, Антон Дитрих, по происхождению немец, был также поэт[2]; он не только переводил с русского, в том числе и стихо-

[1] Памяти поэта-вологжанина К. Н. Батюшкова. Вологда, 1892. С. 6—7; Гура В. В. Русские писатели в Вологодской области. Вологда, 1951. С. 188.

[2] См. о нем: Алексеев М. П. Несколько новых данных о Пушкине и Батюшкове//Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. 1949. Т. 8. Вып. 4. С. 369—372.

творение своего подопечного «Мои пенаты», но и оставил замечательный дневник, а также «Записку о душевной болезни надворного советника и кавалера русского императорского двора Константина Батюшкова» [1]. В ней есть такие примечательные слова Константина Николаевича о своей жизни, сказанные А. Дитриху по-французски: «Это сказка о сказке одной сказки». Слова, которые он далее разъяснить уклонился и опыт толкования которых предлагается ниже.

Единственное собрание собственных произведений, в издании которого принимал участие сам Батюшков, недаром названо им «Опытами в стихах и прозе». Конечно, определенное воздействие при этом оказали «Опыты» чтимого им М. Монтеня (или, как поэт сам называл его, «Монтаня»). Но, как справедливо подчеркивает современная исследовательница батюшковского творчества И. М. Семенко, духовную «эволюцию Батюшкова можно в какой-то мере представить как путь от Монтеня к Паскалю». Кроме того, продолжает она, в ней есть «оттенок провиденциальности, и — в отличие от Жуковского— национальный пафос, убежденность в том, что не случай, а... провидение «устроило» испытания и торжество России. Война 1812 г. оказала на нравственно-философские... воззрения Батюшкова решающее воздействие. И это очень сказалось в прозе» [2].

«Парни российский»— по выражению молодого Пушкина— умер, трижды перекрестившись, и на теле его после кончины были найдены (хотя никто при жизни их не замечал) два креста: один старинный, другой же собственной его работы[3].

Проза Батюшкова не то чтобы бросает луч, а сама представляет некоторый просвет, своего рода окно, через которое можно заглянуть глубже в область причин, обусловивших столь непростой и далеко не краткий путь, совершенный батюшковской мыслью. Недаром сам он в «пьесе» «Петрарка» отмечал: «В прозе остаются одни мысли».

«Опыты» есть нечто рассеянное, не застывшее полностью, несвязанное. От латинского слова «несвязанный»

---

[1] Русск. перевод дневника: ОР ГПБ, фонд 50, оп. 1, е. х. 42; «Записки»: там же, е. х. 44.

[2] Семенко И. М. Батюшков и его «Опыты»//Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 469.

[3] ЦГАЛИ, фонд 63, оп. 1, е. х. 17, л. 5; ср. статью Гревенса П. Г.// Вологодские губернские ведомости. 1855. № 41.

происходит и наше «проза». Батюшков это хорошо знал— в письме Жуковскому от 27 сентября 1816 года он прямо отзывается о близком им обоим Вяземском: «Жизнь его проза. Он весь рассеяние».

Первою авторской книгой Батюшкова, вышедшей при его жизни, также стал прозаический том «Опытов». В письмах Гнедичу в сентябре того же 1816 года он говорит, что этот том прозы «будет интересен»; причем сам отмечает, что «том стихов»— «менее прозы». А если прибавить еще и более четырех сотен писем, то получится, что доля прозаических произведений в его творческом наследии прямо-таки львиная— хотя, конечно, и не подавляющая.

Каково ее значение в многоликой семье плодов его пера? Во-первых (а по достоинству точнее— во-вторых),— служебное. Записная книжка 1817 года содержит следующее рассуждение: «Для того, чтобы писать хорошо в стихах...— писать разнообразно, слогом сильным и приятным, с мыслями незаемными, с чувствами, надобно много писать прозою, но не для публики, а записывать просто для себя. Я часто испытывал на себе, что этот способ мне удавался: рано или поздно написанное в прозе пригодится».

В соответствии с таким взглядом, он стеснялся сперва даже ставить под ней свою подпись, сообщая в декабре 1815 года Жуковскому: «Имени под прозою не подписывай: довольно с меня грехов стихословных». В августе следующего года, обсуждая с Гнедичем состав будущих «Опытов», он отзывается о прозаических своих сочинениях несколько смелее: «Как ты думаешь? Собирать ли прозу? Как литература, она, кажется, довольно интересна и даст деньгу»; но в случае ответа отрицательного торопится наметить путь отступления: «Впрочем, я ее не уважаю». С такой же опаскою пишет 27 сентября 1816 года и Жуковскому: «Я разгулялся и в доказательство печатаю том прозы, низкой прозы; потом— стихи...»

Отношение к переводам было более сдержанное. Хотя один из них и вошел в «Опыты в прозе», а затем Батюшков предполагал даже издать двухтомник переводов из итальянской словесности, но не иначе, как за плату; представив план издания Гнедичу, сразу оговаривался в письме от 27 февраля 1817 года: «Ты думаешь, весело переводить длинные периоды Боккачио даром? Славы от этой прозы не будет».

Зато куда больше ценил письма. Еще выпуская в свет сочинения своего учителя М. Н. Муравьева, советовал до-

бавить к художественной прозе «несколько писем, неподражаемых памятников лучшего сердца и прекраснейшей души... Все это для людей истинно образованных» (Жуковскому, декабрь 1815 г.). И о своей переписке шутливо относился ко Гнедичу (кон. февр.— нач. марта 1817 г.): «Проза надоела, а стихи ей-ей огадили. Кончу «Тасса», уморю его и писать ничего не стану, кроме писем к друзьям: это мой настоящий род. Насилу догадался».

Но чем ближе подступал день «выдачи в свет» прозаического тома «Опытов», тем больше волнений подымалось в душе их сочинителя о том, что «во-первых»— подлинном художественном достоинстве этих произведений. В том же послании Гнедичу Батюшков изливает свои сетованья на судьбу и пени времени: «Недавно читал Монтаня у Японцев, то есть Головнина записки. Вот человек, вот проза! А мое, вижу сам, пустоцвет! Все завянет и скоро полиняет. Что делать! Если бы война не убила моего здоровья, то чувствую, что написал бы что-то получше. Но как писать? Здесь мушка на затылке, передо мной хина, впереди ломбард, сзади три войны с биваками! Какое время! Бедные таланты! Вырастешь умом, так воображение завянет».

Конечно, житейское море— не только помеха творчеству, но и его питательная среда: тот же поминаемый Батюшковым как образец капитан Головнин беспрестанно путешествовал, а приглянувшаяся Константину Николаевичу книга и вовсе повествовала о его долговременном пребывании в японском плену. Подлинную причину своих переживаний наш автор, никогда не робевший в «деле» на бранном поле и неожиданно павший духом перед бранчливой печатною братией, выдает в письме от июня 1817 года Жуковскому; впрочем, он и тут для отвода глаз сперва жалуется на посторонние невзгоды: «Что скажешь о моей прозе? С ужасом делаю этот вопрос. Зачем я вздумал это печатать. Чувствую, знаю, что много дряни; самые стихи, которые мне стоили столько, меня мучат. Но могло ли быть лучше? Какую жизнь я вел?.. Три войны, все на коне и в мире на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совесть отвечает: нет. Так зачем же печатать? Беда, конечно, не велика: побранят и забудут. Но эта мысль для меня убийственна, убийственна, ибо я люблю славу и желал бы заслужить ее, вырвать из рук фортуны, не великую славу, нет, а ту маленькую, которую доставляют нам и

безделки, когда они совершенны. Если Бог позволит предпринять другое издание, то я все переправлю; может быть, напишу что-нибудь новое...»

Заветное свое желание о томе прозы Батюшков высказывает 23 июня 1817 года в письме Вяземскому: «Скажи по совести, какова моя проза: можно ли читать ее? Если просвещенные люди скажут: это приятная книга, и слог красив, то я запрыгаю от радости. Сам знаю, что есть ошибки против языка, слабости, повторения и что-то ученическое и детское: знаю и уверен в этом, но знаю и то, что если меня немного окуражит одобрение знатоков, то я со временем сделаю лучше».

И вот оно сбылось! «Окуражил», то есть ободрил, одним из первых весьма высоко ценимый Константином Николаевичем И. И. Дмитриев. Чрезвычайно польщенный Батюшков спешит ответить ему благодарностью: «Я знал слабость моей прозы. Почти все было писано наскоро, на дороге, без книг, без руководства и почти в беспрестанных болезнях. Большая часть моей книги писана *для себя.* Я хотел учиться писать и в прозе заготовлял воспоминания или материалы для поэзии. Сам не знаю, как решился напечатать это. Теперь же, на досуге, перечитывая все снова, с горестью увидел все недостатки: повторения, небрежности и даже какое-то ребячество в некоторых пиесах. Посудите сами, как сердце мое уныло! В добавок к несчастию, множество ошибок и грехов типографских поразили мои отеческие взоры. И чужие, и мои собственные грехи, полагал я, вооружат на меня нашу *неблагосклонную* публику и всех «расставщиков кавык и строчных препинаний», которые, не имев великих талантов, не могут иметь и вашей снисходительности. Теперь я несколько спокойнее и по крайней мере себя не презираю» (письмо от 10 авг. 1817 г.).

Собираясь на следующий год в Италию, он называет прозу в числе четырех наиболее ценных для него в жизни вещей: в слове «Италия», пишет Батюшков 13 июня 1818 года А. И. Тургеневу, «заключается для меня многое: независимость, здоровье, стихи и проза», а вот «чин не украсит ни прозы моей, ни стихов».

На возвратном пути на родину отношение к своим сочинениям уже более сдержанное: оценивая самого себя в послании 14/26 августа 1821 года к Гнедичу, Батюшков признается, что как автор «в стихах, может быть, имеет одно достоинство— в выражении, в прозе— одно приличие слога и ясность: заслуга, в других землях ма-

ловажная и у нас самих не достойная похвал энтузиастических».

О том же, что главнее, он говорит в письме от 10 сентября 1918 года к А. И. Тургеневу: «Мы все любим себя, свои стихи и прозу; за то и нас не любят. Но я люблю вас, любя свои стихи: вот мое достоинство».

От батюшковских стихов прозаические его произведения заимствовали и стихотворность, и присущую им «легкость». В статье «Нечто о поэте и поэзии» он утверждает, что «страница живой, красноречивой прозы» есть «сокровище истинное». Образцами для себя здесь он называл «поэтическую» прозу Шатобриана, которой даже несколько опасался (письмо Гнедичу от авг. 1811 г.), и «стихотворную» прозу Карамзина (ему же, 19 сент. 1809 г.). У последнего наиболее ценным показались, однако, не сентиментальные повести, а знаменитая «История»; Батюшкову посчастливилось присутствовать при авторском чтении отдельных страниц ее, и 13 марта 1811 года он сообщает Гнедичу с восхищением: «Я недавно слышал чтение его истории и уверяю тебя, что такой чистой, плавной, сильной прозы никогда и нигде не слыхал». Что именно столь привлекло в этом итоговом творении писателя предшествующего поколения молодого «автора», верно угадал Л. Н. Майков: «Карамзину удалось привести в равновесие главные стихии нашего литературного языка— народную и церковно-славянскую— только в заключительном произведении своей литературной деятельности, в «Истории государства Российского»[1].

Над тою же задачей бился сам Батюшков; поиски разрешения ее сделались одним из основоположных направлений и его сочинительства, и всей жизни.

Константин Николаевич долгое время почитался изобретателем слова «славянофил»: в несколько ином написании— «славЕнофил»— оно приложено к адмиралу Шишкову в написанной в 1809 году шутливой пьеске «Видение на берегах Леты». Сейчас, правда, строгость этого утверждения оспаривается, и действительно; существуют более ранние примеры употребления этой этимологически уродливой помеси корней славянского с греческим, которая для одних сделалась исповеданием веры, а для других жупелом; как бы то ни было, звание Колумба ее он удержал хотя бы потому, что и того во времена о́ны выпередили ухватистые викинги. Тогда «музский народ»— пользуясь

[1] Майков Л. Н. Батюшков. С. 179.

другим его счастливым выражением— затеял спор, до того разгоревшийся, что угли и поныне вовсю пышут жаром. Покуда созванная на образец Государственного совета «Беседа любителей русского слова» торжественно, пусть и не всегда плодотворно, заседала в доме Державина,— случайно образовавшийся игривый «Арзамас» вышучивал ее как мог, упоенно занимаясь тем, что в современной культурологии называется «антиповедение». Забавы эти не знали еще той грани, за которою пересмешничество через глум перетекает в кощунство, и потому нам на расстоянии почти в два века нередко кажутся порою довольно-таки жутковатыми. Чего стоит один обычай вместо вступительной речи произносить «отходную» вполне живым литературным соперникам (в 1817 г. «отпел» в свой черед секретаря Российской Академии П. И. Соколова и новопринятый Батюшков; впрочем, справедливости ради следует отметить, что в ерничестве не особо жалели и друг друга— взять хотя бы ту проказу, когда Батюшков с Вяземским оставили у Жуковского в его отсутствие «маленький детский гробик, нарочно купленный в ближней гробовой лавке» [1]. Заигрывали порой и с вещами куда менее безобидными: так, принимая в «Арзамас» своего будущего старосту В. Л. Пушкина, его уверили, что сообщество это сродни масонской ложе, и даже нарочно изобрели на сей случай особый обряд; однако он, не долго думая, согласился, ибо на самом деле состоял в числе подлинных каменщиков— от «брата Пушкина» сохранилось даже несколько «братских песен» [2].

Словом, распря старого с новым была в самом разгаре— недаром же «беседчиков» противники часто величали «литературными староверами». Но в этом отношении давно пора, как нам представляется, сделать одну оговорку. Как однажды удачно заметил наш современник С. С. Аверинцев, выступая на вечере памяти П. А. Флоренского, часто в культуре наибольшая трудность состоит не в выборе между добром и злом— в конце концов верно сделать его может каждый. Значительно более сложная задача встает тогда, когда зло, будучи по природе своей двуруко, предлагает свой ложный выбор— не хочешь правой беды, так возьми левую! Отказ от коварного сопоставления меньшего недобра с большим— ибо

---

[1] Майков Л. Н. Батюшков. С. 100.

[2] См. например: Михайлова Н. И. «Парнасский мой отец». М., 1983. С. 109—114.

воистину «оба они хуже» — нередко произнести куда больней и мучительней.

В нашем случае ложной была уже сама посылка о словесном «староверии», ибо чем может быть лучше литературного старовера, излишне горячего приверженца прадедовских заветов, «литературный хлыст»— начисто отметающий отеческое наследство Иван, не желающий знать родства!

И второй ложью, посредством которой вливалась «ненавистная рознь» в «мир сей», было само сравнение с раскольниками. Ведь на деле определяющим для мышления раскольника служит не спор о частностях обряда (в данном случае — языкового обихода), а сама жажда отколоться, составить отдельную от «простого» народа секту (вспомним хотя бы, что «староверы» были единственными москвичами, встретившими Наполеона хлебом-солью, в благодарность за что он выставил вокруг их общин охрану, а они безнаказанно грабили святыни из пламени пожара и сумели обобрать даже Кремль)[1].

Однако государственными мужами состояли не исключительно члены «Беседы» — сенатор, генерал-прокурор и первый российский министр юстиции Г. Р. Державин; обер-прокурор Сената и министр юстиции И. И. Дмитриев; адмирал, государственный секретарь и президент Российской Академии А. С. Шишков; президент Академии художеств А. Н. Оленин и т. д.

Отнюдь не из ниспровергателей устоев человеческого общежития составлен был и «Арзамас», многие сочлены которого остались в истории не только (а когда и— не столько) как сочинители, но и в силу своей дальнейшей государственной деятельности: например — В. А. Жуковский, воспитатель наследника престола, будущего АлександраII; П. А. Вяземский — товарищ министра народного просвещения и глава цензурного ведомства; С. С. Уваров — президент Академии наук, министр народного просвещения; Д. В. Дашков— товарищ министра иностранных дел, министр юстиции; Д. Н. Блудов— министр внутренних дел, а затем юстиции при Николае I; президент Академии наук, председатель Государственного совета и Совета министров при Александре II.

Все они могли по-разному понимать свою роль в обществе и исповедовать различные взгляды на желательное

[1] См., например: С и н и ц ы н П. В. Преображенское и окружающие его места, их прошлое и настоящее. М., 1895. С. 138—140.

государственное устройство России; тем не менее в решительный 1812 год проявили редкое единство в общих заботах о защите Отечества. В годину народной беды противоречия были преодолены— пусть и ненадолго. Зато именно тогда Батюшкову удалось совершить в своих произведениях почти то же счастливое слияние языка народного с церковнославянским, какое приветствовал в карамзинской «Истории» Л. Н. Майков: война с Наполеоном отчетливо сознавалась всем русским общественным мнением как священная, что потребовало от сочинителя и соответствующих средств выражения[1]. В особенности показательны в этом отношении стихотворное послание «К Дашкову» и прозаический очерк «Нечто о морали, основанной на философии и религии»[2].

Однако в последующие мирные годы сохранить живительное единство, достигнутое в пору высшего напряжения народных сил для борьбы с внешним врагом, оказалось гораздо сложнее. Задача, которая была успешно разрешена и в жизни, и в творчестве Батюшкова, когда он вместе с русской армией нес справедливый меч возмездия на Париж, во второй раз встретила его уже один на один после того, как Константин Николаевич, казалось бы, сумел добиться вожделенной цели— назначения в неаполитанскую миссию и отправился в одиночестве в столь желанные для него всегда полуденные края. Но поражение, по видимости даже сокрушительное, какое довелось ему претерпеть там на житейском и сочинительском поприщах, тоже являет собою немалый урок и опыт— быть может, более ценный, нежели дала бы умозрительная победа.

Родные «страны полунощи» всегда вызывали у него прежде тоску, жгучее желание вырваться из их плена под теплый кров юга. Он не раз отзывался в письмах друзьям, что даже у времени на Севере «крылья свинцовые» или, еще сильней— «здесь так холодно, что у времени крылья примерзли». Но вот, едва очутившись в заветной своей Италии, он уже в августе 1819 года признается Жуковскому: «Посреди сих чудес удивись переме-

---

[1] См. например: Истомин В. Главнейшие особенности языка и слога произведений Г. Р. Державина, В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова. Варшава, 1893. С. 118—189.

[2] Подробнее см.: Немировская К. А. Церковнославянизмы в лексике прозаических произведений К. Н. Батюшкова//Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института. Л., 1948. Т. 59. С. 113—189 (из кандидатской диссертации того же автора «Лексика прозы К. Н. Батюшкова»).

не, которая во мне сделалась: я вовсе не могу писать стихов... но зато могу сказать... что пишу *на прозах* довольно часто». Однако на деле и для прозы перемена климата оказалась губительной: проведши два с половиною года в стране Ариоста и Тасса, Батюшков вывез оттуда четыре прекрасных небольших стихотворения, самое обширное из которых состоит из дюжины строк, и записки в прозе об окрестностях Неаполя, уничтоженные позже в приступе душевной болезни— главного плода этого несчастного путешествия. По-видимому, в душе его случилось нечто подобное тому, о чем не так давно предупреждали в отношении природы ученые, добивавшиеся отказа от проекта поворота северных русских рек на юг: если бы это намерение было воплощено в дело, несметное число вредоносных бактерий, спящих— но отнюдь не мертвым сном— в прохладных водах высоких широт, немедленно пробудились бы в неурочном тепле и вызвали многие бедствия, вплоть до повального мора, в ответ на грубое попрание векового природного чина.

Существовало, впрочем, предание о том, что болезнь Батюшкова вызвана нравственными переживаниями его в связи с подготовкой восстания декабристов. Ее поддерживал, например, И. И. Дмитриев, который полагал, что воспитанный в доме М. Н. Муравьева и связанный дружбою с его сыновьями поэт еще до своего отъезда в Неаполь знал о заговоре. «Батюшков,— передает с его слов племянник стихотворца-министра М. А. Дмитриев,— с одной стороны, не хотел изменить своему долгу, с другой— боялся обнаружить сыновей своего благодетеля. Эта борьба мучила его совесть, гнела его чистую поэтическую душу. С намерением убежать от этой тайны и от самого места, где готовилось преступное предприятие, убежать от самого себя, с этим намерением отправился он и в Италию, к тамошней миссии, и везде носил с собою грызущего его червя». Наконец, рассудок его не выдержал— и тогда-то наступило помрачение[1].

Версию эту, однако, отвергал уже Л. Н. Майков[2]; о ней с возмущением писал и Д. Д. Благой[3].

---

[1] Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 197. Ср. мнеиие Н. И. Греча в его «Записках»: Спб., 1886. С. 406.

[2] Майков Л. Н. Батюшков. С. 222.

[3] Благой Д. Д. Судьба Батюшкова//В кн.: Батюшков К. Н. Сочинеиия. Л., 1934. С. 26—28.

На наш взгляд, неверное в прямом толковании, впечатление И. И. Дмитриева все-таки обладает свойством некоего иносказательного вероятия,— и здесь наш поэт пережил некий «опыт», который после него другие уже воплотили в жизнь. Дело в том, что пребывание его в Неаполе, входившем тогда в состав Королевства обеих Сицилий, совпало с наибольшим размахом движения карбонариев — тайного общества, имеющего много общего с масонскими ложами, но в отличие от них почти не уделявшего внимания вопросам религиозно-мистическим, занимаясь в основном добычей политической власти всеми доступными средствами. Всего по Италии их насчитывалось тогда до 700 тысяч человек, а в Неаполитанском королевстве один карбонарий приходился на каждые двадцать пять жителей[1]. Они и стали главными виновниками разразившейся в городе на глазах Батюшкова революции 1820 года; закончилась она год спустя тем, что австрийские войска, разбив повстанцев, 24 марта 1821 года вступили в Неаполь. Русский посланник граф Штакельберг, у которого служил Константин Николаевич «сверхштатным», хотя и почти единственным чиновником, выехал из города и удовлетворил ходатайство поэта об отпуске его в Рим. Именно из Рима получил в 1821 году одно из последних батюшковских писем Н. М. Карамзин: оно не сохранилось, но знаменитый историограф передавал тогда же в письме к И. И. Дмитриеву, что Батюшков рассказывал о крайне тяжелом впечатлении, произведенном на него этими происшествиями, которых он сделался невольным очевидцем[2].

Непосредственно участвовать в событиях эпохи, когда борьба идей из области словесности перекинулась в сферу политики, Батюшкову не было суждено; однако он и до конца жизни, стоя одною ногой в мире потустороннем, не забывал дней ее начала, в которые прения происходили вокруг столкновения языков русского с французским. Как вспоминал современник, уже живучи в Вологде на покое, Константин Николаевич, узнавши о смерти своей сестры, бывшей замужем за П. А. Шипиловым (весть об этом от него долго скрывали), спросил: где она похоронена? Ему отвечали, что в Духовном монастыре. «Ну да,— заметил он,— ей в Прилуках не с кем было бы говорить

[1] Энциклопедический словарь изд. Ф. А. Брокгауз— И. А. Ефрон. Спб., 1895. Пт. 27. С. 474—475.

[2] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866. С. 304.

по-французски» [1]. Сам же он обрел последний покой как раз в стенах Спасо-Прилуцкой обители.

И все-таки всякая заграничная беда становится действительно опасною, лишь когда сумеет произрасти и дать плоды в отечественной почве; и тут уже не заморского недоброхота приходится винить, а самого себя. От тех же последних лет жизни Батюшкова сохранился другой рассказ, при всей своей фантастичности вполне символический. Престарелый поэт не раз говорил своему племяннику Н. А. Соколову, которому весьма благоволил в отличие от большинства окружающих, что уже много раз собирается выехать за границу и, между прочим, в Париж, но никак не может покинуть Вологды: «Возьму,— говорит,— почтовых лошадей, сяду в экипаж и отправлюсь; проеду верст 50 или 100, а в это время дорога-то подо мной и поворотится— смотрю, меня прямо, никуда не сворачивая, и привезут в Вологду. Вот так и не могу отсюда вырваться!» [2] Воистину, к Батюшкову можно применить слова, сказанные им о любимом Тассо: «Воображение, главная пружина его таланта и злополучий, нигде ему не изменяло». И в этой круговой дороге еще проступает та беспрестанная тяга «проездиться по России», которою одержим был впоследствии Гоголь, мчавшийся в Рим, чтобы сочинять там русскую поэму, и на Руси тосковавший по итальянскому воздуху— новый «опыт» предвидения будущего, которое у Батюшкова порою прямо разительно.

Горизонтальное противопоставление запада и востока, встречаясь с вертикалью, в подножии которой лежит «низкая проза», а в вышине парит «высокая поэзия»,— рождает на пересечении их, в самом средокрестии, главный вопрос о сути человеческого существования, о том, что преходяще и что нетленно, о цене жизни и смысле смерти. Вот в эту болевую точку попали и дар, и само сердце Батюшкова.

И здесь во многом показательна история одного ключевого образа, звенья развития которого проросли насквозь его судьбу и наконец заключили ее в некое целокупное единство.

Одним из первых его произведений, сделавшихся широко известными, была игривая сатира 1809 года. «Видение на берегах Леты», где описано испытание на

[1] ЦГАЛИ, фонд 63, оп. 1, е. х. 17, л. 9 об.
[2] Там же, л. 9—9 об.

прочность в этой «реке забвения» творений современных Константину Николаевичу российских авторов. «Погружаются», «тонут»— пока еще шутливо, при восклицаниях «в реку, в реку!»— в потоке времени стихи заодно со своими сочинителями, повинуясь приговору, который:

Сказал, ие слушая доводов,
Угрюмый ада судия:
«Да всех поглотит вас струя!»

(Впрочем, в поэтическом раю все же обитает и Тредиаковский; и даже глава противной Батюшкову партии А. С. Шишков: «За всю трудов своих громаду /За твердый ум и за дела/ Вкусил бессмертия награду».) Вскоре сам автор «Леты» обмолвится столь же смешливо своему другу П. А. Вяземскому, что-де он видел сон,

Будто светлый Аполлои
И меия, шалун мой милый,
На берег реки унылой
Со стихами потащил
И в *забвеньи* потопил!

Дело принимает вовсе иной, нешуточный уже оборот, когда в 1816 году умирает высокочтимый Батюшковым Г. Р. Державин (которого он называл в письмах «Орфей Орфеичем»), и на его столе остается грифельная доска с потрясающим восьмистишием:

Река времеи в своем стремлеиьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвеиья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,—
То вечиости жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!

В том же году Батюшков, на которого это завещание певца Фелицы произвело громадное воздействие, печатно помянет о нем в прозаической статье «Вечер у Кантемира». В мае следующего оно отзовется в предпоследней строфе «Беседки муз»:

Пускай забот свинцовый груз
В реке забвеиия потоиет
И время жадиое в сей тайиой сеии муз
Любимца их ие троиет.

Утверждение это звучит уже гораздо менее уверенно, хотя как будто и бодро. И вот три последних стихотворения: в первом из них, написанном под впечатлением той же «Реки», смешанным с обидой на неловкое выступление П. А. Плетнева, названного здесь уничижительно «Плетаевым», Батюшков пробует все-таки как-то уйти от вопроса о «самом главном»— точнее, в тех же восьми строках, что и Державин,— посредством «лукавой софизмы»:

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для славы дышит!..
А чем исполнено твое,
И сам Плетаев не опишет.

(1821)

Но почти тотчас вслед за ним возникает семистрочное так называемое «Изречение Мельхиседека», также предположительно датируемое 1821 годом; затем еще раз, спустя 34 года, судя по сообщению А. И. Подолинского, «оно уже по смерти поэта... было замечено на стене, будто бы написанное углем» [1]. Действительно, во вторую половину жизни Батюшков чертил на стенах и окнах надписи[2] — но здесь нельзя не увидеть и перевернутое отражение державинской доски, как бы ее негатив: Гавриил Романович оставил свое поэтическое завещание мелом на аспидно-черном сланце; Константин Николаевич — углем по белой стене. Вот оно:

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез...

Произведение крайне загадочное: начать хотя бы с того, что библейский царь и священник Мелхиседек на самом деле никаких изречений после себя не оставил, а

[1] Русская старина. 1884. Т. 42. № 4. С. 220.
[2] Русский архив. 1879. Кн. II. С. 478.

жил он около 1850 года до новой эры. Имя его означает «царь правды», но что за правду имел в виду Батюшков, доселе остается гадательным. Попытки Н. В. Фридмана связать этого Мелхиседека с Христом[1], который согласно посланию апостола Павла к евреям является «священником вовек по чину Мелхиседека» (5:6), не убедительны, ибо там же далее сказано, что сей Мелхиседек бессмертен — не имеет ни начала дней, «ни конца жизни» (7:3); еще более шатки основания, по каким И. М. Семенко пробует смешать Мелхиседека с Экклесиастом[2], который ничего с ним общего не имеет, кроме настроения. Зато стоит сопоставить смысл «Изречения...» с предшествующим ему стихотворением, а также принять во внимание и последнее— «Подражание Горацию», где опять-таки Батюшков подражает не столько самому Горацию, сколько державинскому «Памятнику», являющемуся переделкой Горациевой оды. Имя Державина звучало для Батюшкова и священно, как имя обладателя «святого» дара поэзии, и державно, то есть царственно, по самой своей этимологии; поэтому слияние двух этих высших на земле человеческих должностей в «единодержавии» личности гениального поэта и родило, по нашему мнению, наименование его по царю и священнику Мелхиседеку в прощальном стихотворении, содержанием которого стали трагические раздумия над последними строками старшего современника о «Реке времен...».

Сам Константин Николаевич, «заживо познавший свой закат»— как сказал о нем в элегии «Зонненштейн» его друг П. А. Вяземский в 1853 году,— испытал погружение в Лету действительно еще в земной своей жизни. Перед самым концом ее он, уже, казалось бы, поглощенный летейской волною с головой, неожиданно вновь показался на поверхности. В последние свои годы он чувствовал себя заметно лучше, читал газеты, следя с усердием за ходом Крымской войны. Среди бывших его сотоварищей разнеслись даже преувеличенные слухи о том, что произошло полное выздоровление. 15 ноября 1854 года Вера

[1] Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1964. С. 322.

[2] Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 576—577.

Ничего не дают для разгадки и апокрифические сказания о «Мелхиседеце». См.: Памятники старинной русской литературы. Спб., 1862. Вып. 3. С. 20—23.

Аксакова заносит в свой дневник: «Смирнова пишет, что Батюшков совершенно исцелился, пришел в себя после 30-летнего сумасшествия и теперь читает донесения из Крыма и следит по карте. Невероятно почти,— мы праздновали его возрождение чтением его стихов, из которых некоторые особенно восхищали нас. Слава Богу, если то правда, что он исцелился, каково должно быть его впечатление, очнуться после стольких лет!» [1]. Действительно, услышать мнение человека, «проспавшего» наяву все царствование Николая Павловича, было бы чрезвычайно любопытно— однако судьба этой возможности все-таки не дала.

А река тем часом все продолжала стирать теплую память о нем, подмывая ее сразу с двух сторон— при помощи и холодного забвения, и ложно направленных «упоминаний». В самом конце XIX века об этом задумывается в своей биографической справке, нередко напоминающей скорый суд, неутомимый и неудачливый труженик критико-словарного дела Семен Венгеров: «В чем же причины этого холода, окружающего литературную репутацию Батюшкова? Лежат они в ценности или в свойствах его таланта?» И тут же дает пример того, как именно происходит искажение общей памяти посредством постепенной подмены понятий: «Нам кажется, что именно в свойствах, в том нерусском характере, печать которого лежит на всем поэтическом наследстве Батюшкова» [2]. Тут речь идет в первую голову о поэзии, однако Венгеров мало отделял судьбу ее и от прозы, которую называл по преимуществу «статейками» [3]. Хотя, будучи сыном «немецкой писательницы Паулины Венгеровой» [4], С. А. Венгеров обладал прирожденной способностью взглянуть на творческое наследие Батюшкова с точки зрения разных народов, он не заметил в нем того, что видно и одному невооруженному глазу — и что мы попытались представить наглядно выше: «опыты» Константина Николаевича в слове и жизни являются совершенно русскими, причем русскими по преимуществу не только в своих удачах, но и в просчетах и даже поражениях. Когда же, почти полвека спустя, выходит в свет добротное в

---

[1] Минувшие годы. 1908. Авг. С. 105.

[2] Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1890. Вып. 26. С. 244.

[3] Там же. Вып. 28. С. 290.

[4] Краткая литературная энциклопедия. М., 1962. Т. I. С. 895.

целом издание батюшковских сочинений, выпущенное «Академией», во вступительной статье Д. Д. Благого снова звучат фальшивые звуки «лир и труб», опять-таки зовущие в ту же «пропасть забвения». После навязчивых сетований на некое «поправение» писателя в зрелые его годы (что скорее способно вызвать улыбку, в особенности ежели припомнить известный рассказ А. Аверченко «История болезни Иванова» про то, как некий обыватель стал час от часу болезненно «леветь» и наконец угодил в вологодскую ссылку[1]) неожиданно попадается отнюдь не смешное определение эпохи борьбы с Наполеоном— «так называемая «Отечественная война 1812 г.», а заключение всей работы совсем уже мрачно: «Отражая личную судьбу поэта, элегика Батюшкова является прообразом дальнейшей социально-исторической судьбы породившего его класса» [2]. «Ох, увы»,— остается только сказать в ответ на подобное утверждение, припомнив, что именно от такого греческого припева производит одна из версий само слово «элегия».

Но долго заглядывать в «жрущее жерло» забвения небезопасно. И здесь, подняв глаза, мы с удивлением и радостью обнаруживаем по ту сторону потока времени достигшие берега бессмертия строки батюшковской... прозы! Примечательное сравнение прошлого и настоящего «града апостола Петра», воздвигнутого на невском берегу, из очерка «Прогулка в Академию художеств», было не только принято во внимание или затронуто, но и впрямую вплетено Пушкиным в прославленный «Медный всадник» — об этом писал в свое время еще Л. Н. Майков[3]. Отсюда же перешло сравнение России с конем на памятнике Петру I: «У нас перед глазами Фальконетово произведение,— пишет Батюшков,— сей чудесный конь, живой, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостию мысли, сказал мне, указывая на коня Фальконетова: — *Он скачет, как Россия*!» Явным продолжением звучат пушкинские о том строки:

А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,

[1] Аверченко А. Юмористические рассказы. М., 1964. С. 129—133.
[2] Благой Д. Д. Судьба Батюшкова. С. 23, 39.
[3] Подробнее см.: Фридман Н. В. Проза К. Н. Батюшкова. М., 1965. С. 158—166.

И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

От поднятой на дыбы (внутри звенит отголоском и «поднятая на дыбу») России, поверх которой восседает медный кумир Петра, рукою подать и до не менее знаменитого уподобления ее медногрудой гоголевской тройке— «и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится...» Но влечет птица-тройка уже не грозного властелина, а бричку, наполненную спящим Петрушкою, покрикивающим Селифаном и улыбающимся Чичиковым.

И не оттого ли, спустя еще три десятилетия, в «гнилое, сырое и туманное» петербургское утро придет Подросток Достоевского и скажет свою «странную, но навязчивую грезу»: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?»

Так «бойкая необгонимая тройка»— или «жарко дышащий, загнанный конь»? «Поднята на дыбы» или «превратилась в одни вытянутые линии»? И вообще: «Что значит это наводящее ужас движение?» «Куда ж несешься ты», так что «летит мимо всё, что ни есть на земле, и косясь постораниваются и дают дорогу другие народы и государства»? Что наконец это за «разорванный в куски воздух», сквозь который лежит путь— «гнилой и сырой», но одновременно «чуть ли не самый фантастический в мире» туман?!

И вот в ответ на все эти громкие недоумения вдруг слышится тихий, но внятный голос, доносящийся с той стороны Леты— те самые слова, какие звучат на последних страницах батюшковских «Опытов в прозе»:

«Не случалось ли вам путешествовать при первых лучах денницы путем, проложенным по высоким горам,

когда пары, от земли восходящие, простирают со всех сторон туманную завесу, скрывающую горизонт, где изображается множество мечтательных предметов, от смешения света со тьмою происходящих? По мере того как вы сходите с высот, сие облако земное редеет, рассевается; вы проникаете чрез него и находите на себе малые следы влаги, скоро иссыхающей. Тогда открывается и расширяется пред вами необъемлемый горизонт: вы видите близлежащие горы, жатвы и стада, их покрывающие, селения человеческие и холмы, над ними возвышенные; вся природа вам отдана снова... Сойдите с сих высот неверия, где вы ходите около пропастей неизмеримых, где взор ваш встречает одни призраки; сойдите, говорю вам, призванные и поддержанные смиренной верою, идите прямо к сим облакам, обманчивым, восходящим от земли (они скрывают от вас истину и являют одни обманчивые образы); сойдите и пройдите сквозь сию ничтожную преграду паров и призраков; она уступит вам без сопротивления; она исчезнет— и ваши взоры обретут необъемлемую перспективу истин, все утешения сего земного жилища и горé— лазурь небесную».

1986





УЗОР «АРАБЕСОК»

1



тарая энциклопедия слово «арабески» поясняет так: «Цветной узор не строго выдержанного стиля... орнаменты в живописи и пластических искусствах, причудливое сочетание форм, цветов, животных, чудовищ, атрибутов, архитектурных элементов, ваз и всякого рода предметов и орудий, созданных более фантазиею художника, чем взятых из действительной жизни».

К теме этого диковинного узорочья Гоголь подходил с самых разных сторон. Почти одновременно с началом работы над первыми произведениями для сборника, в том же 1830 году затевается перестройка в родовом имении Васильевка на Полтавщине, и вот из далекого Санкт-Петербурга следует к матери указание, переносящее художественные мечты в насущную действительность: «В гостиной и спальне окна и стеклянные двери в сад будут иметь готический вид: это нынче всеобщий вкус». Затем высылаются для украшения узоры ковров — сперва, правда, не собственного изобретения: «...поле всё в клетках под тень... по полю белые круги... в круге букет цветов... кайму... гирлянды на палке по белому полю или... по голубому... Другой же ковер — ландшафт... Кайму к нему я пришлю вам скоро. Она необыкновенно широка и вся в цветах, так что для ландшафта остается небольшая середина ковра, и чрез это ковер очень выйдет поразителен: ландшафт с рамкою кажется в отдалении». Чуть погодя появляются и самородные создания в том же вкусе: «Посылаю вам моего изобретения еще один узор. Все поле должно состоять из

осьмиугольников, один голубой, другой оранжевый. В голубом, как видите, оранжевая розетка, а в оранжевом голубая. Между осьмиугольниками черные четырехугольники. Кайма: вьющаяся лента по белому полю. Ковер будет прелестен».

Наконец, довершается украшение усадьбы уже собственноручно. «Он сам,— вспоминает сестра Елизавета,— раскрасил красками стены и потолки в зале и гостиной: наденет, бывало, белый фартук, станет на высокую скамейку и большими кистями рисует,— так он нарисовал бордюры, букеты и арабески». Попутно получают завязь или развитие и другие темы будущей книги: брат просит присылать к нему в столицу малороссийские песни и сказки, а шаловливая Елизавета, ведшая близкую дружбу с домашними собаками, переполняет свои послания к нему заодно рассказами о них и даже «передает ему от них поклоны и прочее» [1].

Когда же словесные «Арабески» в свой черед выйдут из печати, Гоголь в колеблющейся неуверенности — как знать, что еще за диво из этого детища вымахает,— ерническим пошибом именует их даже в тесном кругу, довольно уничижительно, по старой народной примете: чтобы не сглазили ненароком. М. П. Погодину сообщается: «Печатаю я всякую всячину. Все сочинения и отрывки, и мысли, которые меня иногда занимали. Между ними есть и исторические, известные уже и неизвестные.— Я прошу только тебя глядеть на них поснисходительнее. В них много есть молодого». М. А. Максимовичу при подношении экземпляра следует схожая оговорка: «Посылаю тебе сумбур, смесь всего, кашу, в которой есть ли масло, суди сам».

Современники, похоже, восприняли гоголевскую шутку всерьез, но их усмешки вышли далеко не столь уклюжи. 1 апреля 1835 года — дата вполне под стать — Булгарин в отклике на сборник в «Северной пчеле» недоумевает: «Почему они Арабески? Арабесками называют в живописи и скульптуре фантастические украшения, составленные из цветов и фигур, узорчатых и своенравных. Арабески родились на Востоке, и потому в них не входят изображения животных и людей, которых рисовать запрещено Кораном. В этом отношении название книги удачно прибрано: в ней большею частию попадаются образы без лиц».

---

[1] Отрывок из записок Елизаветы Васильевны Быковой, родной сестры Гоголя//Русь, 1885, № 26. С. 6.

Барон Брамбеус (О. И. Сенковский) вторит ему из «Библиотеки для чтения: «Быть может, это арабески,— но это не литература». Он еще «искренне» сожалеет вдобавок: «Автор «Арабесков» обманывает себя до того, что хочет провозглашать какие-то новые истины по части наук и художеств, блистать каким-то юным слогом, быть высокопарным и заставлять беспристрастного читателя смеяться над неловкостью своих начинаний,— тогда как по роду своего дарования он мог бы смешить его и писать хорошие сказки».

Осторожный Белинский посвятил свой очерк в «Телескопе» исключительно повестям, похулив остальную часть книги лишь мимоходом: «Я очень рад, что заглавие и содержание моей статьи избавляет меня от неприятной обязанности разбирать ученые статьи г. Гоголя, помещенные в «Арабесках». Я не понимаю, как можно так необдуманно компрометировать свое литературное имя. Неужели перевести, или, лучше сказать, перефразировать и перепародировать некоторые места из истории Миллера, перемешать их с своими фразами, значит написать ученую статью?.. Неужели детские мечтания об архитектуре ученость?.. Неужели сравнение Шлецера, Миллера и Гердера, ни в каком случае не идущих в сравнение, тоже ученость?.. Если подобные этюды — ученость, то избавь нас Бог от такой учености! Мы и без того богаты ею. Отдавая полную справедливость прекрасному таланту г. Гоголя, как поэта, мы, движимые чувством той же самой справедливости, того же самого беспристрастия, желаем, чтобы кто-нибудь разобрал подробнее его ученые статьи».

Однако желанный знаток все не сыскивался — и дела для сборника начали принимать вовсе худой оборот. Гоголю приходится посылать в Москву к Погодину хитроумную просьбу: «Да пожалуйста, напечатай в Московских Ведомостях объявление об Арабесках. Сделай милость, в таких словах: что теперь, дискать, только и говорят везде, что об Арабесках, что сия книга возбудила всеобщее любопытство, что расход на нее страшный (NB 3 до сих пор ни гроша барыша не получено) и тому подобное».

Читатель, по всей видимости, разобрался лучше записных ценителей — через пять лет, в 1840-м, тот же Белинский сетует, что гоголевских сборников, в том числе и «Арабесок», не купить уже ни в одной книжной лавке. А еще два года спустя отправляет писателю лич-

ное покаяние: «С особенною любовию хочется мне поговорить о милых мне «Арабесках», тем более, что я виноват перед ними: во время óно я с жестокою запальчивостью изрыгнул хулу на ваши в «Арабесках» статьи ученого содержания, не понимая, что тем изрыгаю *хулу на Духа.* Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки; притом же на мутном дне самолюбия шевелилось желание блеснуть и беспристрастием». На следующий год некоторое запоздалое извинение появится и в «Отечественных записках»: «А между тем Гоголь выступал на журнальное поприще и был критиком: в «Арабесках» напечатаны его превосходные критические статьи о Пушкине, о Брюллове, о Шлёцере, Миллере и Гердере...»

Но под «Литературными и журнальными заметками», содержавшими это признание, подписи своей критик ставить не стал; внутренний смысл, соединявший «Арабески» в гармоническое целое, надолго остался не разгадан. До 1918 года они еще воспроизводились иногда в «юношеском» томе сочинений; в подобном же собрании вышел в 1912 году в Мюнхене первый иностранный перевод. Второй и последний (без отрывков из исторического романа) выпустило в 1982 году в США издательство «Ардис». И даже когда в начале нашего столетия влюбленный в Гоголя Андрей Белый издал свои «Арабески», то это был уже не умело выстроенный и необычайно точно уравновешенный живой организм, а всего лишь пестрое сборище статей и воспоминаний, во многом совершенно сиюминутных и недолговечных.

«Арабески», правда, более уже не подвергаются уничтожающему разносу, их попросту упоминают — и расчленяют. Существует совсем немало «ведомственных» исследований о взглядах Гоголя на историю, педагогику, географию, музыку, живопись и так далее, не говоря уже про художественные произведения; но книги об «Арабесках» как сборнике нет. Вот пример: Г. Гуковский, долгие годы слывший одним из главных «гоголеведов», в своем изданном посмертно завершающем труде пишет: «Стремление Гоголя к циклизации, к преодолению отдельности произведения было так сильно, что оно могло перехлестнуть и через границы художественного творчества, образовав неожиданное и весьма редкостное единство сборника «Арабески», сплетающего статьи, очерки, монологи и повести в общность системы, не только художест-

венной, но и методологической и вообще идейной»[1]. Заявив о столь высокой теме, автор уже более к ней не вернулся.

Список статей, посвященных за всю историю отечественного литературоведения «Арабескам», также скуп: их всего-навсего три общим объемом в 30 страничек; вышли они в 1970-е годы в специальных малотиражных сборничках в Томске и представляют собой выжимки из кандидатской диссертации одного и того же автора — Т. Г. Черняевой[2], первая треть которой и трактует об одном из трех сборников раннего Гоголя, сборнике в их семье срединном и, мы бы сказали, средоточном для мировоззрения писателя в 1830-е годы.

Впрочем, одна особая работа по «Арабескам» все-таки существует: это опять-таки диссертация, но уже почти полувековой давности, принадлежащая перу Г. М. Фридлендера[3]. Однако ознакомиться с ней непросто — этого не удалось сделать даже томской исследовательнице, ибо единственный экземпляр работы хранится ныне в филиале Ленинской библиотеки в подмосковном городе Химки.

В свое время Гоголь написал убийственную рецензию в одну строку на повесть «Убийственная встреча»: «Эта книжечка вышла, стало быть, где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ея». Читатель «Арабесок» сидит по всей Руси великой, но они вот уж семьдесят лет как не выходят («анатомированное» состояние тут не в счет), а последний труд о них коротает свой век в каменном саркофаге на краю огромного современного кладбища...

Между тем «Арабески» несомненно заслуживают воскрешения.

2

1830-е годы, когда сборник вышел в свет — и для которых он может служить своеобразным символом,— были чрезвычайно ответственным для русской культуры

---

[1] Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л.; 1959. С. 26.

[2] Черняева Т. Г. Литературно-эстетическая и художественно-критическая программа Н. В. Гоголя середины 1830-х гг. (от «Арабесок» к «Современнику»). Автореф. дисс... канд. филологических наук. Томск, 1979.

[3] Фридлендер Г. М. «Арабески» и вопросы мировоззрения Н. В. Гоголя петербургского периода. Дисс... канд. филологических наук. Л., 1947.

временем. Исходя из глубинного понимания их сути, первым заговоривший о 1830-х как особой эпохе В. В. Кожинов раздвигает тесные хронологические рамки и относит начало всего периода к 1825-му, а конец — к 1842 году, дате выхода первого тома «Мертвых душ». «30-е годы,— настаивает он,— это совершенно особая и необычайно существенная литературная эпоха... эпоха становления новой русской литературы, эпоха *ключевая*». С этой точки зрения он резко возражает тем, кто называет 1830-е временем упадка — ведь «это говорится об эпохе Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Боратынского, Тютчева, Кольцова, об эпохе, когда выступали в расцвете сил такие глубокие мыслители, как Чаадаев, Владимир Одоевский, Иван Киреевский, Лобачевский, такие великие творцы русского искусства, как Глинка, Мочалов, Александр Иванов...» Именно тогда, подчеркивает исследователь, закончил все свои художественные вещи (за исключением второго тома «Мертвых душ») Гоголь[1].

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — книга, сделавшая имя Гоголя известным,— вышла в свет в самом начале этой эпохи. Но после того, как в 1832 году была издана ее вторая часть, в следующем 1833-м писателя постигает страшный творческий спад. Письма этой поры к друзьям содержат множество разительных свидетельств о нем. «Я стою в бездействии, в неподвижности, мелкого не хочется, великое не выдумывается. Одним словом, умственный запор» (М. П. Погодину, февраль). «Ум в странном бездействии: мысли так растеряны, что никак не могут собраться в одно целое» (А. С. Данилевскому, 8 февраля). «Вот скоро будет год, как я ни строчки» (М. А. Максимовичу, июль). «Какой ужасный для меня этот 1833 г.! Боже, сколько кризисов!.. Сколько я начинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство быть недовольну самим собой? О, не знай его!.. Человек, в которого вселилось это ад-чувство, весь превращается в злость. Он ужасно издевается над собственным бессилием» (М. П. Погодину, 28 сентября). «Если б вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня! Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал» (М. А. Максимовичу, ноябрь).

Но вот настает канун Нового, 1834 года, и Гоголь на

[1] Кожинов В. В. К методологии русской литературы (о реализме 30-х годов XIX века)//Вопросы литературы. 1968. № 5. С. 60—82.

самом его пороге пишет вдруг свою знаменитую молитву «1834»:

«Великая, торжественная минута. Боже! Как слились и столпились около ней волны различных чувств. Нет, это не мечта. Это та роковая неотразимая грань между воспоминанием и надеждой... Уже нет воспоминания, уже оно несется, уже пересиливает его надежда. У ног моих шумит мое прошедшее; надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений. О, не скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня, год. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или... О, будь блистательно, будь деятельно, всё предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь предо мною, 1834-й? Будь и ты моим ангелом. Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня, о, разбуди меня тогда, не дай им овладеть мною! Пусть твои многоговорящие цифры, как неумолкающие часы, как завет, стоят передо мною, чтобы каждая цифра твоя громче набата разила слух мой, чтобы она, как гальванический прут, производила судорожное потрясение во всем моем составе.

Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками, с своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр. Там ли? О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой гений! Ты, от колыбели еще пролетавший с своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои чистые небесные очи. Я на коленях, я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять

недоступное земле божество! Я совершу... О, поцелуй и благослови меня!»

Жаркая просьба эта несомненно достигла цели и была услышана: именно в 1834 году созданы почти все произведения, вошедшие в «Арабески» и «Миргород», оба сборника прошли предварительную цензуру, были сданы в печать — и вышли в свет почти один за другим в самом начале 1835-го. Они ознаменовали преображение веселого балагура Рудого Панька в великого и трагического Гоголя — но произошло оно вопреки чаяниям самого писателя не в «древнем обетованном Киеве», а как раз «среди кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности... парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности», венцом которой служил давший заглавие одной из повестей «Арабесок» Невский проспект.

Здесь очень уместно упомянуть два современных «Арабескам» издания, составляющих вместе как бы художественную канву сборника. В 1830 году, то есть в пору, когда Гоголь приступил к первым произведениям, вошедшим впоследствии в книгу, «Литературная газета» объявила о выходе своеобразного апофеоза главного тракта северной столицы — «Панора́мы Невского проспекта», состоявшей из двух свитков в десять аршин длины и шесть вершков ширины каждый. В 1830-м, впрочем, появилась лишь правая, «теневая» сторона, литографированная И. Ивановым по акварелям В. С. Садовникова; вид же стороны солнечной приспел пять лет спустя, чтобы сделаться одногодком «Арабескам» (он был литографирован по тем же акварелям П. Ивановым). «Северная пчела», внимательно изучавшаяся как живыми, так и литературными современниками Гоголя, писала в связи с этим изданием: «Невский проспект есть без сомнения лучшая улица в мире, как по правильности, длине и ширине своей, так и по красоте и великолепию зданий... Поэт мог бы смело назвать Невский проспект душою Петербурга», добавляя, что «многие из обыкновенных посетителей Невского проспекта попали на панораму». В 1836 году экземпляр ее Николай Васильевич отправил матери в Васильевку.

Другую книгу выпустил человек, которого так и хочется назвать воплотившимся гоголевским героем, ускользнувшим в жизнь со страниц произведений своего создателя — и напечатал разве что месяцем ранее «Арабесок» в той же самой типографии «вдовы Плюшар с сыном»,

которая их «выдала в свет». В книге этой о Невском сказано так: «Смотрите прямо на бесконечную полосу единственной прекраснейшей из всех существующих улиц: какое разнообразие и роскошь! Здесь церкви всех вероисповеданий свободно воздымают свои главы, куполы и башни; здесь собраны все произведения земли, все потребности жизни, все изобретения ума, все утонченности изнеженной роскоши, изящного вкуса и моды» [1].

Автор ее — выходец из старинной польской семьи, перешедшей на русскую службу при Петре I, по имени Александр Павлович Башуцкий. Отец его тридцать лет был комендантом Петербурга; сам он в молодости состоял адъютантом трех санктпетербургских генерал-губернаторов, причем при первом из них, герое 1812 года графе М. А. Милорадовиче, он очутился в самом пекле декабрьских (1825) событий на Сенатской площади, где стал свидетелем убийства своего шефа; а при втором, Голенищеве-Кутузове, 13 июля 1826 года был по должности одним из немногих очевидцев казни пятерых декабристов. В свободные от службы часы блестящий адъютант и придворный, переодевшись во фризовую шинель, отправлялся в кабаки на окраинах для изучения нравов простонародья, которые он потом описывал и помещал в различных затеянных им повременных изданиях.

Почти все подобные предприятия Башуцкого постигала в конце концов неотступно преследовавшая этого деятельнейшего человека несчастливая судьба: так, из затеянной в 12 тетрадей видов и планов вместе с тремя томами текста «Панорамы Санкт-Петербурга» смогли увидеть свет лишь текстовой трехтомник и одна тетрадь: все остальные гравюры на стали, выполненные в Великобритании, утонули на возвратном пути вместе с доставлявшим их судном. Впоследствии Башуцкий пускался и в другие схожие затеи, за которыми чуть было не упустил жену, полюбившую другого,— но неутомимый человек и этот сердечный роман сумел претворить в роман беллетристический и издать в качестве первого выпуска «Очерков из портфеля ученика натурного класса. Тетрадь 1 — Мещанин»; они, конечно, опять не нашли продолжения. Дослужившись до звания камергера и действительного статского советника, Башуцкий из-за неприятностей по службе ос-

[1] **Башуцкий А. П. Панорама Санкт-Петербурга. Спб., 1834. Ч. 3. С. 122.**

тавил мир и вместе с супругой постригся в монахи. Жена его так и провела остаток дней в Тихвинском монастыре, но неуемная природа бывшего камергера и за стенами обители не нашли успокоения. Переменив за пять лет несколько монастырей велико- и малорусских, он стал одним из учредителей Первого миссионерского общества, рисовал образа (в том числе икону «Тысячелетия России»), писал патриотические и нравоучительные брошюры. В начале 1870-х гг. его, уже семидесятилетним стариком, видел один из бывших сотрудников, гравер Серяков «в полумонашеском платье, в черной фуражке с козырьком, в очках и с длинной черной бородой». Под конец жизни Башуцкий увлекся новым начинанием, на сей раз гомеопатией, и бесплатно лечил в Петербурге бедняков, стекавшихся к нему толпами. Похоронен этот неутомимый предприниматель на Волковом кладбище; а совсем недавно, в 1986 году, один из его наиболее известных сборников — «Наши, списанные с натуры русскими», был факсимильно переиздан «Книгой» с обстоятельными примечаниями.

Таково краткое жизнеописание лишь одного из спутников Гоголя по прогулкам на Невском в ту необычайную эпоху 1830-х годов, когда русские люди всё более проявляли внимания к словесности и истории, обживая их с такою страстью, что зачастую как будто без всяких перегородок переселялись из бытового времени в историческое, из обыденной действительности в художественную и обратно.

Для осмысления этой поры представляется важным небольшой гоголевский отрывок, который находится в его записных книжках между концом «Ночи перед Рождеством» и началом работы «Несколько слов о Пушкине», первой статьи «Арабесок». Сам он в этот сборник не вошел, но сейчас может служить как бы автоэпиграфом к нему, если даже не ко всему своему десятилетию: «На бесчисленных тысячах могил возвышается, как феникс, великий XIX век. Сколько отшумело и пронеслось до него огромных, великих происшествий! Сколько совершилось огромных дел, сколько разнохарактерных народов мелькнуло и невозвратно стерлось с лица (земли), сколько разных образов, явлений, разностихийных политических (и) общественных форм пересуществовало! Сколько сект и неразрушимых мнений деспотически, одна за другой обнимало мир; рушились с своими порядками целые волны народов. Сколько бесчисленных революций раскинуло

по прошедшему разнохарактерные следствия! Какую бездну опыта должен приобресть XIX век!»

В эту эпоху явилось немало разносторонних деятелей, в которых у нее была потребность, тех, кто в поиске единства познания научную и художественную деятельность естественно сочетал с издательской. Таковы в окружении Гоголя были М. П. Погодин, выпускавший свой «Московский вестник», А. Пушкин с его «Современником», А. А. Дельвиг («Литературная газета»), Н. И. Надеждин («Телескоп»), М. Павлов («Атеней») и другие. На таком фоне становится более понятен — хотя и не менее замечателен — выпуск 25-летним молодым человеком, не так давно приехавшим в столицу из Малороссии, сборника, в котором высочайшего качества художественные произведения о современности и главы из исторического романа сочетаются с литературной и художественной критикой, статьями об архитектуре и градостроительстве в целом, работами по народной песне и, как бы мы сейчас сказали, искусствознанию...

Всему этому множеству искусно придан вид стройности и сообщено несущее художественный поток движение. Отрывок «Жизнь», открывающий вторую часть «Арабесок» и названный академиком А. С. Орловым прообразом «стихотворения в прозе» [1], запечатлел редчайший миг остановки исторического хода событий, когда оно застыло на мгновение при самом «зачатии» новой эры — прием, отклик которому в догоголевской словесности находится разве в новозаветном апокрифе «Первоевангелие Иакова». А затем — затем разворачивается впечатляющая картина движения «всеобщей истории», где перемещению подвержено буквально всё: народы, сметающие античный мир и созидающие на новой духовной основе высокое средневековье; средневековые крестовые походы, постепенно все ниже ронявшие первоначально направлявшие их возвышенные стремления, как бы перетекающие в нашествия несших в Малороссию религиозные гонения захватчиков с Запада; рождение самобытного казачества и прогулка одного из его потомков, самого сочинителя по беспрерывно движущемуся Невскому. А на последней странице «Арабесок» движение превращается уже в невероятный, захватывающий полет: «Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колоколь-

[1] Орлов А. С. Одоевский — Гоголь — Тургенев//Родной язык в школе. М., 1927. Кн. 1. С. 61—64.

чик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали...»

Но все убыстряющийся этот исторический поток отнюдь не является бессмысленным и бесконечным стремлением к заведомо недостижимой цели. Т. Г. Черняева, считающая, что гоголевский сборник «явился в определенном смысле формой времени», указывает: «Строго регламентированная система «Арабесок» — с четкой целесообразностью каждого элемента системы — отразила страстные поиски мыслителями 30-х гг. XIX в. общей концепции мира и человека» [1].

Явленные в «Арабесках», по удачному определению исследовательницы, «особая мировоззренческая система и в то же время поэтическое воплощение этой системы» наглядно доказывают, что между всеобщими человеческими интересами и интересами отечественными нет коренных противоречий: масштаб «Арабесок» — «масштаб истории человечества», но именно с этой возвышенной точки зрения все более настоятельной видит Гоголь «необходимость истинно национального просвещения», «формирования национально-просветительской концепции» [2].

Недаром даже бешеная скачка воспаленного воображения страдальца Поприщина приводит его из заоблачных высот обратно на родину, к «матушке», которая в черновике названа «Царица моя светлая»: «Лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой — Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли это мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном?..»

Все существо Гоголя как художника отдано поиску на этом пути сокровенной мудрости прошлого, хранящейся в истории народа и человечества — того, что позже будет названо «историософией». Этот поиск оказался отнюдь не

---

[1] Черняева Т. Г. О поисках творческого метода в «Арабесках» Гоголя.//Художественное творчество и литературный процесс. Томск, 1976. Вып. 1. С. 78.

[2] Черняева Т. Г. Литературно-эстетическая и журнально-критическая программа Гоголя... С. 6—9. Вместе с тем нельзя согласиться с определением «Арабесок» в качестве «журнала одного писателя» (там же, с. 3). Помимо отсутствия здесь многих обязательных в журналах разделов, на что указывает сама Т. Г. Черняева, «журнал» в одномединственном номере есть заведомая нелепость. Скорее можно назвать его «альманахом», которые бытовали на Руси со времен средневековья.

бесполезен: изучавший в начале нашего века труднейшие вопросы духовной эволюции Гоголя В. В. Зеньковский пришел к положительному выводу: «Гоголя интересовало в истории не строго научное установление исторических фактов, а постижение смысла истории, ее живой целостности, ее органического единства. Надо согласиться, что эти задачи были субъективно вполне разрешены Гоголем» [1].

Современный ученый как бы развивает эту посылку: «Ключ к объяснению художественной позиции Гоголя находится в выработанной им философско-исторической системе воззрений. Выявление самобытных начал русской жизни в свете единых закономерностей общечеловеческого развития становится главной творческой задачей писателя... решение проблем национального характера... является для Гоголя результатом поисков в истории ответа на самые существенные вопросы русской действительности... писатель предупреждал... о той реальной опасности, которая подстерегает Россию в будущем, если она не обратится к исконным источникам национального прогресса и утратит свою самобытность, слепо следуя западным нормам жизни» [2].

Размышления Гоголя неизменно отличались государственной глубиной и размахом; поэтому вдвойне неловко читать в отдельных работах выпады, основанные на невнимании к урокам «Арабесок», подобные следующему: «Интересы народные никогда им не отождествлялись с интересами государственными в собственном смысле слова. И эта демократическая философия истории стала основой художественно-исторического метода Гоголя» [3]. Вряд ли стоит пускаться в доказательства того, что и демократия никак не «отождествляется» с противогосударственностью; стоит лишь напомнить слова самого Гоголя в письме к матери: «Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству». Сложность взаимоотношений двух таких многообразнейших понятий, как «государство» и «народоправство», никак не может служить оправданием грубому упрощению.

---

[1] З е н ь к о в с к и й В. В. Проф. Гоголь в его религиозных исканиях//Христианская мысль. 1916. XII. С. 44.

[2] С а м ы ш к и н а А. В. Философско-исторические истоки творческого метода Н. В. Гоголя (по материалам исторических статей «Арабесок»)//Русская литература. 1976. № 2. С. 58, 56.

[3] М а ш и н с к и й С. Историческая повесть Гоголя. М., 1940. С. 233.

Сходное огрубленное и огрубленное в отрицательную сторону отношение к гоголевским занятиям историей и педагогикой было в начале текущего столетия начисто опровергнуто после того, как Г. П. Георгиевский напечатал два обширных тома материалов из архива писателя, один из которых включал собранные песни, а другой — выписки исторического и географического характера, служившие пособиями для преподавания и создания ученых статей[1]. Выяснилось, что, в отличие от рядового профессора своего времени, Гоголь готовился к своим лекциям не только по отечественным, но и по множеству иноязычных источников. В связи с этим С. А. Венгеров написал исследование «Гоголь-ученый», выводы которого гласят: «В малооцененных в свое время «Арабесках» Гоголь подходит к истории со стороны таких явлений, как архитектура, живопись, быт, религия... мы должны будем признать, что отношение Гоголя к истории было очень углубленное и всего менее говорит о дилетантизме... Тут ярко сказывается метод работы настоящего специалиста». «Раз навсегда нужно отбросить несправедливую легенду о научном дилетантизме Гоголя,— утверждает он,— интерес и призвание к науке имели глубокие корни в его духовном существе... Литературный помазанник Божией милостью, он на царственном месте своем был «вечным работником», в самом непосредственном смысле слова. Гений и терпение, полет и усидчивость, стихийность и обдуманность, художественная интуиция и методичность ученого сливались в Гоголе в одно органическое целое»[2].

Внимательный подход к изучению творческого наследия писателя в полном объеме позволил ученому сделать также предположение о причинах, заставивших Гоголя покинуть кафедру, которое на сегодняшний день представляется наиболее вероятным: «Попробуйте-ка сравнить Гоголя с средним профессором первой половины тридцатых годов, и он окажется не только не ниже, но значительно выше очень многих профессоров того времени... В первый же год чтения готовить для каждой лекции подробный конспект по ряду превосходных пособий — это по тому времени было явлением прямо из ряду вон выходящим... Но где же было справиться с такого рода об-

---

[1] Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Спб., 1908. Вып. 2; Спб., 1910. Вып. 3.

[2] Венгеров С. А. Собрание сочинений. Спб., 1913. Т. 2. С. 143—164.

работкой в короткий промежуток между двумя лекциями, да еще при той крайней медленности, которая вообще характеризует творчество Гоголя? У него годами созревали даже самые мелкие по объему произведения. Лекции нельзя было высиживать годами, и оттого-то Гоголь так быстро и осекся. Банально он не хотел читать, а читать блестяще не хватало времени» [1].

«Жизнь» как ключевая статья и, более общо, как высокое философское понятие многое помогает понять во втором гоголевском сборнике. Те, кому удавалось найти этот ключ, открывали для себя новый мир — например, известный художественный критик В. Стасов, бывший в 1830-х годах студентом Училища правоведения, вспоминал впоследствии, что испытал «великое восхищение» не только от художественных произведений, но «и от исторических статей Гоголя, напечатанных в «Арабесках». «Шлёцер, Миллер и Гердер», «Средние века», «Мысли об изучении истории» — все это глубоко поражало меня картинностью и художественностью изложения. Что, кабы нам на этот манер читали историю в классе,— думал я сто раз, сравнивая статьи Гоголя с тою мертвечиною, тоской и скукой, какою нас угощали наши учителя под названием «истории», конечно и не подозревая, что у нас есть воображение, потребность жизни и пластичности» [2].

К этому еще следует прибавить, что сборник начинается «заздравною речью» (панегириком) в честь трех родов искусств — скульптуры, живописи и музыки, то есть опытом в области красноречия; кроме того, три статьи из него — «О средних веках», «Ал-Мамун» и «О движении народов в конце V века» — первоначально представляли собой лекции, произнесенные Гоголем с кафедры Петербургского университета. Широко известно, что на слушателей их, в том числе не только юных студентов, но и Пушкина, и Жуковского, эти лекции произвели чрезвычайно сильное впечатление. С течением лет, однако, впечатление как-то «стерлось», «размылось». Но стоит только попытаться прочесть их внятно вслух, как поблекшие как будто слова начинают на глазах обретать тугую плоть и звучать совсем по-иному; если же представить себе, каково было слышать их с кафедры из уст Гоголя, то мож-

---

[1] Венгеров С. А. Собрание сочинений. Спб., 1913. Т. 2. глава V: «Ложные представления о Гоголе-профессоре». С. 35—50.

[2] Цит. по: Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 397.

но хотя бы вообразить и подлинное воздействие. То же самое относится к более поздним, зачастую кажущимся чрезмерно назидательными в «немом» чтении статьям «Выбранных мест из переписки с друзьями». Однажды нам довелось слышать выступление литературоведа, в котором содержалось несколько довольно пространных выдержек из этой книги — и даже при внешне бесстрастном произнесении с трибуны они сразу захватывали слушателей целиком, так что на этих словах зал совершенно замирал.

Дело в том, что статьи во многом построены на испытанном тысячелетиями искусстве нравственной проповеди — гомилетики; подробное их исследование именно с этой стороны поможет, на наш взгляд, раскрыть множество заключенных в статьях-лекциях приемов, известных еще античным риторам. А коренится умелое владение ими Гоголем в том явлении, которые хочется рискнуть назвать «третьим южнославянским влиянием». Первые два из них имели место, как считается, в средние века: десять столетий назад при Кирилле и Мефодии и в XIV веке. Третье же, как нам представляется, началось с воссоединением в 1653 году Украины с Россией, после чего значительное число образованных южнороссов заняло проповеднические кафедры в русских соборах, учительские кафедры Славяно-греко-латинской академии и епископские кафедры в городах. В лучших своих образцах новые риторы, умело сочетая владение полученными через латинскую или греческую выучку древними навыками красноречия с хорошим знанием великорусской жизни, сумели создать значительные произведения отечественной словесности. Высшим деятелем «третьего южнорусского влияния» для XVIII века должен быть признан знаменитый духовный писатель, драматург и поэт Димитрий Ростовский, а вот для последней его эпохи, XIX столетия, таким вершинным созданием на наш взгляд является творчество Гоголя. И впервые во всем блеске подобное искусство выказало себя именно в «Арабесках».

Множество сторон своего дарования, которые явил Гоголь в этом сборнике, всегда удивляли вдумчивых исследователей своим могучим внутренним единством. Однако то отнюдь не было единство в «соразмерности», против которой писатель так ярко выступает в статье «Об архитектуре нынешнего времени», понимая под нею равнение по самому низкому образцу (вспомним, что в «Толковом словаре» Владимира Даля «равенству» выставлено послед-

ним синонимом «безразличие»). Единство это прежде всего художественное, при всей пестроте его обличий.

Здесь стоит еще раз вернуться к тому узору, который Гоголь собственноручно вывел на стенах васильевского дома. Дело в том, что художник он был не только в широком, но и в тесном смысле слова: недаром же и в двух из трех повестей «Арабесок» главными героями служат живописцы. Сам Николай Васильевич сделал успехи в рисовании еще в Нежинском лицее, где восемь лет обучался под руководством выпускника Академии художеств К. Павлова; затем еще три года посещал в Петербурге эту Академию как вольноприходящий — здесь он брал уроки у Василия Козмича Шебуева, возможного прообраза мудрого старца-иконописца в «Портрете» [1].

Но и к живописи, как к истории и архитектуре, подход у него был воистину неповторимо гоголевский. О посещении вместе с писателем Италии позднее П. В. Анненков вспоминал: «Под этими массами зелени итальянского дуба, платана, липы и проч. Гоголь, случалось, воодушевлялся как живописец (он, как известно, сам порядочно рисовал). Раз он сказал мне: «Если бы я был художником, я бы изобрел особого рода пейзаж. Какие деревья и ландшафты теперь пишут! Все ясно, разобрано, прочтено мастером, а зритель по складам за ним идет. Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его,— вот какие пейзажи нужно писать!» [2].

Впрочем, сам он в глубине души считал себя даже не просто художником, а портретистом, признаваясь в «Авторской исповеди»: «Я никогда не писал портрета в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения».

В свою очередь и живопись охотно принимала его в свое художественное пространство: известно, например, что в первоначальном варианте «Явления Мессии» Александра Иванова прототипом фигуры «ближайшего ко Христу» послужил именно Гоголь[3].

Итак, в «Арабесках» нашли творческое воплощение

---

[1] Молева Н. Загадка «Невского проспекта»//Знание — сила. 1976. № 4. С. 43.

[2] Анненков П. В. Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 104.

[3] Машковцев Н. Г. История портрета Гоголя//Гоголь. Материалы и исследования. М.;Л., 1936. Т. 2. С. 407—422.

главные направления пути, по которому будет впоследствии двигаться творческая мысль писателя: в «Ревизоре» и его «Развязке», в «Мертвых душах» и «Выбранных местах из переписки с друзьями». Не случайно тройка, которую требует на последней странице сборника безумец Поприщин, с полной необходимостью появится затем в конце первого тома поэмы. Неоплошно и в последние годы жизни, составляя план тома статей для собрания сочинений, который ему уже не суждено было увидеть напечатанным, Гоголь соберет в нем лучшие произведения из «Арабесок» и «Выбранных мест», поставив в начале «Жизнь». Наконец, многозначительно и следующее соответствие, отмеченное исследователем, сравнившим редакцию «Портрета» в «Арабесках» с позднейшей коренной переделкою повести: «Портрет I редакции, разделенный на две части, изобразительную и нравоучительную, показывающие падение и восстание человека — своеобразный прообраз «Мертвых душ», предвестие самого грандиозного из его замыслов» [1].

3

Отчего же тогда «Арабески» столь долго оставались под спудом, почему так мало внимания привлекал таинственный их узор? Сам Гоголь почти что пророчески писал в 1835 году М. П. Погодину об итогах своего первого проповедничества: «Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее... Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не знает. Вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнитесь с большею силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика...» «Бог с ними»,— начал он далее, но потом зачеркнул и поставил: «...и проч., и проч...»

Однако, несмотря на все это «прочее», книга молодого Гоголя выдержала на славу испытание забвением, она готова к новому пробуждению, чтобы — употребляя два излюбленных глагола ее сочинителя — «дышать» и «освежить». Первый из них он четырежды употребил от вос-

[1] Долгополов Л. К. Гоголь в начале 1840-х гг. («Портрет» и «Тарас Бульба» — вторые редакции в связи с началом духовного кризиса)//Русская литература. 1969. № 2. С. 87.

торга на тесном пространстве печатной страницы в статье о картине Брюллова, и четвертое это предложение счастливо оборачивается, говоря о самом своем авторе: «Его краски дышат... внутреннею музыкою».

Второй глагол звучит, когда в завершении статьи о малороссийских песнях рождается картина, чрезвычайно свойственная гоголевскому дару,— слово вырвалось широко за пределы описываемого явления, и вот уже не просто о народных песнях идет речь, но возникает образ того, что ждет в конце пути взыскующего «истины и жизни», близ которых труждающиеся и обремененные люди обретают обетованный покой: «По ним, по этим звукам, можно догадываться о... минувших страданиях, так точно, как о бывшей буре с градом и проливным дождем можно узнать по бриллиантовым слезам, унизывающим снизу до вершины освеженные деревья, когда солнце мечет вечерний луч, разреженный воздух чист, вдали звонко дребезжит мычание стад, голубоватый дым — вестник деревенского ужина и довольства — несется светлыми кольцами к небу, и вечер, тихий, ясный вечер обнимает успокоенную землю».

1987





КОЗЕЛЬЩАНСКОЕ ЧУДО



трашны и таинственны явления чудес, отверзающих вдруг прикровенные дотоле за внешностью материи бездны промыслительного попечения, океаны милосердия, неиссчетную милость, уготованные людям. Никогда не иссякали они и в избранной для искупления человечества нашей стране, а в трудные времена, какими без сомнения почитается последнее столетие, число их и сила, вопреки расхожим предрассудкам, возрастают. Более того, тем, кто привык к явлениям многовековой давности относиться скорее как ко благочестивому преданию, нежели чем живой реальности откровения, новейшие чудеса необходимо просветляют затемненное привычными сомнениями внутреннее духовное око.

«Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день»,— говорит апостол Петр во втором соборном послании[1], вспоминая слова псалма 89-го[2]; и вот уже исполняется тысячелетие того, как длится в Отечестве нашем этот чудный день, начавшийся светлым утром Крещения в днепровских водах, откуда обновленные праотцы вышли уже не племенем, но единым народом, где родился и доселе не иссякающий дух национального строительства и творчества. С тех пор и доныне православный человек никогда не имел недостатка в подтверждениях державного водительства цельного духа его всеми святыми, в земле Российской просиявшими.

«Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед, кто же бы сохранил до ныне свободны; не отступим, Владычице, от Тебе,

[1] 2 Петр. 3: 8.
[2] Псал. 89: 5.

Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых»,— поет и ныне русская церковь старинный греческий, по праву ставший родным тропарь Божией Матери, благодаря Небесную Заступницу родины за вся благая, явленная Отечеству в тысячелетнюю его историю после Крещения через тысячи путей, связавших нас с Нею: предстательство пред божественным Ее Сыном, святый Покров, благодать, молитву, а также и через столь почитаемые у нас богородичные иконы, явление которых никогда не прекращалось на Руси. Одно из позднейших подтверждений тому представляет собой чудотворная Козельщанская икона, 100-летие прославления которой исполнилось 21 февраля (6 марта) 1981 года.

Время явления нового образа совсем не случайно совпало со страшной трагедией в истории России — мученической гибелью царя-освободителя Александра II (что ставит ее также в ряд со знаменательным открытием другой чудотворной иконы Богородицы — Державной — обретенной в древнем великокняжеском селе Коломенском под Москвою в самый день отречения императора Николая II 2 марта 1917 г.). Ведь именно тогда, в конце XIX века, решалась судьба наступающего столетия и закладывались его основы. Это были переломные для Родины годы: решался коренной вопрос о том, удастся ли силам разрушения перемолоть хребет нации — или же она, переболев самой опасной за все ее существование хворостью, выработает в себе самой, в лучших из своих людей противодействие злу и найдет силы для выздоровления. Современник этих событий писал: «Враги предержащей власти и церкви употребляют все усилия, чтобы ослабить основы нашей религии и общественной жизни. Толпы каких-то новых, непризванных учителей идут в народ поведать ему слово какой-то новой проповеди, еще не слыханной в избе нашего крестьянина, с целью перевернуть его верования и убеждения по своей безумной программе. Встречая в нашей православной церкви и ее святом учении одно из главнейших нравственных препятствий для успеха своей проповеди, а в государственном устройстве — фактическую силу, стесняющую их замыслы, они стремятся всеми мерами унизить значение церкви, подорвать в народе доверие к богоустановленной власти, чтобы таким образом без всяких тормозов и преткновений делать свое темное дело. События 1 марта[1],

[1] 1 марта 1881 г. был злодейски убит император Александр II.

так недавно свершившиеся пред глазами нашими; появление среди нашего единоверующего православного народа штундизма, шалопутства и пашковщины, есть непреложное доказательство того, что мы имеем дело с какою-то кромешной силою, фактически заявившею и свое существование, и свой характер. Само собой разумеется, что для того, чтобы успешно бороться со злом, которое силится ратоборствовать пред глазами нашими, нужна сила, противящаяся распространению зла, то есть та сила, которая могущественно поддержала бы в народе авторитет нашей православной церкви и власти, покорной этой церкви, авторитет ее святости и высокого водительства. Кто же лишит нас искренней уверенности в том, что события, совершающиеся в настоящее время пред новоявленным образом Божией Матери, суть именно одно из могущественнейших средств, ниспосланных от Бога, с одной стороны, с целию укрепить в вере слабых, а с другой — показать народу, что его вера и его убеждения, как не зараженные еще тою безумною проповедью, которая силится растлить народ, истинны и святы? И едва ли со стороны нашей будет натяжкой, если мы решимся утверждать, что современное брожение мысли и современная шаткость убеждений, коснувшиеся и самого народа нашего, побуждают последний искать для себя опоры именно там, где виднее знамение Божие, Божий перст, указующий путь к успокоению его ума и его мятущегося сердца...

С этим же самым чувством надежды на помощь Божию смотрит наш народ на новоявленный образ Божией Матери, пред которым совершаются великие знамения благодати Божией, и укрепляемый в своей вере и преданности церкви православной знамениями этими, назидательную повесть обо всем виденном и слышанном разносит по всему краю нашему...» [1].

И слава о чудесах от Козельщанской иконы распространялась исключительно быстро — что несомненно свидетельствует о неутолимой молитвенной жажде и уповании православного человека. «В то самое время, когда темная вражья сила всячески старается посеять в земле Русской мрак неверия и ересей, свыше ниспосылаются благодатные явления, всенародно свидетельствующие о святости нашей веры и Церкви, о том, что благодать Божия неиз-

[1] Гаврилков С., прот. Козельщанский образ Божией Матери. Изд. 9-е. Полтава, 1885. С. 65—67.

менно пребывает в них и не оставляет земли Русской. К числу таких знаменательных событий принадлежит и возникновение «Божьего уголка» в Козельщине, и чудеса, совершившиеся и совершающиеся здесь, у лика новоявленной иконы Богоматери. Ни один поезд не проходит теперь без остановки мимо этого места, у которого три года назад устроена станция; ни один пассажир не проезжает без крестного знамения и молитвы, для чего велят себя даже будить ночью. Каждый состав привозит сюда и увозит домой десятки, а в иное время и сотни пассажиров... Пусть же шире и шире прославляется этот «Божий уголок» по всей земле нашей, пусть знают «алчущие и жаждущие правды» Русские люди, где им иметь удовлетворение своей благостной жажды»,— рассказывали уже в начале нашего века про обитель новой святыни, всего двадцать два года по открывшем ее чуде, произошедшем в скромном до того имении графов Капнистов — деревне Козельщина Полтавской губернии, основанной во второй половине 18 века и едва насчитывающей к тому времени тысячу жителей[1].

* * *

Род Капнистов вел свое происхождение от грека Петра Капнисси с итальянского острова Занте, который в XVII веке был полковником венецианской службы. Сын его Стомателло в 1702 году получил графский титул, а другой сын в 1711 году выехал в Россию, где стал зваться Василием Петровичем, вступил в русскую армию под именем Капниста, был в ней бригадиром и погиб в 1757 году в знаменитой битве — «деле» под Гросс-Егерсдорфом. Один из детей Василия Петровича — Василий Васильевич — известный российский поэт времен Екатерины II и АлександраI; он приходился свояком Г. Р. Державину, а сын его Степан Васильевич был литературным секретарем «росского Пиндара» в последние годы его жизни[2]. Другой сын Василия Васильевича, Иван Васильевич (+1860 г.), был смоленским и московским губернатором, сенатором; а внук Владимир Иванович владел Козельщиной, которая в XIX веке перешла по дарственной

[1] Волыиец А. (псевдоним Алекс. П. Липранди). Божий уголок//Московские ведомости, 1903. № 166. 19 июня.

[2] Сочинения Державина, изд. Я. Гротом. Спб., 1876 г. Т. 6. Переписка и «Записки». Алфавитный указатель. С. 818 и passim.

записи Павла Ивановича Козельского (1793—1879) жене графа Владимира Ивановича — Софье Михайловне[1]. При этих последних владельцах и произошло сто лет назад прославление находившегося в семье фамильного образа Божией Матери, получившего с тех пор имя Козельщанской иконы...

На масленой неделе 1880 года граф Владимир Иванович получил уведомление о том, что дочь Мария, пятнадцатилетняя воспитанница Полтавского института, больна. По приезде в Полтаву он нашел, что она получила вывих в ступне ноги. Врачи поначалу сочли болезнь неважною, но в первый день Пасхи у нее искривилась и другая нога. По совету известного харьковского хирурга Груббе, который сделал для больной перевязку и особые стальные башмаки с пружинами, охватывавшими ногу выше колена, семья отправилась на Кавказ для излечения минеральными водами. Здесь доктор Иванов нашел болезнь весьма серьезною, признал повреждение спинного мозга во всю его длину, а также и природные вывихи костей не только в ногах, но в плечах и левом бедре; он указал на лучших врачей в Москве, Петербурге и за границею, к которым советовал обратиться за помощью. Между тем больная возвратилась с Кавказа еще более расслабленною, силы ее упали, девочка потеряла всякую чувствительность в руках и ногах, не ощущая даже уколов.

Лучшие врачи в Москве, в том числе прославленные профессора, доктора медицины П. Склифосовский, К. Павлов, А. Каспари, С. Корсаков, многократно осмотрев ее, объявили родителям по взаимном совещании, что медицина пред болезнью их дочери чувствует свое бессилие, но посоветовали все же попытаться лечить больную за границей у Гютера, указывая при этом и на европейски знаменитого профессора Шарко в Париже.

Вскоре, однако, представился случай обратиться к помощи Шарко, не прибегая к утомительному далекому путешествию: выдающийся московский промышленный деятель и благотворитель Иван Артемьевич Лямин (на его средства в Москве и Подмосковье было построено много богоугодных заведений, приютов, открыты храмы) вознамерился вызвать французского специалиста к больной до-

[1] Гербовник, XIII, 13; Родословная книга Харьковской, Полтавской и Черниговской губерний, часть V; Энциклопед. словарь изд. Брокгауз-Эфрон. Спб., 1895. Пт. 27. С. 387.

чери своей — г. Остроумовой. Но так как до его приезда оставалось продолжительное время, уставшую от продолжительных осмотров и безуспешного лечения девочку отправили с матерью домой в Козельщину, а Владимир Иванович неотлучно пребывал в Москве, ожидая прибытия профессора.

...21 февраля, когда в имении собрались по какому-то случаю гости, была наконец получена телеграмма от отца из Москвы, вызывавшая скорее к нему, так как Шарко был уже на пути в город. Известие это встревожило больную: не окажется ли и заграничный профессор, как и другие, бессильным?.. Мать девочки, решив ехать на следующий же день, сказала ей: «Маша, мы завтра едем в Москву, возьми образ Божией Матери, почисть его ризу и покрепче помолись перед нашей Заступницей. Проси, пусть поможет нам благополучно совершить путь и излечить твою болезнь». И больная девочка, потерявшая надежду на земных врачей, все упование возложила на Бога и вверила свою судьбу Небесной Его помощи. Взяв родовой образ Царицы Небесной, Маша стала молиться Заступнице скорбящих, Взыскательнице погибающих...

Семейная икона Божией Матери издавна пользовалась в окрестности славой и имела замечательную историю, фамильное предание о которой было записано в книжке-дневнике В. И. Капниста[1]. Павел Иванович Козельский, давший имя Козельщине и позже подаривший это имение и свою икону Капнистам, происходил, по местным сведениям, из рода запорожца Сиромахи[2]. Сам старик Козельский не раз передавал Владимиру Ивановичу, что его предок Сиромаха был в свое время войсковым писарем (начальником штаба) у гетмана Полуботка. По окончании присоединения Запорожья к России в царствование императрицы Елизаветы Петровны (1741—1761) гетман Полуботок находился в Петербурге, где ему было предложено подписать отречение от гетманства с обещанием значительного имущественного вознаграждения. Когда гетман отказался, соответствующее предложение было сделано и войсковому писарю Сиромахе. Он его принял, и ему было предоставлено выбрать любые пустые земли в

[1] Приводится в книге прот. С. Гаврилкова «Козельщанский образ Божией Матери». Изд. 9-е. Полтава, 1885. С. 75—77.

[2] «Сиромаха — у кого нет отца либо матери или нет обоих — сирота» (Толковый словарь Вл. Даля).

Запорожье. Сиромаха указал участок между реками Ингулом и Вербовой, который и был ему подарен (впоследствии именно этот участок с возникшими на нем к тому времени поселениями Николаевкой и Михайловкой перешел по наследству к П. И. Козельскому). Отличенный и обласканный императрицей, Сиромаха, по ее желанию, был обвенчан в Петербурге с одной из фрейлин из какого-то итальянского рода, фамилия которого не сохранилась. Однако, судя по портрету жены Сиромахи, хранившемуся у Капнистов, женщина эта была несомненно южного происхождения.

Вскоре по возвращении на полтавскую землю с мужем, молодая итальянка умерла. В семье Козельского с тех пор всегда существовало предание, что чтимый образ Божией Матери принадлежал жене Сиромахи. К этому убеждению приводило еще и то обстоятельство, что письмо образа напоминало итальянскую живопись современной описываемым событиям школы. Когда и кем была сделана серебряная массивная риза, тоже не было известно в точности, но предполагалось, что она была выполнена около 1780-х годов по заказу матери Павла Ивановича — Параскевы Дмитриевны Козельской.

Божия Матерь изображена на иконе сидящей, в поясном виде; на коленях ее полулежа покоится предвечный Младенец, держащий в правой руке крест. В левом углу представлена часть стола, на котором стоит чаша и лежит лжица. Эта особенность отличает ее от других образов Божией Матери, ибо подобной иконы еще не было между чудотворными. Можно предположить, что художник имел в виду указать на младенца Христа как на будущего установителя таинства святого Причащения. По другому толкованию считается, что они написаны на стих акафиста Богородице: «Радуйся, Чаше, черплющая радость».

Акафист Козельщанской Божией Матери, составленный позднее, так поэтически говорит об этой особенности новоявленного образа:

«Имуща Пресвятая Владычица на руках Своих Младенца Иисуса радостно крест держаща, при Нем лжицу и чашу близ стоящую» (Икос 3-й).

Икона вышиною 8,75 вершка и шириною 6,75 вершка без рамки (вместе с позолоченной рамкою, сделанной впоследствии, в 1881 году, известным мастером серебряного ряда с Никольской улицы Москвы

Постниковым,— она имела 10 вершков вышины и 8 ширины[1].

Исстари в семье сложилось поверие, что, кроме помощи в болезнях душевных и телесных, чудотворная икона в особенности помогала прибегавшим к ней молодым девушкам, желавшим устроения своего семейного счастья. При этом установился обычай, чтобы молящийся чистил ризу на святой иконе, вытирая ее осторожно ватой или чистым полотенцем. Неудивительно, что риза на образе Богоматери всегда была свежа и горела как солнце.

...И вот, прижав ко груди святую икону, больная девочка протерла ее с помощью матери: оставшись наедине, всю скорбь и отчаяние души излила в молитве пред ликом Божией Матери. И усердная, пламенная молитва была услышана. Страдавшая вдруг почувствовала восстановление сил и возвращение здоровья, чудесно возобновились ощущения омертвелого было тела. В радости Маша закричала: «Мама, мама! я чувствую ноги. Мама! я чувствую руки...» — и стала срывать с ног стальные восьмифунтовые бинты и упорки, сделанные ей врачами. На крик больной и радостные вопли матери сбежались все, бывшие в доме, и глазам их представилась необычайная картина. Расслабленная до того времени пятнадцатилетняя девочка явилась совершенно здоровою, крепкою, расхаживающею по комнате с целью уверить всех и каждого, что ее болезнь не существует, что она вновь имеет руки и ноги послушными себе, что она стала таким же здоровым человеком, как и все, с недоумением на нее смотревшие. Маша принялась свободно ходить, продолжая благоговейно держать в руках своих образ Божией Матери. Немедленно приглашен был приходский священник, и перед образом совершен благодарственный молебен. Радостное событие скоро сделалось известным в окрестных селах. Не смея скрыть своего счастья, которому будто еще не до конца поверили и оттого желали еще решительнее в нем убедиться вместе с другими людьми, мать и девочка отправились в Москву, взяв с собою святую икону.

Лечивший прежде больную сонм врачей признал ее теперь здоровою. При этом проф. Склифосовский выразился, что он смущен виденным и не может с научной точки зрения объяснить случай выздоровления. Сам при-

---

[1] Вершок равен 4,45 сантиметра.

бывший в столицу Шарко, знаменитость по части лечения нервных болезней, назвав недуг дочери Капниста истерией, отказался объяснить вывихи, бывшие в ее руках и ногах, и также мгновенное от них исцеление. При этом еще сказал, что ничего подобного не встречал в своей практике. «Если бы,— прибавил он,— отец, мать, дочь и доктора, лечившие больную, не были сами свидетелями-очевидцами ее болезни и сами же не рассказали мне о ней, я все слышанное счел бы за мистификацию» [1].

Слух об исцелении быстро распространился по городу, и в Лоскутную гостиницу, где остановилось семейство графа с больной и новоявленным образом, стал стекаться народ[2]. Вот как рассказывал об этом сам В. И. Капнист в письме к своей сестре: «Религиозная Москва, заслышав о чуде от святой иконы, двинулась к нам в Лоскутную на поклонение образу. Тьма-тьмущая публики засыпала нас грудами карточек, выражая горячее желание поклониться святыне и хотя на минуту привезть икону к их больным домашним. Распространилась молва об исцелениях в Москве: два-три случая поразительные я сам знаю. Многие предлагали содействовать украшению иконы или устройству церкви, и предложениям не было конца. Не буду описывать, до какой степени все это поразило и потрясло меня. Но когда, с дозволения преосвященного Алексия, я дал нашу дорогую икону для всенародного поклонения в церковь, когда я увидал тысячи молящихся, когда я услыхал и от священника, и от старосты, что они не запомнят такой толпы молитвенников,— я был поражен величием благоговения православного народа к религиозной святыне, а вместе и величием совершившегося события. Всё это происходило как раз в роковое время, в первых числах марта, возбуждая в скорбной душе покаяние в грехах и молитвенное упование на благодатное покровительство и заступление Божией Матери... Теперь много более я стал религиозен, чем каковым был. Молюсь и нахожу удовлетворение в молитве. Да сохранит и не оставит Вас своими молитвами Царица Небесная» [3].

---

[1] Гаврилков С., прот. Козельщанский образ Божией Матери. Изд. 9-е. Полтава, 1885. С. 19.

[2] Здание гостиницы ныне снесено, она находилась на месте современной Манежной площади.

[3] Таврические епархиальные ведомости. 1881. № 13 и 14.

Семейство Капнистов ночью выехало из Москвы с иконою и возвратилось в свое имение в последних числах марта. Как только икона была привезена в Козельщину, в дом графа явилась слепая девица, живущая по соседству, и объяснила графине, что ей во сне было приказано идти в их дом и помолиться чудотворной Богоматери. Софья Михайловна вынесла икону, пред которой та долго и усердно молилась. Через несколько дней та же девица пришла опять и заявила, что стала видеть и теперь видит обоими глазами[1]. Вскоре после того толпы богомольцев стали спешить в Козельщину.

Хранить далее икону в доме не было возможности, и с разрешения Высокопреосвященного Иоанна, архиепископа Полтавского, 23 апреля 1881 года она была перенесена в нарочно для того устроенную часовню в саду, в которой и находилась около года, пока не была выстроена церковь. Каждый день с раннего утра не умолкало пред образом молебное пение и чтение акафистов. Об этом времени очевидец вспоминал: «В небольшой часовне образ стоял среди сотни свечных огоньков, зажженных набожных усердием богомольцев... Только среди этих молящихся, видя их лица, их глубокое религиозное чувство, отпечатлевающееся во взоре, в глубоких земных поклонах, в том благоговении, с которым каждый опускает в выставленную кружку малую и крупную лепту своих посильных пожертвований или вешает тут же пред иконою аршин холста близ висящего уже там грошового платочка,— понимаешь вполне все могущество того религиозного чувства, которым руководствуется наш народ, сплачиваясь этим чувством во что-то одно великое, во что-то такое, пред чем невольно сознаешь все свое бессилие, слабость своей личной веры и своего личного религиозного чувства...»[2].

В праздник Рождества Богородицы, 8 сентября того же 1881 года, невдалеке от часовни, на вершине высокого холма, царящего над окрестностию, была заложена деревянная Богородицерождественская церковь, освященная уже год спустя; 9 сентября 1882 года в ней был освящен также придел Марии Магдалины, а 16 февраля 1898 го-

[1] Сергий, архиепископ Владимирский и Суздальский, докт. богосл. Православное учеиие о почитаиии святых икои. Изд. 4-е. Спб., 1913. С. 150.

[2] Гаврилков С., прот. Козельщаиский образ Божией Матери. Изд 3-е. Полтава, 1885. С. 25.

да — и придел Николая Чудотворца. Участник закладки храма рассказывает: «Нужно было быть в это время самому свидетелем торжества, видеть эти десятки и тысячи народа, сопутствующего святому образу, чтобы вполне оценить всю ту силу веры, которая движет русскими людьми, которая так сильно объединяет их мысли и желания, которая в известные моменты их жизни делает эти тысячи одною семьей, проникнутой одним и тем же дорогим для них священным чувством!.. Смотря на эту громадную толпу, благоговейно склонившую головы пред образом Богоматери, мне невольно приходило на мысль: какая великая сила заключается в той вере, которою живет наш народ, и чего не можно сделать с этой силой, умея только уважать в русском человеке его религиозные убеждения, как его святыню и драгоценность» 1.

Тому же паломнику посчастливилось участвовать и в освящении храма на следующий год, совершенном Высокопреосвященнейшим Владыкой Иоанном, архиепископом Полтавским и Переяславским: «Западное церковное крыльцо, поднятое на несколько ступеней, открывало взору наблюдателя все обширное пространство раскинутого перед ним холма, который в день освящения буквально был усеян народом. Начиная от стен церковного здания народ густою толпой занимал весь погост, толпился на склоне горы, покрывая всю площадь, расстилался у подошвы холма. На всем этом обширном пространстве видны были одни только человеческие головы, которые, то возвышаясь в одном месте, то понижаясь в другом, обозначали неровности занимаемой ими долины. Представьте же себе среди этой обстановки святителя православной Церкви, с крыльца храма, как бы с некоей кафедры, благословляющего эти тысячи народа, склонившегося под его святительское благословение. И вся эта величественная сцена совершается под кроткими лучами заходящего солнца, среди необычайной тишины. В воздухе спокойно, не шевелится ни один листок на дереве, среди громадной толпы не слышно ни одного звука или человеческого голоса: только благоговейное внимание видится во взоре народа, пристально устремленном на своего архипастыря. Да, такие минуты не скоро забываются!..» [2]

Молва о новоявленной чудотворной иконе прошла по

[1] Гаврилков С., прот. Козельщанский образ Божией Матери. Изд. 9-е. Полтава, 1885. С. 70.
[2] Там же. С. 73.

всей православной стране. В Козельщину потянулись паломники, ища утоления духовной жажды, исцеления недугов души и тела. Горячее, исполненное веры и любви обращение находило ответ, и многие искренние молитвенники получали у образа помощь и избавление от страданий. Время для России было исключительно трудное, переломное, решающее; особенно нуждались в духовной поддержке крестьяне и другие жители сельских мест и небольших городов, составлявшие основу народа[1]. Чудесные случаи выздоровления у иконы, о которых всенародно рассказывали сами исцеленные, руководствуясь словами Писания: «Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально» (Тов. 12: 7), записывались в особую книгу с обязательным подтверждением достоверными свидетелями и печатями. Два раза приезжала из Полтавы для исследования верности сведений об исцелении нарочная комиссия из духовных и гражданских лиц, называвшаяся в духе того рационалистического времени «Комиссией по расследованию чудес» [2]. Во время второго посещения Козельщины духовными следователями в их присутствии был исцелен больной мальчик. Всего же было обследовано 21 чудотворение, произошедшее в 1881—1882 годах; впоследствии они были описаны в книжке «Козельщанский образ Божией Матери», изданной впервые в Полтаве в 1884 году протоиереем Саввой Гавриловым. В девятом издании той же книги, вышедшем в следующем 1885 году, зафиксированы уже 27 чудотворений, а в 12-м издании в 1887-м — 37. Знаменательным представляется, что большинство получивших духовную и телесную поддержку у Козельщанского образа, составляли дети и молодежь — надежда и будущее страны; а среди болезней, одержание которыми чудесно избавлялось благодатью, преобладали душевные и нервные. Составленный

[1] См., например, интересное исследование духовных недугов русской деревни конца XIX-начала XX в. в книге М. Ю. Лахтина «Бесодержимость в современной деревне». М., 1917. Примеры выздоровления от душевных болезней у святых икон, приводимые в этой работе, особенно убедительно звучат в контексте того, что сам автор-психоаналитик, один из первых отечественных последователей учения Фрейда, по всей видимости, не принадлежит к православному вероисповеданию. Вывод, к которому он приходит, таков: «Разрастание эпидемий бесодержимости в современной русской деревне является ответом, в особенности женской ее части, на революционное брожение последних десятилетий».

[2] Гаврилков С., прот. Козельщанский образ Божией Матери. Изд. 9-е. Полтава, 1885. С. 58.

позже Акафист Козельщанской Божией Матери так словами духовной поэзии отражает это: «Воссия солнца светлейша дивная икона Твоя, Владычице, толикое множество чудес являеши Ты, Пречистая: отрок недвижим прикосновением мгновенно исцелися; жена некая, имуща дух недужен, расслабленна на одре лежаща, с верою прикоснуся святой иконе Твоей, спасена бысть от недуга своего... Ты бо, Пречистая, бесные исцеляеши, хромым даруеши хождение, и слепым прозрение, и всяк недуг врачуеши» (Икосы 6-й и 7-й).

Замечательный символ действия чуда на духовное прозрение человека являет бесхитростный рассказ совершившего троекратное паломничество в Козельщину слепого крестьянина. Когда он в третий раз как будто тщетно возвращался оттуда с поводырем домой, все так же незрячий телесно, как слеп был духом и свирепый гонитель христиан Савл по пути в Дамаск, с ним вдруг, как некогда с ветхим Павлом, по его словам: «Совершилось что-то необычайное. В глазах появился свет, так что я поневоле заслонил их ладонью. Когда же опустил руку, то ясно начал различать окружающие меня предметы. Сначала, не веря себе, долго молчал, страшась, что чудо исчезнет. Потом пошел сам, без поводыря, и тогда понял, что Господь по молитве Царицы Небесной сотворил со мной чудо, и с глубокою благодарностью к Заступнице всех скорбящих и обремененных я пал на землю и начал молиться...»[1]

Не могут не тронуть благочестивую душу и истории о таких исцелениях, когда окованные нервным параличом руки молящихся обретали вновь силу с первым крестным знамением, совершенным со страшным усилием перед Козельщанской иконою; когда онемелый было язык обретал снова способность говорить, а падучая болезнь прекращалась у образа с последним припадком,— после чего облагодатствованный человек рассказывал о том народу по всей России. А исцеленной от одержания нечистым духом маленькой девочке из украинского села вскоре после того трижды являлась сама Матерь Божия и ласково, заботливо спрашивала ее: «Ну, что ты, Поля, здорова?» —«Здорова, но только глаза болят»,— отвечала та. «Это пройдет,— говорила ей Божия Матерь,— не бойся и молись!»

---

[1] Гаврилков С., прот. Козельщанский образ Божией Матери. Изд. 9-е. Полтава, 1885. С. 31—32.

Теплая молитва помогала и тогда, когда скорбящие люди, не имея возможности совершить путешествие в Козельщину, обращались с нею к распространившимся спискам с иконы и даже ко сделанным с нее фотографиям. Примечателен рассказ отца больной дифтеритом девочки о том, как возложенный на нее образок вдруг оказался страшно тяжел, когда его стали убирать из опасения, что он может помяться; однако, употребив усилие, его все-таки сняли с тела больной, и тут Богоматерь, взяв на себя всю тяготу боли, исцелила ребенка... Молва о помощи от новоявленного образа достигала самых отдаленных уголков Отечества, так что страждущим телом и скорбным душою людям, оставленным докторами, иногда достаточно было (как в одном известном случае) дать книжку со списком иконы и описаниями ее чудес, сказав: «Вот вам доктор!» — и человек, до того столь остро пораженный страхом одиночества и истерией, что не мог и строчки прочесть печатной, выздоравливал, прочтя эту книжку в один присест[1].

Сила, пребывающая пред образом, именуемым Козельщанским, оказывала особое покровительство священнослужителям и недугующим членам их семей; некоторые иереи нарочно приезжали в Козельщину совершить молебен или отслужить обедню в Богородицерождественском храме, где находилась икона. Известны исцеления священников прямо во время совершения ими литургии[2]. Замечательные чудотворения продолжались и в дальнейшем, множество их было записано и опубликовано[3].

Русская православная церковь с благоговением приняла новое свидетельство. Воздавая благодарность «за всех и за вся», прот. С. Гаврилков, обращаясь к истории Отечества, приходил к таким заключениям: «Мы хорошо знаем, что как история нашей Церкви, так и история

---

[1] Гаврилков С., прот. Козельщанский образ Божией Матери. Изд. 12-е. Полтава, 1887. С. 65—68.

[2] Там же. С. 61—70.

[3] См: Ковалевский А. Ф. Путешествие богомольца в Козельщину и в Киев//Душеполезное чтение. 1883. Ноябрь-декабрь; Поучение на Успение Божией Матери//Душеполезное чтение. 1883. Август; Душеполезное чтение. 1886. Август. С. 436—441; Астраханские епархиальные ведомости. 1886. № 13; Брояковский, о. Серапион. Чудотворный образ Козельщанской Божией Матери. Киев, 1901. С. 1—57; Козельщанская икона Божией Матери. М., 1909. С. 1—15 и др.

нашего государства ясно свидетельствуют о том, что в эпохи умственных колебаний и оскудения веры, во времена упадка общественного единодушия, в то время, когда бедствия принижали народ, отнимая у него бодрость и гражданское мужество, на помощь русским людям нередко являлась сила Божия. В малозаметных по виду событиях, совершавшихся в скромных уголках нашей родины и имевших будто бы местное значение, Господь уготовлял для России ту действительную силу, которая впоследствии имела неотразимое влияние на судьбы всего народа, руководя его на пути нравственного и гражданского преуспеяния. Можно ли было предполагать современному поколению, что на месте двух пещер, устроенных на Киевских горах двумя убогими иноками, с течением веков воздвигнется та русская святыня, которая станет крепким оплотом нашего православия и первым источником просвещения в отчизне нашей?.. Могли ли предугадать поселяне, молившиеся вместе с преп. Сергием при лучине в маленькой деревянной церквушке, срубленной руками десятка монахов, что тут вырастет та родная Лавра, которая силою своего нравственного влияния спасет Россию в тяжелую годину самозванцев и привлечет на защиту родины Минина, Пожарского и весь народ русский, крепко сплотившийся вокруг своих вождей?.. Кто мог сказать наверное, что святая икона Богоматери, обретенная в 1579 году в Казани маленькою девочкой, будет когда-то тем многознаменательным центром, около которого сплотится Русь в решительные лета 1611-е и 1812-е?..

Если же действительно верно то — а это для нас несомненно — что Господь, хранящий нашу страну в трудное для нее время, посылал Свою невидимую помощь то в прославлении наших обителей, то в явлениях св. чудотворных икон,— то кто заставит нас не верить, что и в настоящих событиях, совершающихся у святого образа, пред которым тысячи верующих преклоняют свои колена в молитве, не заключается та таинственная сила Божия, что готовит защиту для нашей православной Церкви и для нашего православного народа?..»[1]

Определением Святейшего Синода от 1 марта 1885 года при козельщанской Рождество-Богородичной церкви

[1] Гаврилков С., прот. Козельщанский образ Божией Матери. Изд. 9-е. Полтава, 1885. С. 63—67.

была учреждена женская община, открытая 4 июня 1886 года. Первыми насельницами ее стали 20 сестер, прибывших из Золотоношского Богословского монастыря (Киевской епархии) во главе с будущей игуменией Олимпиадой (Дмитриевой). С тех пор судьба далекого монастыря крепко связалась с чудотворным Козельщанским образом Божией Матери. Община была открыта епископом Илларионом, викарием Полтавской епархии, который сказал в слове, произнесенном по сему случаю на литургии: «Вера подвигнула и бедность, и богатство к посильным жертвам для созидания и благоукрашения сего святого храма, дома пренепорочной Царицы Небесной. Приидите и видите,— взываю к вам словами Пророка.— «Приидите и видите дела Божии, яко положи чудеса на земли» (Псал. 45:9)» [1].

Радостное торжество происходило при столь значительном для небольшого села стечении богомольцев, в несколько раз превысившем все население его, что для счета паломников (или, как их здесь ласково зовут — «поклонников»), которым была дана бесплатная трапеза после праздничной службы,— использован был прямо-таки евангельский по духу способ: «По числу белых хлебов, разложенных по столам отдельно для каждого обедавшего, оказалось, что участвовавших в братском обеде было три тысячи душ» [2].

Рассказывающий об этом участник церковного праздника заключает: «Наш русский православный народ остался тем же самым народом, каковым был в продолжение всего своего исторического существования, со всею крепостию той веры, которой не перестает сопутствовать сила, способная творить чудеса — передвигать горы с их крепких оснований... Храни, православный русский народ, свою веру в Бога и свое глубокое упование на Его всеблагий Промысел, как неоценимое сокровище, дарованное тебе от Самого Господа. Полный любви и милосердия к Тебе, Господь, не хотяй смерти грешника, но еже спастися ему и в разум истины приити, своими знамениями и чудесами среди твоей Церкви православной, у этого святого образа Царицы Небесной указывает тебе со всею

[1] Четвертое июня 1886 г. или день открытия при козельщанской Рождество-Богородичной церкви женской общины, и слово, на литургии по сем случаю в той же церкви произнесенное. Сост. прот. С. Гаврилков. Полтава, 1888. С. 29.

[2] Там же. С. 17.

ясностию, где и в ком ты должен искать своего спасения»[1].

В Уставе общины были знаменательные слова о том, что: «Долг каждой сестры — жить в страхе Божием, благочестии и послушании, обращаться всегда с молитвою ко Пресвятой Деве Богородице, обитающей среди них в Своей чудотворной иконе, и привлекать Ее благоволение чистотою мысли и сердца, кротостию, смирением и терпением. Сестры должны принимать с любовию поклонников Богоматери и памятовать, что добросердечное слово их далеко с ними пойдет и скажется другим в назидание...» (§ 3, 4, 13 и 36)[2].

17 февраля 1891 года община была преобразована в Козельщанский Рождество-Богородичный нештатный женский монастырь. Благодаря усердным молитвам насельниц и прихожан, и приносимым, конечно, не от избытка, а чаще от лишения своего непрестающим народным лептам, монастырь быстро достиг преуспеяния и сделался всероссийски известным местом, новой обителью православия, снискавшей славу по всей стране. В дополнение к летней деревянной пятиглавой Рождество-Богородичной церкви в 1887—1891 годах была выстроена и каменная зимняя теплая церковь во имя Преображения Господня с приделами святого Николая-чудотворца и святой мученицы Елисаветы (последний создан на средства жертвовательницы и благотворительницы Елисаветы Ивановны Котельниковой). В 1887 году был построен двухэтажный кирпичный страннoприимный бесплатный дом и гостиница для богомольцев, в 1888 году — школа иконописания для способных сестер обители, в том же 1888 году появилось двухэтажное кирпичное здание, в котором были основаны двухклассная бесплатная женская церковноприходская школа с общежитием и одноклассная мужская. Для духовного просвещения народа, кроме постоянных бесед в трапезной собора, был также выстроен павильон публичных чтений. К началу XX века при игуменье Агнии в монастыре было 14 монахинь и 63 послушницы, и число их постоянно росло[3].

[1] Четвертое июня 1886 г., или день открытия... С. 18—19.

[2] Цит. по книге: Козельщанский Рождество-Богородичный монастырь Полтавской епархии. М., 1895. С. 42—44.

[3] Православные монастыри Российской империи. Сост. Л. И. Денисов. М., 1908. С. 682; Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Рос-

Наконец в 1900—1905 годах на месте деревянного соборного храма был воздвигнут грандиозный шестиглавый каменный собор Рождества Богородицы вместимостью в 1700 человек. Автором проекта его, составленного в духе национального русского зодчества XVII века, был епархиальный архитектор С. В. Носов, расписывал московский ученый-археолог и иконописец Василий Павлович Гурьянов. На освящении собора присутствовала ставшая уже взрослой 30-летней женщиною М. В. Капнист — «виновница» торжества[1].

В книге «Дневник императора Николая II 1890—1906 гг.» (Берлин, «Слово», 1923; переиздание— «Лев», Париж, 1980) на странице 147 находятся в числе прочих следующие слова: «4 мая 1904 г. ... Около 4 час. выехали дальше в Полтавскую губернию. В 10 час. поезд остановился на станции Козельщина, где мы ночевали. Погода позже поправилась. Зелень здесь чудная, сирень цветет, фруктовые деревья все белые.

5-го мая. Среда. Ночью было холодно. Встали рано и в 7 1/2 пошли на гору в Козельщинский женский монастырь, где приложились к чудотворной иконе Божией Матери. Зашли к настоятельнице и вернулись в поезд в сопровождении огромной толпы».

20 июня 1904 года была освящена и первая Козельщанская церковь в Москве, построенная известным архитектором академиком Сергеем Иустиновичем Соловьевым при Медведниковской больнице на Большой Калужской улице. Нарядное церковное здание, созданное по мотивам новгородско-псковской архитектуры, выходит фасадом на улицу, оно увенчано одним куполом и трехглавой звонницею в стиле ростовских церквей XV века; вместе с соседнею, стоящею торцом к проезжей части Тихвинской церковью, Козельщанский храм входил в комплекс Медведниковских благотворительных учреждений (больницы и богадельни имени И. Л. и А. К. Медведниковых). С самого построения и по сю пору комплекс (ныне владение № 27 по Ленинскому проспекту) почитается значительным памятником архитектуры начала XX века[2].

сийской империи. Спб., 1890. Вып. 1. № 53. С. 90.

[1] См.: Церковные ведомости. Спб., 1903. № 12 и 1905. № 3.

[2] Московские церковные ведомости. 1904. № 1, 26, 46; Путеводитель по Москве, изд. Моск. Архитектурным обществом для членов V Съезда зодчих в Москве. Под ред. И. П. Машкова. М., 1913. С. 288

Козельщанской иконе Божией Матери была составлена Служба на 21 февраля и Акафист[1].

* * *

Козельщанское чудо прошло через все бедствия века, разделив их с Отечеством — подобно Божией Матери на иконе ее Умягчение злых сердец, принимающей в свое сердце семь направленных отовсюду стрел-мечей бесовской злобы и людской неблагодарности...

В начале 1923 года была закрыта московская Козельщанская церковь. В газете «Известия» от 24 мая этого года читаем выразительное свидетельство: «Ликвидация больничных церквей. Ввиду того, что учреждения религиозного культа не могут состоять при государственных учреждениях, отдел управления Моссовета в настоящее время проводит работу по ликвидации всех домовых церквей при больницах. Уже ликвидированы домовые церкви при Медведниковской, 1-й и 2-й Градских больницах и при Школе сестер милосердия на Собачьей площадке. В ближайшее время будет ликвидировано еще свыше 20 подобных церквей».

Ныне в доме № 27 по Ленинскому проспекту (как переименовали Большую Калужскую улицу) находится 5-я городская клиническая больница; в той его части, где был храм в честь Козельщанской иконы, расположились ее терапевтические отделения. Вместо крестов на главке и звоннице торчат шпеньки, и, хотя внешне само здание недавно покрасили и подремонтировали, внутреннее церковное убранство и росписи, о богатстве которых можно судить по фотографии в путеводителе Машкова, после «проведения работы» по ликвидации все погибли. Несмотря на то что Медведниковские дома воспроизведены в современном альбоме «Москва. Памятники архитектуры 1830—1910-х гг.», изданном в 1977 году, они на государственной охране не состоят и, значит, в любое время могут стать площадкою для новых градостроительных безобразий.

и ил. № 75 и 76; Альбом зданий, принадлежащих Московскому городскому общественному управлению. М.б.г. (1910-е гг.) — фото Медведниковских учреждений; Москва. Памятники архитектуры 1830—1910-х гг. М., 1977. С. 92 и ил. № 108 (фотография Козельщанского храма).

[1] Настольная книга священнослужителя. Изд. Моск. Патриархии. М., 1978. Т. 2. С. 647.

В 1929 году волна ликвидаций докатилась и до Полтавщины: была закрыта одною из первых и Рождество-Богородицкая обитель. В краеведческой экспозиции, размещенной в бывшей монастырской сторожке, можно увидеть любопытную фотографию «Актива по закрытию очага культа и изъятию ценностей»: пятерка усачей, затянутых в блестящие куртки из чертовой кожи (название материала, кстати, вполне подходящее), а посреди них удобно угнездившийся местечковый врач Илья Моисеевич Дубинский — пусть не забудется его фамилия — в коротком костюмчике и при галстуке: главный «активист» закрытия, погрома и сдера золота с куполов... После изъятия и принятия ценности безвозвратно пропали.

Некоторое время по затворении собор стоял ободранный, но запечатанный; позже его стали использовать — под склад, фабрику и тому подобное. Сами того не ведая, осквернители отеческого наследия в точности сотворили предсказанное еще святым Ипполитом папою Римским в его «Слове об Антихристе»: «И в то время будут церкви Божии яко простые домы или овощное хранилище...» (по Псалтыри 78:1).

Некоторое время действовала после того еще зимняя Преображенская церковь, закрытая к середине 1930-х годов. Игуменья монастыря Олимпиада 2-я и с нею большинство старших монахинь погибли в заключении.

Зимою 1942 года, во время немецкой оккупации, оставшиеся на свободе инокини стали снова собираться в разоренную обитель; вскоре был найден священник, и в теплом храме, куда принесли список с чудотворной иконы, опять начала правиться служба. Монастырь продолжал существовать и некоторое время после войны, затесненный в нижнем этаже примыкавшего к Преображенской церкви здания бывшей церковноприходской школы, хотя, как вспоминают старожилы, подстрекаемые безбожниками ученики расположившейся над кельями и храмом средней школы всячески старались помешать богослужению и молитвам беззащитных женщин: грохотали во время совершения их ногами, свистели, хулиганили, били окна, воровали иконы и тому подобное. А в 1949 году монастырь и совсем закрыли; оставшихся монахинь перевели в Лебединский женский монастырь Черкасской епархии, куда они взяли с собою и список с Козельщанской иконы. В разгар хрущевских гонений, в 1962 году, в свою очередь был закрыт и Лебединский монастырь, откуда нескольким инокиням удалось перенести список об-

раза в Красногорский Покровский женский монастырь близ города Золотоноши (Киевской епархии), действующий и поныне. Бог словно возвратил наследниц первооснователей Козельщанской киновии на круги своя: ведь когда-то именно из Золотоношской обители пришли на Полтавщину первые двадцать сестер во главе с игуменьей Олимпиадой... Но сейчас у нас в почете совсем иные Олимпиады. Да и назывался Золотоношский монастырь тогда иначе — Богословским — имя изменено по той причине, что соборный его храм после закрытия в 1930-е годы был совершенно разорен и ныне стоит заброшенный, являя горестную картину разрушения. Единственной крепкой частью на нем осталась чугунная охранная доска с надписью о том, что он сочтен «памятником архитектуры эпохи барокко»... Последние инокини Козельщанского монастыря рассеялись по стране, ныне в живых из них осталось всего несколько человек, а в Золотоношской обители — только одна...

В самой Козельщине приезжий паломник может теперь найти только заколоченный, пустующий, обескрещенный собор, до сих пор венчающий собою самый высокий в окрестности холм и как бы царящий над степью. Местная архитектурная власть отчего-то полагает, что для зачисления его в разряд памятников и проведения необходимейших ремонтных работ непременно требуется, чтобы минуло сто лет со времени построения здания,— но это совершенная бессмыслица, а скорее просто отговорка, потому что в ходе проходящей сейчас новой переписи памятников архитектуры по всем областям страны на охрану ставятся уже произведения 1930-х годов... Кроме разрушенной ограды, все другие монастырские постройки также сохранились. В обезглавленной крестовокупольной Преображенской церкви и примыкающем к ней доме бывшей школы находятся мелкие местные учреждения, в остальных строениях расположены жилые помещения. А до ближайшего действующего храма — не один десяток километров...

Чудотворная Козельщанская икона, как рассказывают на Украине, перед самым закрытием монастыря была унесена монахинями его в народ. И доныне она, как говорят, пребывает в недрах его, сохраняемая бывшими «матушками» в глубине страны. «Настольная книга священнослужителя», изданная Московской Патриархией, указывает, правда, что находящийся в Золотоноше список и есть сама подлинная чудотворная. Но точные обмеры и

сравнение с дореволюционными фотографиями говорят об обратном: находящийся в Красногорском монастыре образ представляет собою весьма близкое, но все же воспроизведение подлинной иконы. Это является твердым убеждением большинства православных малороссиян, от мирянина до епископа; думается, что небезызвестно об этом и самим авторам статьи об иконе во втором томе «Настольной книги», а искажение допущено ими из цензурных соображений.

Примеры длительного пребывания святынь в народе в эпохи гонений издавна известны в святоотческой и житийной литературе. Когда настают трагические для православия времена, именно народ принимает в свои любящие надежные руки чтимые символы духовных сокровищ. Из новейших примеров российской истории можно назвать передающуюся среди православных из уст в уста тайну о месте перезахоронения преподобного Пафнутия Боровского; сохранение во многих домах мощей святых, икон и даже просто множества священных предметов из затворенных и поруганных церквей — антиминсов, Евангелий, духовных книг. В назначенное время все это снова появится на свет перед людьми и займет свое место во вновь открываемых храмах...

Список Козельщанской иконы, находящийся ныне на правом клиросе соборного храма Покровского золотоношского монастыря, за последние годы также прославился чудотворениями. В народе рассказывают о нескольких недавних случаях произошедших от него исцелений. Можно услышать среди паломников и современные повести о помощи, дарованной Богородицей и молившимся к ней перед списками и копиями Козельщанской иконы, о непрестающей силе благодати, исходящей от изображений чудотворного образа Богоматери, неизменно отвечающей на горячую молитву православного человека; от списка Покровской обители, списка полтавского Свято-Макарьевского собора и других — до маленьких карточек, какие во множестве сохранились у жителей от Украины до Сибири...

О чудесном предстательстве, даруемом нам в неиссякаемом источнике слез и покаяния, державном покрове над Россией, говорят слова Акафиста Козельщанскому образу Божией Матери: «Спасти хотяще избранную Свою страну и прибегающия к Тебе, пресвятая Владычице, люди, дивно прославила еси икону Твою, именуемую КОЗЕЛЬЩАНСКАЯ, чудесными знамениями исцелений; аще

бо Ты не бы предстояла, всемилосердная Исцелительнице, молящи о нас, кто бы ны избавил от смертоносных и всегубительных болезней, поражающих отечество наше» (Кондак 10-й).

1981

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Очерк этот был написан для «Журнала Московской Патриархии» к 100-летию прославления иконы Козельщанской Богоматери, но главный редактор завернул уже подписанный к печати материал, сказав: «Слишком много чудес». После того он вышел за границей в независимом русском православном национальном органе «Русское возрождение», основанном к 1000-летию крещения Руси, в 1981 году (№ 15). Однако отношения сочинителя с иконою этим отнюдь не окончились.

В день своего рождения, 20 декабря 1981 года, он переписал акафист Козельщанскому образу в церкви Троицы, что на Пятницком кладбище в Москве, любезно предоставленный старостой Марией Петровной, которая рассказала, что шести лет от роду прикладывалась к подлинному образу. Вскоре после того, как автор покинул храм, в него явился молодой и далекий от веры человек, который спросил по имени старосту и сказал, что не по своей воле принес ей подарок. Это оказался список Козельщанской иконы. Священник отец Сергий (Вишневский) положил новопринесенный образ на аналой и отслужил ему акафист.

В тот же день 20 декабря по доброму совету Марии Петровны автор отправился в соседний храм Тихвинской Богородицы в бывшем селе Алексеевском, где, по ее словам, находился список иконы. Здесь молодой батюшка, услыхавший стороною вопрошание пришлеца, неожиданно вышел и рассказал (теперь, думается, это не составляет тайны), что ему посчастливилось прикладываться к подлиннику Козельщанской, которая хранится у живущих в миру монахинь города Оренбурга.

И еще одно дополнение. Крестивший жену сочинителя священник Николай Педашенко оставил запись своих воспоминаний на магнитофонной пленке. После его смерти автору довелось прослушать их полностью в 1981 году, еще до прихода в Троицкую церковь. И среди прочего там оказались сведения о том, как в 1930-е годы отец Николай работал в театральном музее Бахрушина с женщиной, которая дерзнула написать продолжение романа «Братья Карамазовы». Он, как известно, был оставлен на середине; но писательница не стала довершать книгу по тому плану, который сам Достоевский поведал по дороге в Оптину пустынь в поезде Владимиру Соловьеву: что инок Алеша сделается народником, покусится на жизнь царя и прочее. В ее варианте он, напротив, должен был жениться на Лизе Хохлаковой, пораженной параличом, а та вслед за тем

выздороветь от своего недуга перед иконою Богоматери, которая прославилась в конце девятнадцатого века на Украине в имении, кажется, графов Соллогубов, исцеленнем хозяйской дочки, и память ее где-то в двадцатых числах февраля...

А ведь это была, несомненно, Козельщанская икона Богоматери!

1989





ОСТРОВ И МАТЕРИК



тобы узнать, что такое *Россия нынешняя*, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда еще различие образований и воспитания не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Все это сбило и спутало до того у каждого его мненье о России, что решительно нельзя верить никому. Нужно самому узнавать, нужно проездиться по России...

Это слова Гоголя из XX главы «Выбранных мест из переписки с друзьями», написанной в 1845 году. Они настолько раскрыты навстречу нашей современности, что как-то не подымается рука заключать их в исторически ограничивающие кавычки. Недаром же лишь сейчас общественное мнение наконец доросло до понимания всей важности этой книги, и ее впервые почти через полтора века собрались-таки вновь выпустить отдельно с подробнейшим исследованием и примечаниями Владимира Воропаева в издательстве «Советская Россия».

Спустя 45 лет после Гоголя, в году 1890-м, его завет на деле осуществил Чехов, отправившийся через всю огромную страну на дальний ее край, остров Сахалин. Собственно, посещение самого острова и написание «ученого» сочинения о каторге вряд ли даже можно по справедливости назвать единственной целью этого путешествия. О книге Чехов уже заранее шутливо писал Н. М. Линтваревой, что «она будет скучна, специальна,

состоять будет из одних только цифр, но позвольте рассчитывать на Вашу снисходительность: читая ее, Вы будете удерживать зевоту...» (5 марта 1890 г.). И, как принято сейчас говорить, оборачивая ветхую мудрость наизворот, «в каждой шутке есть доля шутки». Все же остальное — истина.

О смысле поездки Антон Павлович сообщает своим знакомым намеренно скупо, почти таинственно — «по своим надобностям» (там же) или: «Я в самом деле еду на о.Сахалин, но не ради одних только арестантов, а так вообще...» (С. Н. Филиппову, 2 февраля 1890 г.). В путешествии были написаны также очерки «Из Сибири», оставленные неоконченными; впоследствии согласно авторской воле они не были включены в основное собрание его сочинений. И, быть может, недаром наиболее живым памятником всему предприятию служат теперь чеховские письма, в одном из которых он признается, что помимо внешней цели была еще и сокровенная, заключавшаяся в самом пути: «...полагаю, что поездка — это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо...» (А. С. Суворину, 9 марта 1890 г.).

Вникнуть во внутреннюю суть этого пути и было задачей счастливо задуманной прозаиком Леонидом Бежиным попытки проехать сто лет спустя по следам Чехова, куда он любезно пригласил меня спутником. Следуя по возможности той же дорогой по воде, по земле и только в самом крайнем случае — воздуху, мы находились в пути более месяца. Но отнюдь не простой повтор и осмотр мемориальных мест составляли искомое. Дотошное следование заведомо бессмысленно, ведь в пределе своем оно обращается просто в безумие: строго исполняя задачу, нужно было бы надеть очки дужкою, не замечать красных флагов и в конце концов вообразить себя неким двойником самого Чехова — подобно тому герою Борхеса, который решил в XX веке сызнова написать «Дон Кихота» в тех же совершенно словах, но с иным содержанием...

К тому же и сами различия, несходство тоже по-своему красноречивы. Так, Чехов отправился по воде из Ярославля, «чтобы побольше захватить Волги» (А. С. Суворину, 18 апреля 1890 г.).Нам для этого достаточно уже было пройти всего версту до Северного речного вокзала — того именно, куда прибывают развеселые герои кино «Волга-Волга», проплывая над костьми десятков тысяч замученных «з/к» — заключенных каналоармейцев, —

переведенных сюда с Беломорканала. Неподалеку и моя «малая родина», а как раз на полдороге от дома, где уже четверть века живет моя семья, у исчезающей деревеньки Иванькова сохранился по сю пору даже последний лагерный барак — в нем нынче цех по производству термометров.

Подробно и «чеховедчески», точнее, «чехолюбчески» путешествие описано самим Бежиным. Для меня же этот путь предстает как бы цепью художественных образов, сочиненных самою жизнью, символов духовных и обязательно, неслиянно и нераздельно, зримо-вещественных — своего рода наглядной историософией. Тем более что в отличие от Чехова и обратная дорога пролегла не через чужие моря, а по своей земле, замкнув на ней как бы круг.

Круг, путь, крест, звезда, город — древнейшие символы культуры и отца ее — культа, а также незаконного выблядка — «культа личности». Тут же наготове ждало и единое воплощение всего рода: то самое здание со шпилем Речного вокзала. В нем они разительнейшим до жути образом сошлись: поверху пятиконечная звезда — знак противостоящего Небу человека — первенец с Кремля, сменивший там византийских орлов и затем отправленный при обновлении в почетную ссылку; колокол в часовом бое — прямо с храма Христа Спасителя, а на одном из керамических «декоративных» — дико-противных!— блюд на фасаде изображен и тот циклопический (то есть будто Циклоп разом огромный и кривой) дворец выше облаков, что, по счастью, не упроворились-таки взгромоздить на месте взорванного памятника первой Отечественной войны.

Вот какие знамения осеняли нашу дорогу. А следя ее ход, нельзя не заметить, что львиная доля пути пролегла по рекам, из которых почти что все — Волга, Кама, Иртыш, Енисей (за одним и уже временным исключением Амура) — представляли собою больные вздувшиеся вены земли, перетянутые жгутами плотин. В особенности удручающ вид «главной улицы Руси» — Волги-матушки: зрелище ее берегов точнее было бы наречь более точным церковнославянским словом «позорище».

«Волга недурна; заливные луга, залитые солнцем монастыри, белые церкви; раздолье удивительное»,— заметил век назад Чехов с парохода «Александр Невский». Нынче луга залиты насовсем; прямо на наших глазах происходило медленное убийство знаменитого красавца

Макарьевского монастыря, обреченного через год-другой превратиться в мертвый «подтопленный» остров середи водохранилища. Вместо же белых храмов, прежде непременно видимых во всякое мгновение с воды путешествующему — они как бы передавали его с рук на руки, бережно охраняя,— зияют под обезглавленными луковицами лишь выколотые очи окон и мычит ветер из вырванных уст колоколен. Здесь явно прошла орда, только уже не извне, а изнутри русского общества, наусканная «носителями передовых идей».

Тут как раз впору вспомнить еще одно чрезвычайно красноречивое позорище, многим известное вообще-то воочию или по картинкам, но не в достаточной для пробуждения «умного ока» подробности. Кто не помнит известную калязинскую колокольню, оставшуюся в единственном числе посередь лениво плещущегося болота напоминать о погруженном в пучину сердце древнего русского города? Но посмотрим пристальнее с берега: ведшая ранее к собору улица крепких домов полутора-двухвековой давности обрывается мелководьем, а у самого берега, рукою подать, высовывается из-под хляби принесенный неведомою волной остов купола с крестом. Этот горький вид запечатлен, кстати, во втором фильме из серии «Земля в беде», создаваемой Ф. Я. Шипуновым — «Волга от истока до Нижнего».

Но здесь нужно добавить еще две подробности, прямо скажем, решающие. Первая — название идущей под воду улицы: «Карла Маркса». И вторая: ежели проследить мысленным взором путь ее от перереза берегом через ощерившийся лесами колоколенный островок на ту сторону «зоны затопления»,— то оказывается, что выходит-то улица прямиком к храму! И не в расхожем толковании популярного кино, в «покаянии» которого отсутствует главное — само покаяние, а аллегории на тонких ножках тужатся и все никак не могут дорасти до живого символа; но в исконно прямом — к единственному посейчас живому храму в городе. Богу одному ведомо — какою ценой (недаром Грозный писал в синодике о большинстве безымянно убиенных им лишь число, а «имена же их Ты, Господи, веси»),— она выбирается-таки из-под земли и воды.

Сей тяжкий путь явственно перекликается с чеховским временем — самой безверной порой русской истории. Огонь, затепленный в душах наших предков князем Владимиром, веками пылал, освещая родную окрестность,

покуда к концу девятнадцатого столетия не стал потухать и почти что вовсе угас. Наступающий холод и мрак казались неотвратимы и победительны. Яркий же всплеск религиозной философии начала XX века был впереди и случился непредсказуемо, как невозможно было предугадать последовавшие за ним яростные гонения и противоставшее им мученическое исповедничество.

Но об этой чеховской трагедии пока что ничего внятно и вслух не было сказано. Единственным исключением служит замечательная биография писателя, созданная в 1954 году его учеником Борисом Зайцевым. В ней настолько кратко, кротко и точно уловлен самый дух описываемого мира, что ее от души можно сопричислить к собранию произведений самого Чехова, включив в состав наиболее выдающихся и любимых. Она проделала с нами весь путь, и вот какие строки именно из главы «Сахалин» тут уместно привести:

«Простой веры» не было у самого Чехова, и по ней он (бессознательно) тосковал. Но «как должно служить Ему» — это сидело в нем прочно. Обратно тому, что о нем думали в 80-х гг., в Чехове не было равнодушия и безыдейности. Его действенный и живой Бог, живая идея было человеколюбие. Над этим он не подымался. Мистика христианства, трансцендентное в нем не для него. Природно в Чехове, совсем «Чехов» — это соединение Второй Заповеди с добрым Самарянином. «Возлюби ближнего твоего» и действенно ему отдайся — вполне Чехов этой полосы. Внеразумное, от горнего света, проблескивает только в последних его произведениях» (Зайцев Б. К. Чехов А. П. Биография. Нью-Йорк, 1954. С 103).

Так что чудовищные плоды безверия и бездушия, которые нынче приходится нам пожинать, будучи посеяны во многом «чеховскими интеллигентами», не имеют к самому писателю прямого отношения. И теперешнее свое справедливое негодование следует верно направить на подлинных виновников, не упустив выдохнуться пустой бессмысленной вспышкой. Ведь как полюбили восклицать в благородном возмущении (если оно, конечно, искреннее от неведения, а не ради того, чтобы легче в печать протиснуться): отчего ж это на месте храма нужник открыли, а не, скажем, библиотеку? И в монастыре приспособили дурдом или лагерь, но только не пионерский?! Да именно потому, что удар метит «в яблочко», ищет стереть следы памяти. Заскочим несколько вперед и вглядимся: вот ежели в Красноярске в площадь из-под храма всажен тридцатиметровый

фаллический шпиль (его горожане так и именуют запросто, только не греческим эвфемизмом, а краткой родной непристойностью — недостает лишь обычая приходить молодоженам об него тереться),— то сие никакое не недомыслие, а переход к иной знаковой системе, в понятиях которой эдакий «объект культуры» куда как красноречив.

Опамятование же, спасение, воссоздание культуры тоже дело в первую голову личное, оно начинается с выздоровления собственной своей души,— а потом уже складывается в общенародное движение.

В Казани на главной пешеходной улице больше всего людей собиралось не у бойких кооперативщиков, а перед выставкою местного архитектора-краеведа Г. В. Фролова. Он вывесил сорок щитов с фотографиями снесенных храмов и того, что на их месте появилось взамен,— то есть во чье имя они уничтожались. Буераки, сараи, чудовищно бездарные строения, на челе которых одно с совершенно замечательным названием «Трест Татваленок». Тут не надо было и кричать: люди, опомнитесь!— тут сами камни взвопили...

И вот я еще вспоминаю, как уже более десяти лет тому впервые собралась наша Комиссия по истории московских улиц при городском отделении Общества охраны памятников истории и культуры. Первое заседание было созвано, чтобы хотя бы перезнакомить тех, кто поодиночке и не всегда в безопасности составлял по клочкам и крупицам историю «сорока сороков» московских церквей. Тут уже не сорок, а все пятьсот щитов было понадобилось! И что же — тех «единиц», от восьмидесятилетнего М. Л. Богоявленского и замечательной старожилки Н. И. Якушевой, через меня грешного и вплоть до юношей «в самом наусии» — набралась добрая дюжина, только кликнули. А потом еще шли и еще: так вот и сложили многотомную историю, которую покуда никак не удается толком издать.

Если кому-то покажется в данном разговоре место, отведенное речам о храмах, избыточным,— замечу, что архитектура издревле почиталась царицею всех художеств и занимала среди них державное положение уже в Древней Греции, когда живопись еще не входила даже в число «свободных искусств». Собор был сосредоточием городской и сельской архитектуры и вместе духовной жизни. По нему мы судим о высших взлетах души своих предков. И горе, если наши потомки станут судить — именно судить!— нас по облику современных дворцов культуры или райкомов...

Но главное, пусть и погромщики знают: по краям и в середине Отечества есть и всегда найдутся люди — носители памяти, так что на беспамятство никогда надежды не будет. Как сказал некогда о бомбистах и поджигателях П. А. Столыпин: «Им нужны великие потрясения — нам нужна великая Россия»,— и добавил на поднявшийся в ответ гвалт: «Не запугаете!» Эти слова потом и на его могиле в Киево-Печерской лавре высекли. Могила теперь снесена — она была с юга у стен Великой Церкви, взорванной тоже незнамо кем в начале войны,— но время работает не вхолостую. Лавра в 1988 году вновь огласилась молитвой, пусть и в дальней лишь своей пещерной части, собор тоже восстановят, поставим обратно и памятник, будьте уверены.

А чтобы строить — нужно отчетливо знать. Сейчас, когда печать получила больше свободы, не время скрывать нанесенного стране ущерба, пора назвать и потери, и их вдохновителей подлинными именами. Движение «Пальнем-ка пулей в Святую Русь» — пользуясь блоковским образом — достигло немалого. Любопытным завершением литературного провидения разгула подобной бесовщины, предсказанного еще Гоголем, Достоевским и тем же Блоком, видится малоизвестное, но остроумное стихотворение, созданное недавно на самом пороге смерти, в 1980 году, восьмидесятилетним —и следовательно, «соименным» возрастом веку — русским поэтом Анатолием Величковским, окончившим свои дни в Париже, куда он был вынесен на гребне гражданской войны:

Бумага терпит все. В странице
Я сделал прорези для глаз.
И вижу, как в немой столице
Взметает вихри снежный час...
Бредут вслепую, друг за другом,
В сугробах вязнут их стопы,
Свирепствует ночная вьюга,
А ниже, впереди толпы,
Идет и машет красным флагом,
В венце из белоснежных роз,
Гордясь революционным шагом,
Майора Ковалева нос...

Да, немалое число громил двинулось вслед за сим Носом по лицу Отечества... Но предки наши в целое тысячелетие русской культуры успели столькое совершить и выстроить, что даже и самый размашистый разрушитель за свою жизнь не управится погубить вчистую. Од-

них только храмов по Руси стояло столько, что коли каждый белый день без выходных взрывать по одному, достало б ровно на двести и еще двадцать лет; а ведь к тому же и палаты с избами, и села и города красовались, не говоря уже о духовных сокровищах!

Жить во всем согласно и думать единомысленно, подобно котам в мультфильме, люди вообще и в особенности пишущая братия не будут, вероятно, никогда, да оно и к лучшему. Важно помнить о смысле споров и знать их предел. Еще две тысячи лет тому назад апостол Павел говорил, что, с одной стороны, «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Рим. 16:17) — а с другой — «надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11:19). Только надо постоянно помнить, что схватка идей — это не повод для братоубийственной розни.

И здесь, продолжая мысленное путешествие в глубь России, представляется уместным связать одним именем три сооружения. Первое — снесенный недавно в Екатеринбурге-Свердловске «Дом Ипатьева» — где произошло убийство царской семьи вместе с доктором и ближними. Второе — здание в Тобольске, где семья эта провела перед тем почти год заключения, разумно оставленное существовать, хотя в нем и разместились разноликие учреждения (про это писал в 1988 году в «Литературке» Валентин Курбатов, поминая главы из исторического повествования о Сибири В. Распутина). А третье — и самое показательное: опять-таки в том же Красноярске, пароходик «Святой Николай», поставленный перед ленинским музеем,— на нем, как повествует объяснительная доска, ссыльный Ульянов добирался до Шушенского; зато всякий коренной житель расскажет приезжему, что это судно, построенное в честь небесного покровителя Николая II, предназначено было для его поездки по Енисею при возвращении еще в бытность наследником из Японии.

Долгие десятилетия писать о последнем русском царе надо было обязательно в уничижительном роде. Нас наставляли на ум-разум сверху вниз на образец «азбуки политграмоты», вывешенной в тюменском музее — на букву «Л» там вот что:

Ленин — друг крестьян, рабочих,
Враг заклятый для всех прочих —

то есть, к примеру, для интеллигенции. Или на «Т»:

Троцкий —красных предводитель,
Всем буржуям грозный мститель.

Конечный, можно надеяться, образец подобного залихватски-похабного рода — это невежественный исторически и безнравственный по сути фильм Э. Климова «Агония», по достоинству осужденный в шестом номере «Искусства кино» за 1988 год членом-корреспондентом Академии наук, математиком и философом И. Р. Шафаревичем.

Зато наконец-таки начались хотя бы попытки разобраться без очевидного передергивания в трагедии последнего царствования — назовем выпущенную «Наукой» книгу под иносказательным названием «Кризис самодержавия в России 1896—1917», работы и статьи Г. З. Иоффе. Однако им все же еще довольно далеко до глубины самой основательной монографии С. С. Ольденбурга, вышедшей в 1949 году в Мюнхене и переизданной в 1981-м в Вашингтоне. Приведем здесь как ярчайший образец отрывок из последних писем великой княжны Ольги Николаевны, погибшей вместе с родителями: «Отец просит передать всем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь...»

«...На Енисее жизнь началась стоном, а кончится удалью, которая нам и во сне не снилась»,— говорил Чехов в очерках «По Сибири». Удаль действительно развернулась такая, что вряд ли навещала его сновидения. Видна она и в большом, и в невеликом — даже в том, как в знаменитом транссибирском экспрессе завелось вдруг целых два вагона-ресторана: один для любопытствующих иноземцев с чешским пивом, другой «для подлых» сограждан с советским хамством и мухами. «Красноярск самый лучший и красивый из всех сибирских городов»,— замечал писатель далее. Нас же встретило почти полностью утратившее собственное лицо бескрайнее продымленное поселение у вспученной очередной «самой большой в мире ГЭС» реки. Главная улица его упиралась в погрудный полукумир сугубого героя Черненко; вскочивший опять-таки на месте уничтоженного белокаменного собора.

Выручили два дорожных совета Гоголя из того же

очерка «Нужно проездиться по России»: «Если бы только несколько честных людей, которые, из-за несогласия во мнении насчет одного какого-нибудь предмета, перечат друг другу в действиях, согласились подать друг другу руку, плутам было бы уже худо. Итак, вот вам одна часть подвигов, какие вам могут представиться на каждом шагу вашей поездки по России,— наставлял он.—Есть и другая, не менее важная. Вы можете оказать большую услугу духовенству тех городов, через которые будете проезжать, познакомив их лучше с обществом, среди которого они живут, введя их в познание тех вещей и проделок, о которых не говорит вовсе на исповеди нынешний человек, считая их долженствующими быть вне христианской жизни. Это очень нужно, потому что многие из духовных, как я знаю, уныли от множества бесчинств, возникнувших в последнее время, почти уверились, что их никто теперь не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух, и зло пустило так глубоко свои корни, что нельзя уже и думать об его искорененье».

Невдалеке от злато-черненковского истукана мы и повстречались с живущим поблизости священником одной из двух чудом уцелевших красноярских церквей — отцом Михаилом Капрановым. Однако сперва он попотчевал нас повестью отнюдь не веселящей: о своем лагерном сроке, полученном уже не в многократно ославленное сталинское правление, а недокончившим нижегородским универсантом в конце 60-х — за «чтение и распространение» тех самых книг, которые сейчас нарасхват печатают отечественные повременные издания. Только вместо праздных покоров судьбе мы услышали совсем иное: что, по его разумению, и всякий работающий в сфере культуры и культа для полноты опыта должен бы несколько «посидеть»...

Это прозвучало как бы явною крайностью,— но стоит вспомнить, что на старости лет даже Лев Толстой выражал очень сходное пожелание. Ну а попадись он нашим действовавшим до самого последнего времени политическим статьям Уголовного кодекса РСФСР — треклятой 190-прим, безразмерной 70-й, антирелигиозным 142 и 227?

За пропаганду всяких толстовских «заведомо ложных измышлений, порочащих» всякий «государственный и общественный строй»,— век бы тому графу, как говорится, свободы не видать!

Но вот какова неисповедимая школа Промысла: лагерь обратил вольнолюбивого демократа в православного подвижника, познакомил со множеством любопытнейших судеб. И нынче он один из наиболее известных красноярских культурных деятелей: когда в следующих «гостях», у молодых писателей, случайно было упомянуто, откуда к ним прибыли — то все почти поголовно оказались с отцом Михаилом накоротке. Во многом его доброжелательной помощи и беседам обязаны появлением в 1988 году к 1000-летию крещения Руси статья прозаика Олега Корабельникова «Одно из имен истины» в «Красноярском комсомольце» (21 июня), работы философа Павла Полуяна «Доказательства от абсурда» и историка С. Уставщикова «Православная церковь на Енисейских землях» в альманахе «Енисей» (№ 4 и 3). Причем их авторы отнюдь не во всем являются конфессиональными единомышленниками священника. Куда важнее явственно возрождающийся в городе дух отечественной соборности, который и служит лучшим залогом для воскресения тел и душ. (Впрочем, что называется, и «враг рода человеческого» не дремлет — недавно отец Михаил переведен в Барнаул...).

Дальнейшее продвижение чеховским следом по символам «наглядной историософии» ведет к востоку, в Иркутск,— куда мы попали 21 сентября, в годовщину Куликовской битвы. Повсюду висело объявление под шапкой «За порядок в душе и Отечестве!», приглашавшее на День народного поминовения павших воинов и оканчивавшееся зароком: «Память народа священна». Наша история действительно следовала в священном порядке: поле Куликово огласилось победой в день Рождества Богородицы, Бородинская битва произошла на Владимирскую — покровительницу всей Руси, на Рождество Христово враг был изгнан из пределов Отечества — потому и главный престол у Христа Спасителя был в честь этого праздника, а в Париж вступили на православную Пасху. Да и в наш век: советско-германская война началась в день Всех русских святых, а окончилась в понедельник Светлой пасхальной недели. Война эта может считаться по праву еще и переломною точкой между исторической памятью и беспамятством для послеоктябрьского времени.

В следующем городе, Хабаровске, отец мой в начале 1930-х застал такое происшествие: на уже пустой соборной площади при рытье очередной канавы наткнулись случайно на склеп захороненного в подклете снесенного

храма какого-то генерала. Ученики после уроков бегали смотреть «наглядное пособие» — чудом сохранившиеся нетленными останки, покуда их окончательно не разворотили. А мы застали уже в местном музее копилку с надписью о том, что принято решение восстановить воздвигнутый некогда на народные деньги памятник графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому, кому Россия обязана Забайкальем, работы Опекушина — «на бронзовых досках которого были высечены имена сподвижников организатора и руководителя Великого Амурского дела» (сам граф как будто предусмотрел и грядущую неблагодарность потомков: он погребен в Париже на Монмартрском кладбище — см. статью Н. Нефедова «Николай Муравьев-Амурский» в журнале «Вече». 1986. № 23. С. 49.).

В Хабаровске порадовал еще другой плакат: приглашались желающие вступить в клуб «Слава Отечества». Это молодые люди, занимающиеся историей не только отвлеченно, воссоздающие форму и оружие и совершающие военно-мемориальные походы. Мне посчастливилось летом 1988-го сопровождать их от Бородина до Березины (до Парижа на сей раз не дотянули...). И нужно было видеть лица людей, особенно в разоренных и обезлюдевших селах Смоленщины, куда под музыку вступали со своими знаменами Преображенский и Черниговский полки! Вот с ними шла и хабаровская красавица Алена.

Но и тут все на поверку вышло не так-то просто: обок с прочими шагало в костюмах французской армии целое маленькое сообщество, своего рода «походная ложа» поклонников Наполеона. Сначала это показалось дико; но если рассудить спокойно — и здесь есть своя закономерность (или закономерзость). Разметали ведь в свое время прах Багратиона на Бородинском поле, писали «так называемая» Отечественная война, зачитывались «Наполеоном» академика Е. Тарле (хотя и позабыв уже, где у него в фамилии ударение стоит), а не далее, как в 1986-м, приветствовали на Бородине аж двух прямых потомков самого Бонапарта. Вот наследников русского царя даже мысль не явилась пригласить — и что получается, кто же в итоге-то победил? Недаром еще Достоевский предупреждал: «Это, конечно, с одной стороны, намекает на такую способность уживчивости со всем чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы, что пред этими качествами бледнеет и гаснет даже все безграничное. Двухсотлетняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на

свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой... ну, чего можно ожидать, как вы думаете?» (Полн.собр.соч. Л., 1980. Т. 21, С. 124). Ну и дождались.

Однако ни в коем случае не следует поддаваться соблазну с ходу нынче подобное запрещать — это значит лишь укреплять заблуждение. Куда внятней показать опять-таки на живых символах — что они у нас на Москве вытворяли и как русская армия вела себя в Париже. Но стоило сделать первую попытку объясниться, как сзади послышалось заспинное шипение: ага, боевики из «Памяти»!..

А надобно заметить, что я действительно имею к ней определенное отношение. Как-то в короткий век временщика Черненко пригласили меня настоятельно и сказали: вот вы пишете об истории, знаете, конечно, общество такое «Память», так вот подмогните-ка его прикрыть — нам не хватает знатоцкого обоснования. Я честно ответил, что не знаю. Мне, естественно, не поверили и тогда предложили иначе: ну, мы будем через вас указания давать — как себя надо вести, а то напрямую неловко. Я как сумел отбоярился от сей чести.

Тут, видно, решили, что коли уж не удалось их «зацепить» — то следует подъехать с другого боку и превратить в пугалище. Чуть где что не так, принялись всполошно вопить «бьют!» и прочее. Наконец, выловленный недавно за руку провокатор А. Норинский воочию показал, кому это выгодно. Кстати сказать, и мне грешнику 29 января 1988 в «Книжном обозрении» указали, что-де книжка твоя любопытна не для «работяг Нового Уренгоя и Чернобыля» (хорошо хоть не работягою подписались), а для «активистов экстремального крыла «Памяти». Дескать, знай наших, поминай своих!

Так вот, поминая своих и зная ваших, святых слов ни за что уступать не следует, постоянно памятуя, что от Слова-то идет и наша словесность.

...Но мы уже подступаем к пределу всего путешествия: «Острову Сахалину» с кавычками и без оных. Причем не забывая главной цели: наглядного сравнения в образах. И здесь неминуемо рядом с символом «острова» вырастает метафора «Архипелаг».

Название этого великого народного творения, запечатленного одним человеком, принявшим на себя его как служение и подвиг, все чаще является в открытой печати на Родине. А ведь весь трехтомник как бы проникнут

насквозь множеством связей, перекличек и споров с русскою классикой; и естественно, что не только «Остров Сахалин» постоянно возникает на его страницах как предмет для сопоставлений, но и другие произведения Чехова. Однако этот разговор двух писателей должен стать объектом отдельного исследования.

Подъем на эти вершины дает возможность взглянуть на прошедшее с иной, недоступной чеховским временам высоты. Как сообщает современный источник, за всю историю сахалинской каторги до революции (а она была прекращена царским указом еще в 1906 г.) через нее прошло 30 тысяч человек, в подавляющем большинстве действительно тяжких уголовных преступников (История Сахалинской области, Южно-Сахалинск, 1981. С. 52). Но даже и им не пришло бы в голову трудиться под тем лозунгом, под каким тут «добровольно» вкалывали в 1930-х по ночам: «Луну — на службу промфинплану!» (Чесалин В. В. Здесь начиналась история. Южно-Сахалинск, 1987. С. 28).

В 1906 году в своей книге-завещании «К познанию России» Д. И. Менделеев, отвечая на упреки современников в кажущемся множестве чиновников, показал, что служащих коронных и выборных было тогда меньше уродов и умалишенных. Зато, предсказал он, ежели сбудутся бредовые мечты желающих уравнять все по нижнему пределу, «то число тех, которые будут распределять работы, сгонять на них и наблюдать за ними, равно как и за общими порядками, стало бы наверное во много, много раз превосходить число современных служащих», добавляя, что больше всего опасается при этом за «качество науки и всего просвещения; и за общую этику» (6-е изд., Спб., 1907. С. 67, 104).

Жуть прохватывает при общении с числом насильно загубленных в XX веке в Отечестве «простых людей», но, к прискорбию, оно все более подтверждается. Сталин называл 10 миллионов погибших в Отечественную, Хрущев столь же подозрительно-кругло 20, но наконец-то, в 1988-м, «Литературка» устами члена-корреспондента Академии наук историка Ю. А. Полякова выговорила более близкие к правде «47». Данные по гражданским войнам только начинают появляться, но отнюдь не обещают быть утешительнее внешних.

Причем считать тут по справедливости надобно начиная с октябрьского переворота и вплоть до нынешних дней: не одни ведь «диссиденты» при Хрущеве—Брежне-

ве—Андропове—Черненко сидели — не след забывать сотен пострадавших рабочих в восставшем Новочеркасске в 1962-м, ни десятков тысяч посланных недрогнувшею рукой погибать в чужие страны за чужие дела в то время, когда в спасении нуждалась в первую голову родная земля. Да по сути и при Горбачеве первые три года продолжалось почти то же самое и лишь на четвертый, словно знамение тысячелетия Крещения Руси, дело со страшным скрипом и чрезвычайно медленно начало меняться.

...Достигнув таким образом «Острова Сахалин», мы делаем переворот и кружным путем возвращаемся к точке исхода. Лететь оттуда над огромным государством довелось целых полдня, сопровождая в предрассветном мраке катящийся с востока рассвет. Быть может, тьма эта бросила свою тень и на нашу цепь историософских образов — по крайней мере, заказанный «Литературкой» разговор был впоследствии отвергнут «за мрачность»... И слышать это было горько,— не столько жалея сам текст, сколько явившееся было убеждение, что времена песнопений о «светлом будущем» безвозвратно прошли.

Зато, будто нарочно в поддержку стояния за правду, на следующий же день появилось в печати выступление московского писательского головы А. А. Михайлова, заявившего открыто городу и миру: «Мне кажется, произошла утрата веры. В этом я вижу одну из коренных причин целого ряда нравственных и социальных аномалий нашей жизни. В 1917 году мы свергли не только царя, но свергли также Бога с небесного престола. Иконы заменили лозунгами о мировой революции и скорой победе коммунизма. Призрак коммунизма, замеченный в сумерках Европы XIX века, как и все призраки, исчез на рассвете. Коммунизм в XX веке оказался иллюзией, красивой сказкой... Коммунистический идеал пришел в такое столкновение с реальностями жизни, что он уже перестал выполнять роль духовной цели, духовной задачи для нашего общества. А духовная цель — это и есть вера» (Московская правда, 1989. 22 января).

...Последние слова есть и «ключ» к сокровенному смыслу больших российских путешествий. Полтора века назад Гоголь свой завет путешественнику и соотечественнику кончает вещим призывом: «Очнитесь! Монастырь ваш — Россия!»Через полвека Чехов завершает «Сахалин» нарочито приземленно: «На кормление грудью младенцев осужденным женщинам полагается полуторагодичный срок (Ст. 297 «Устава о ссыльных», изд. 1890 г.).

Сопровождая уходящий мрак еще сто лет спустя, казалось, что взглянуть ему в лицо, не отводя в сторону глаз, и отчетливо назвать по имени — есть уже первый залог исчезновения призрака. Но скорее даже не говорить, а молиться тянет сердце за то, чтобы Отечество вновь из «архипелага» сделалось прочным материком, за наступление выздоровления и грядущий немеркнувший воскресный день.

1989





«ОГОНЬ ВЕЩЕЙ» АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА



звестный русский писатель Алексей Ремизов (1877—1957) на протяжении десятилетий заносил в дневник свои сновидения и часто включал их в собственные произведения. Серия из 33 снов 1913 года была напечатана в альманахе «Сирин» (рядом с окончанием «Петербурга» Андрея Белого) под названием «Кузовок. Вещь темная» («Сирин», сб. 3. Спб., 1914). Сотни описаний снов содержатся в рукописях зарубежной поры, хранящихся ныне в Пушкинском Доме (см.: Гречишкин С. С. Архив А. М. Ремизова//Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома 1975. Л., 1977. С. 28, 35—36). В предисловии к книге «Мартын Задека. Сонник» (Париж, 1954. С. 9) Ремизов пишет: «Каждую ночь я вижу сны, и поутру запишу», а затем добавляет: «В течение нескольких лет вел графический дневник: рисовал сон, а вокруг события дня».

Записи снов — как бы тень той ночи, которая с ранних лет окутывала страдавшего слабостью зрения писателя, покуда не довела в последние годы до почти совершенной слепоты. И именно тогда, одновременно с «Сонником», издает он книгу «Огонь вещей. Сны и предсонье» с подзаголовком «Гоголь. Пушкин. Лермонтов. Тургенев. Достоевский» (Париж, 1954; факсимильное переиздание — Париж, 1977).

В ней речь идет о роли снов в «классической» русской литературе XIX столетия: «Сон, как литературный прием — без него по-русски не пишется: Гоголь, Погорельский, Вельтман, Одоевский, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Мельников-Печерский, Лесков. В снах не имеет значения, выдуманные они или приснившиеся, лишь бы имели сонное правдоподобие — «смысл» второй «бессмыс-

ленной» реальности, когда «существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония». С Пушкина начинаются правдашние сны: сон Татьяны, с которым перекликается Гоголь в «Пропавшей грамоте» и «Страшной мести», сон гробовщика Адриана Прохорова, сон Самозванца, сон Германна — на него отзовется Достоевский в «Преступлении и наказании», сон Гринева — на него отзовется Лев Толстой в «Анне Карениной».

Вскоре вслед за тем Ремизов расширяет временные рамки обзора —ибо ему-то как раз наилучшим образом ведомо было, что так называемой «классической» литературе предшествовало восемь полноценных веков корневой русской словесности, обеспечивших ее рост и силу:

«Редкое произведение русской литературы обходится без сна. И это говорит за кругозор и память. В снах не только сегодняшнее — обрывки дневных впечатлений, недосказанное и недодуманное; в снах и вчерашнее — засевшие неизгладимо события жизни и самое важное: кровь, уводящая в пражизнь; но в снах и завтрашнее — что в непрерывном безначально потоке жизни отмечается как будущее и что открыто через чутье зверям, а человеку предчувствием; в снах дается и познание, и сознание, и провидение; жизнь, изображаемая со снами, развертывается в века и до веку.

Сон в русской литературе — с библейских видений протопопа Аввакума, описанных в «Послании к царю Алексею Михайловичу», и «мутного» сна Святослава в «Слове о полку Игореве»; Загоскин в «Юрии Милославском» вводит сон как литературный прием, но сон Юрия, как сон Обломова у Гончарова, вне реальности сновидений: такое может и во сне присниться, но может и наяву представиться.

Сны как особая действительность (существенность), по-своему закономерная, со своей последовательностью, но вне дневной бодрственной логичности, впервые появляются у Пушкина: «морозная тьма» Пушкина. И эта тьма завеет жутью у Толстого и Достоевского, а через них заворожит поколения за границей русской земли до океана и за океан».

Книга «Огонь вещей» — своеобразное «художественное литературоведение» со всеми вытекающими из этого последствиями. Цитаты здесь могут быть заведомо неточны, ибо старец-писатель приводит по памяти не букву, но самый дух высказываний своих предшественников, пред-

полагая — иногда с некоторым насилием над читательским миром — доскональное знание любимых им авторов; зачастую изложение незаметно перетекает в настоящее стихотворение в прозе, а порою сочинитель прямо обращается на «вы» к нам: «Гоголь отметил блаженную улыбку человека — приятную в райском состоянии. Эту улыбку мы знаем от налакавшегося кота, на усищах которого еще дрожат молочные капельки, такую улыбку у вас я заметил при хорошей погоде, а за собой знаю такую, когда в комнате тепло, любопытная книга и никуда не надо торопиться».

Важнейшей символической идеей книги служит ее заглавие. В воспроизведенном на фронтисписе факсимильно ремизовском рисунке содержится такое пояснение: «Огонь вещей. Вещи жгут и в своем огне распадаются, погасая в пепел».

Посвященные Гоголю страницы занимают более половины всего объема работы, и именно здесь мы находим дальнейшее развитие авторского толкования заявленного символа:

«На последнем пути в Оптину пустынь — Гоголь с одним ручным чемоданом, кроме рукописей он все роздал — встретилась девочка с блюдечком земляники.

«Как можно брать со странных людей»,— взглянув на Гоголя, сказала она на его вопрос «сколько?» и отдала ему землянику.

По вечерней дороге девочка с блюдечком земляники — так и слышишь, где-то тут кузнечик стрекочет и пахнет сосной. Да ведь это Россия, русская земля, она подала ему землянику в последний прощальный путь с родной земли.

...Гоголь, хочется думать, закрыл свои воспаленные глаза счастливый, найдя расколдовывающее слово, развеявшее перед ним те самые чары мира, за которыми пустыня, «мертвые души», и в пустоте вой и свист вийных сил!— в этот страшный канун пропада, потерянности, стыда, ожесточения и отчаяния не мог он своей чичиковской меркой не спросить себя: «Зачем и для кого выйдет какая польза от моей исповеди?» — от «хвостиков», в которых все мое видение не в будущее, а в мое прошедшее.

Но ведь в этом прошлом и отрада и жалость, то не сгораемое ни на каком огне, что прорывается и светит белым самым жарким и самым пронзительным светом. Вижу и сквозь заклятые волшебные чары и сквозь траге-

дию Петра и Пидорки, Катерины и ее отца-колдуна, сквозь жалость «Майской ночи» с ее необъятным миром, когда и на душе необъятно, и боль — сквозь боль песни, боль, выбивающуюся в звуке, и боль в серебряном тумане.

А эта боль неразрывна со всей сущностью «всего», и мир начался в боли, и очищение мира через крестную боль, и родится человек в мир из боли, и то, что называется «счастьем» — мое горькое счастье!— неуловимое, но вспоминаемое до боли.

...Отказавшись от своего несметного богатства слова, Гоголь сам погасил огонь вещей. Подвиг самосожжения ничтожен перед голодной казнью.

...только Гоголь делал словесные вещи...

Гоголь верил в заколдованные места на земле. «Есть где-то в какой-то далекой земле такое дерево, шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нем на землю».

Таким заколдованным благодатным местом в «Майской ночи» была для Гоголя Святая земля. И когда на Святой земле в Иерусалиме благодать не осенит его, и слово, которым бы расколдовать зачарованный Вием мир и крепко закрепленный гоголевским словом, не откроется, Гоголь проснется в живом чичиковском мире. И скажет себе словом Толстого и лесковского Памвы: что Свята земля не на земле, а в человеческом сердце, и чтобы достичь Святой земли, получить благодать виденья и слова, надо очистить мутное сердце, а чистота сердца дается жертвой.

Из высших миров сновидений Гоголь проснулся.

«Приснись тебе все, что есть лучшего на свете, но и то не будет лучше нашего пробуждения».

Пробудившись, Гоголь принес последнюю жертву и, гася «огонь вещей», уморил себя голодом».

Другое действие оказывает открытый Ремизовым огонь на гоголевских героев, в первую голову — на Плюшкина:

«Однажды паук приладил к маятнику паутину и часы остановились. И вещи — вещи растут по часам — стали разрушаться.

И не потому, что умерла говорливая жена и убежала дочь с штабсротмистром; для хозяина семья — вещи, а семья за вещами. Наступил конечный срок росту вещам, почему? А стало быть час наступил и началось распадение в пыль. Вещи сгорели. Хозяин на пожарище. Соби-

рает обгорелое, и с тем же самым задором, как пауком бегал по своей паутине, строя. Тут в расточительности распада слово «скупой» не подходит.

Так кончается всякое хозяйство: пожар возникает из самой прирожденной природы вещей, поджигателей не было и не будет.

Собакевич называет соседа мошенник, морит голодом людей — производительную живую силу. И как же иначе? Вещи сгорели, и в чаду их живая сила, ну и пусть пропадает с обгорелым хозяином.

Плюшкин — венец человеческого хозяйства. Ни его дом с пробитыми глазами, ни комната в горелом, а подъезд, где бревна-мостовая подымаются клавишами, и сад-джунгли: ни человека, ни вещей».

Таким образом, понятие «огня вещей» многолико и неоднозначно, как и положено подлинному символу; необъясним рационально, хотя вполне внятен художественно и основной вывод книги, помещенный посреди нее в виде автографа с затейливым росчерком: «С Пушкина все начинается, а пошло от Гоголя».

...Однако не все в авторских построениях может быть теперь для нас приемлемо. В книге немало страниц смутного письма, не оправданного ни логически, ни художественно. Есть и вещи, неприемлемые духовно — как в первую очередь схожее с «упражнениями» Д. С. Мережковского уподобление самого Гоголя «вывороченному черту», изгнанному из ада на землю за некое доброе дело.

Родоначальником подобного рода искажений смело может быть назван упоминаемый часто у позднего Ремизова «оплешник»; то же имя носит и издательство, впервые выпустившее книгу в свет. Оно объединяло друзей Ремизова и выпускало в 1950-е годы крайне малыми тиражами только его книги — к примеру, тираж «Огня вещей» всего 300 экземпляров. Сам автор так толковал это слово: «Оплешник — старое русское, означает «чаровник»: оплетать (оплечник) — очаровывать. А также чаровная заводь, место чарования, как «оракул». Говорится: «ступай в Оплешник, повстречаешь оплешника» (Ремизов А. Повесть о двух зверях. Ихнелат. Париж, «Оплешник», 1950. С. 62).

Таким образом, это существо на грани «нечистой» и «неведомой» силы, наподобие лешего или домового (подробнее см.: Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. Спб., 1903). Ремизов всю жизнь вел затейливую игру с подобного разбора понятиями — «и итог ее

весьма показателен, ибо никогда союз с силами зла (будь они воплощены, как в средневековье, в личности Саганы, или носи философски-спокойное имя «отрицания», «энтропии») не приводил к творческой удаче. Здесь уместно привести слова самого Ремизова из того же «Огня вещей»: «На театре чорт у места, но на суде о человеческих судьбах пора прекратить забавляться «чортом».

Но все-таки даже и среди замутненной премудрости находятся зерна чистого жемчуга, слова не просто чисто ремизовские, но присущие именно позднему периоду творчества, когда автор доживал свой восьмой десяток: «У русских писателей у каждого есть хоть кончик от Достоевского — что ни говорите, какими бы волшебными танцами себя ни окружить, а ведь только в страдничестве человек подымается до «человека», и самый пустой скажет путное слово; возможно, что и страждущий зверь говорит своим звериным голосом на своем лайном языке: «Аз есмь лютый-зверь безгрешный!» — и из помятой травы мне слышно тонким шелестом: «загубленная!».

Совершенно современно звучит также пронзительный призыв к духовному нашему единству, которым по достоинству и следует закончить:

«Русская литература, как и литература всякого народа, едина. И как едина стихия слова, едина и стихия сна; Толстой перекликается с Пушкиным — сон Анны Карениной и сон Гринева, Тургенев с Гоголем, Толстой с Тургеневым. И какой вздор, когда после революции стали говорить о какой-то зарубежной и не зарубежной литературе: там, где стихия русского слова, не может быть речи ни о каких рубежах, ведь стихия это мир человеческой души, русского человека».

1987





КОНСТАНТИН МОЧУЛЬСКИЙ И ЕГО КНИГА «ДУХОВНЫЙ ПУТЬ ГОГОЛЯ»



онстантин Васильевич Мочульский родился в 1892 году в Одессе, в 1910-м окончил Петербургский университет. С 1919-го до самой кончины жил на чужбине: читал лекции в Софийском университете, а с 1922 года — в русском отделе Сорбонны. Печатал статьи и рассказы в периодике русского зарубежья.

Книга «Духовный путь Гоголя» вышла впервые в Париже в 1934 году (переиздана там же в 1976-м). В 1936-м издана вторая крупная работа — «Владимир Соловьев. Жизнь и учение» (переиздана также в Париже в 1951 году).

Во время оккупации Парижа фашистами К. В. Мочульский преследовался гестапо как руководитель христианско-демократической организации «Православное дело».

После освобождения Франции в 1947 году в Париже была напечатана основная книга исследователя «Достоевский. Жизнь и творчество», переведенная на многие европейские языки.

В последние годы Константин Мочульский работал над монографиями о русских символистах, но им суждено было выйти в свет уже после кончины автора, случившейся в 1948 году во французских Пиринеях, в Камбо. Это были: «Александр Блок» (П., 1948), «Андрей Белый» (П., 1955, со вступительной статьей Б. К. Зайцева) и «Валерий Брюсов» (П., 1962).

Краткие сведения о К. В. Мочульском помещены в 4 томе «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1967. С. 997).

Нравственный и человеческий облик Константина Васильевича запечатлел в книге своих воспоминаний хорошо знавший его уже за границей писатель Борис Зайцев

(Зайцев Б. Далекое. Париж, 1965. С. 100-104; сама статья написана в 1948 году, сразу после смерти Мочульского).

«Худенький, живой, с милыми карими глазами — таким и остался в памяти... Константин Васильевич Мочульский»,— пишет Борис Зайцев и чуть погодя добавляет, что был он «приятный, изящный собеседник, незлобивый и просвещеннейший, с родственными интересами...

Семьи у него не было, он жил один, вечный странник, но не совсем одинокий: вместо семьи друзья. Может быть даже, в них семья для него и заключалась — не по крови, а по душевному расположению. Он любил дружбу и в друзьях плавал. Были у него друзья и мужчины, и женщины, женщин больше — маленькая, верная республика, клан, небольшое племя. Корысти быть не могло: «нищ и светел» — этот отсвет единственная корысть его друзей. Он давал только себя — излучение чистой и тонкой души.

Как человек одаренный, был на себе сосредоточен, был очень л и ч н ы й, но дружбу принимал близко. Без нее трудно ему было бы жить. А жизнь он любил!

Родом с юга России, нес в себе кровь исконно русскую (предки со стороны отца священники), и греческую — мать-гречанка. Вышел русским, но и «средиземноморским» («...А я больше всего на свете люблю море, Средиземное море Одиссея и Навзикаи»).

Однако судьба уготовала ему иные пути. «Жизнь же идет куда ей надо,— со свойственным ему светлым спокойствием замечает далее Борис Зайцев и переходит к годам оккупации, когда он с Мочульским сделался особенно близок.— Друзья, рядом с любовью и радостью, несли и страдание. В те годы погибли ближайшие его — мать Мария (Скобцова), ее сын Юра, студент. Оба в лагерях немцев. Можно думать, что в этих потерях проступило и для него самого нечто смертное. Внутренно он не оправился. Летом 43 года тяжело заболел...»

Это был туберкулез, который и свел писателя в могилу. Последний год жизни, проведенный Мочульским в горном санатории, по внутреннему духовному борению чем-то близок предсмертной драме героя его первой книги, Николая Гоголя.

«Переживал свою Гефсиманию: с приливами страшной тоски, потом просветлением и примирением,— повествует Зайцев и приводит свидетельство одной из тех, кто последними видел умирающего:— В нем точно бы два ми-

ра. Физическому так тяжко, такая печаль в глазах, а духовный все выше, точно предвидит свет».

«В письмах же,— говорит он в заключение,— чем далее, чем рука слабее, тем тон выше, обращенья нежнее. В последнем уже прямо: «Возлюбленные мои...».

Очерк-воспоминание назван строкою из стихотворной эпитафии Тютчева на смерть Жуковского: «Дух голубиный».

* * *

Современному отечественному читателю книга Мочульского любопытна, конечно, не только трагическим совпадением судеб автора и героя. Наиболее ценным в ней видится нам то, что мировоззренческие основы творчества Гоголя — которые обычно принято было рассматривать с иных, подчас весьма далеко отстоящих точек зрения — в ней изучены из самой глубины, изнутри: недаром заголовок говорит о «духовном пути». Это именно та духовность, принадлежащим к которой мыслил себя сам автор «Мертвых душ»; ее можно не принимать, но знать для уразумения его произведений попросту необходимо. Прочитав работу К. Мочульского, нас уже, например, не будет удивлять то, что запевалой в хоре, обвинявшем — вполне голословно, но громко — отца Матвея Константиновского в гибели второго тома поэмы и самого ее автора, выступал не кто иной, как Д. С. Мережковский...

Особая глава книги посвящена восстановлению доброго имени второй части «Мертвых душ». Сходная по замыслу работа была проделана в нашей стране лишь 45 лет спустя после выхода в свет «Духовного пути Гоголя» Игорем Золотусским в его жизнеописании Гоголя. И как знать, появись у нас книга Мочульского полувеком раньше, быть может, не пришлось бы современному литературоведу преодолевать поистине горы препятствий, нагороченных горе-знатоками и запретителями, чтобы застить нам вид на подлинного Гоголя.

1987





ИВАН ИЛЬИН — КРИТИК



Иван Александрович Ильин, правовед, философ, православный мыслитель, родился в 1883 году в Москве, где получил отличное образование и затем десять лет, начиная с 1912 года, преподавал в университете и других учебных заведениях. Кстати, как выяснил современный исследователь философских кружков, где собирались в начале века любомудры «первопрестольной», Альберт Васильевич Соболев, жил он как раз позади нынешнего Института государства и права Академии наук (Знаменка, ныне ул. Фрунзе, кв. 36).

Советский философский словарь определяет Ильина так: «Представитель неогегельянства, автор наиболее значительного в истории русского идеализма труда о Гегеле — «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (Т. 1—2. 1918, нем. пер. 1946), получившего широкий отклик в современной буржуазной философии... Для последующих философских работ Ильина характерно обращение ко своего рода феноменологии религиозного опыта, в центре которой стоит понятие «религиозного акта» как «личного духовного состояния» человека» (Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 203).

В сентябре 1922 года, после шестого ареста, Иван Ильин был выслан в числе «160» русских ученых и общественных деятелей за границу.

В недавнем «Огоньке» (1988. № 49. С. 6—7) Вяч. Костиков поместил статью о «коллективизации сознания», где И. Ильин упоминается в числе наиболее выдающихся изгнанных тогда с Родины философов. Но предваряется это странным соображением: «Отсчет начала наступления

на интеллигенцию следует, вероятно, вести с 1922 года, со времени, когда Ленин по болезни уже не мог активно противодействовать бюрократизации государственной и интеллектуальной жизни».

Сие, конечно, ложь. 15 мая этого самого года Ленин направил наркому юстиции Д. И. Курскому письмо, где в связи с подготовкой нового Уголовного кодекса говорит: «По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)... Добавить: расстрел за преднамеренное возвращение из-за границы». Два дня спустя пишет ему же: «Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого. С коммунистическим приветом...» И спустя еще два дня посылает целый план на сей счет Дзержинскому: «К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу». Заключается он так: «Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро...» (цит. по кн.: В. И. Ленин и ВЧК. М., 1975. С. 563—567; наиболее подробное исследование вопроса принадлежит М. Геллеру: «Первое предостережение» — удар хлыстом//Вестник Русского Христианского движения, Париж — Нью-Йорк — Москва, № 127. 1978. С. 187—233).

Следующие 16 лет И. Ильин провел в Берлине, преподавал в Русском научном институте и выступал по всей Европе с многочисленными лекциями. В 1934 году гитлеровцы лишили его права устных и печатных выступлений, но к 1938 ему удалось перебраться в Швейцарию.

Здесь изгнанный из стран социализма и национал-социализма философ прожил последние 16 лет и скончался под Цюрихом в 1954 году.

Помимо собственно философии, И. Ильин писал также по вопросам литературы, искусствоведения и истории; всего же ему принадлежат свыше 30 книг и несколько сот статей, среди которых немало еще неопубликованного (подробнее см.: Полторацкий Н. П. И. А. Ильин). В кн.: Русская религиозно-философская мысль XX века. Питтсбург, 1975. С. 240—250; непосредственно к предмету настоящего рассмотрения относится статья того же автора «Русские зарубежные писатели в литературно-философ-

ской критике И. А. Ильина» в сб. «Русская литература в эмиграции», Питтсбург, 1972. С. 271-287).

Собственно литературной критике И. А. Ильин посвятил две книги, обе они вышли уже после его кончины. Вторая — «Русские писатели, литература и художество» — подготовлена неутомимым зарубежным исследователем и издателем наследия И. А. Ильина профессором Полторацким, вышла в свет в 1975 году и представляет собою сборник речей, статей и лекций о Пушкине, Шмелеве, Мережковском, поэзии и фольклоре. Большее единство замысла являет собою, однако, первый труд — «О тьме и просветлении. Книга художественной критики» (Мюнхен, 1959), посвященный изучению творчества Бунина, Ремизова и Шмелева.

В предисловии автор утверждает, что художественный критик «призван измерять и оценивать всякое художество не как «двухмерное» явление (образ, скрытый в материи), а как «трехмерное» создание («предмет, облекшийся в образ и явленный через материю») (с. 18). Сей предмет, конечно, не вещественный, а эстетический и имеет духовную природу.

Для наглядного подтверждения своих мыслей философ прибегает к трем чертежам — к которым вообще питает особую склонность (с. 21—25).

Первый «Художественное произведение. Вид аналитический, перспективный». Сверху расположено «око читателя, читающего повесть, воображающего героев и фабулу и все описания и созерцающего сквозь них Художественный предмет». Через «словесный текст литературного произведения» око прозревает «художественные образы» — «героев» и «фабулу». А они в свой черед имеют источником «Художественный предмет, из коего у автора вырастают образы героев и слагается фабула, и к чему читатель идет через чтение».

Второй чертеж — «синтетический» вид художественного творения, где в «раме» текста заключен «круг все обосновывающего, проникающего и сдерживающего Художественного предмета, просвечивающего в удачных образах героев и отсутствующего в неудачных». Внутри сферы заключены кружки, обозначающие различные образы, у которых еще особый пунктир отмечает «предметность, недопредметность или беспредметность».

Наконец, есть еще и со страстью составленный третий чертеж произведения «нехудожественного» или «беспредметного», с подзаголовком «Космос без солнца. Мир без

Бога. Хаос. Пустая игра в возможности. Интенция угасла... Око читателя от скуки и отвращения уснуло», ибо через «бесконечный сквозняк ненужного текста» узреть можно лишь «ненужный бред о несостоявшихся героях... хаос эмбриональных образов, тщетно ищущих связи, строя... Единой фабулы нет»,— потому что это «путь модернизма!».За ним, скрытый «завесой художественного мрака и слепоты», находится «не узренный автором Художественный предмет», который «остается вне литературного произведения эстетически неосуществленным... Лучей его автор не воспринял и читателю не показал».

Исследование, в целом выполненное с предельным доточничеством в отношении к тексту, следует путем лестницы снизу вверх. Первым рассматривается творчество Бунина, чей «эстетический предмет» проявляет двойственность. Эти свои «две правды» — «упоение несказанной прекрасностью чувственного мира и дарами чувственного инстинкта и содрогание от бесконечной отвратительности человека и животного,— Бунин дарит своим читателям щедрою, безжалостною рукою, в видениях ярких, слишком ярких и острых, не у-меренных властью духа и духовного созерцания и не со-размеренных ни с благостью Господа, ни с силами одинокого и беспомощного читателя, может быть совсем неспособного — выносить эти видения звериного зрака и не впадать при этом в соблазн...» (с. 76).

Ремизов же «видит в человеке и в мире некую первозданную тьму. Может быть, это та самая тьма, которую созерцает и живописует Бунин; но Ремизов видит ее совсем иначе... Первозданная тьма, потрясшая Ремизова... не инстинктивна, а «диаволична»... Ремизов — поэт муки, страха и жалости. Его художественный акт пребывает в той тьме, где душа содрогается от муки, трепещет от страха и мучается от жалости. Искренность и глубина этих состояний дают его творчеству силу, мудрость и бытие. Но здесь нет исхода, нет пути к победе, здесь та ветхозаветная и в то же время языческая, мифическая, магическая, колдовская и сказочная — до-исторически первобытная «сень смертная», где Христос еще не воскрес... Тут нас стерегут соблазны и опасности. И первый соблазн в том — чтобы усвоить акт художественной вседозволенности. И первая опасность в том, что возникает убедительное воплощение тьмы и страха и не создастся убедительное воплощение света, любви и победы» (с. 125—126, 130—131).

Разрешение трагедии философ видит у Шмелева, и

особенно во впервые вышедших на Родине в 1989 году полностью произведениях «Лето Господне» и продолжении его — «Богомолье». В них «отверзаются духовные очи ребенка — и он видит Бога; и мир он видит по-новому; а себя и свой народ он начинает разуметь священно. И все это проникает в его родовое, национальное ощущение и пробуждает в нем древнюю глубину общенародной памяти». При размышлении об этом спокойный «любомудр» не выдерживает и, отбрасывая беспристрастие, прибегает вдруг к языку почти что исповедальному: «О, младенческое сердце нашей России, ныне соблазненное и страдающее, но не погубленное и непогубимое вовек! О, сияние родного солнца! О, благодать родных молитв! И все это не «было», не «прошло». Это есть и пребудет. Это навеки так. Это сама духовная ткань верующей России. Это — дух нашего народа. Это — мы сами. Это — древнее, отстойное и мудрое вино нашей русскости. Долго отстаивалось оно. Веками. И кто его никогда не пил, не мысли себя знающим Россию» (с. 178—179).

Страсть этих строк во многом оправдана временем написания — это 1945 год. Им определен и общий итог мысли. «Переживаемая Россией и всем миром «ночная эпоха»,— говорит И. Ильин уже о совокупности всех трех избранных им писателей,— объединила их единством предмета и единством национального опыта. Они явились изобразителями восставшей тьмы и разливающейся скорби. И это дало мне основание и право написать о них единую книгу и придать этой книге единое, предметное заглавие» (с. 194) — напомним, что имя ей «О тьме и просветлении».

...К более возвышенной области любомудрия относится самая, пожалуй, знаменитая книга философа — «О сопротивлении злу силою» (1-е изд. Берлин, 1925; цит. по 2-му изд. с комм. и статьей Н. П. Полторацкого — Лондон, Канада, 1975). Обобщающая эта работа посвящена одному из знаменитых «вечных вопросов» русской и общечеловеческой литературы и культуры в целом.

Здесь на итогах братоубийственной гражданской войны проверяются созданные в мирную пору возвышенные умозрения, как сказано уже в предисловии: «Грозные и судьбоносные события, постигшие нашу чудесную и несчастную Родину, проносятся опаляющим и очистительным огнем в наших душах. В этом огне горят все ложные основы, заблуждения и предрассудки, на которых строилась идеология прежней русской интеллигенции. На

этих основах нельзя было строить Россию; эти заблуждения и предрассудки вели ее к разложению и гибели. В этом огне обновляется наше религиозное и государственное служение, отверзаются наши духовные зеницы, закаляется наша любовь и воля» (с. 5). Ильин разделил книгу на 4 части и кратко излагал позже общий идейный ее замысел так: первая часть (гл. 1—8) — «расчистка дороги от мусора, уяснение, уточнение, удаление плевел из мысли, чувства и воли; постановка проблемы». Вторая (гл. 9—12) — «погребение набальзамированного Толстовства». Третья (гл. 13—18) суть «разрешение проблемы — начало: бей, но когда? но доколе? но отколе? но кого? но зачем? но почему?» И 4-я (гл. 19-22) — «разрешение проблемы — конец: очищайся, от чего? почему? для чего?.. В частности глава 20 отмежевывается от Лютера и иезуитских соблазнов. Центральное различие этих глав — «неправедность» и «грех» — вводится мною сознательно, в нем корень всего разрешения» (с. 225—226).

«Книга задумана не как антитезис Толстовству, а как антитезис + синтез верного решения:

Сопротивляйся всегда любовью:

а. самосовершенствованием

в. духовным воспитанием других

с. мечом» (с. 226), причем принимающий бремя меча человек, защищающий поругаемое добро, «не праведен, но прав» (с. 207).

Позднее И. А. Ильин так пояснял свое двуединое отношение к государству: «Если отрицать государственное дело — нелепо, зловредно и фальшиво, то переоценивать государственное дело — недопустимо, опасно и гибельно. Дело государства является, по моему убеждению, в полном смысле слова второочередным, предварительно-отрицательным, не абсолютным, не праведным; и все же необходимым, ответственным и могущественным делом. Исследованию этой необходимости и пределов этой мощи и посвящена моя книга» (с. 255).

Задачу своего исследования И. Ильин видел в том, чтобы «попытаться найти верный исход и разрешение вопроса, перевернуть навсегда эту «толстовскую» страницу русской нигилистической морали и восстановить древнее русское православное учение о мече во всей его силе и славе» (с. 228).

Поэтому эпиграфом к работе послужил стих из Евангелия от Иоанна о том, как Христос изгнал вервяным бичом менял и торговцев из храма (11; 5). И далеее историче-

ское христианство также служило оселком: «Подумайте только, русская интеллигенция девятнадцатого века гуманнее апостола Павла и преподобного Сергия, милосерднее апостола Петра и любвеобильнее патриарха Гермогена!» (с. 260). «Только для лицемера или слепца равноправны Георгий Победоносец и закалаемый им дракон» (с. 112). И наконец, «никто не вправе прощать *чужие* обиды или предоставлять злодеям обижать слабых, развращать детей, осквернять храмы и губить Родину» (с. 228).

Общий же вывод таков: «Верное разрешение этого великого и для всей человеческой культуры неизбежного вопроса, верный выход из этого трагического задания — состоит в необходимом сопротивлении злу силою с принятием на себя ответственности за свое решение и деяние и с непременным последующим, всежизненным нравственно-религиозным очищением. Это и есть исход, указуемый православным христианством» (с. 209). «Ибо дух человека преобразуется любовью, свободой, убеждением, примером и воспитанием, а не силою. Сила не строит дух, а только пресекает нападающую противодуховность» (с. 210).

Книга вскоре вызвала жесточайшие споры. Любопытно, что первым противником философа оказался правдист Михаил Кольцов. Вслед за ним столь же резко высказались против З. Гиппиус, Н. Бердяев, С. Франк, Ю. Айхенвальд.

Сторонниками И. А. Ильина оказались П. Струве, а впоследствии Ник. Лосский в своей «Истории русской философии».

Касаясь бердяевской критики, сам автор сказал, что всю его философию в целом он воспринимает именно как публицистику, не прошедшую бережно взращенный духовный опыт и умственную аскезу. Независимо от того, поносит Бердяев что-либо или превозносит, считал Ильин, то, что он при этом создает, это всегда «его субъективные химеры». А посему — «мудро будет поступать тот, кто будет читать и слушать его с крайней осторожностью» (с. 257).

С. Франк даже направил письмо архиепископу Русской Зарубежной Церкви Анастасию, в котором хулил книгу Ильина,— но тот ответил отповедью, а другой иерарх, епископ берлинский Тихон, назвал учение философа о борьбе со злом истиной, которую православие носило веками в чувстве и воле и которая теперь впервые выговорена разумом и доказана (с. 274).

Наконец, обязательно следует коротко сказать о последней, вышедшей посмертно книге И. Ильина «О монархии и республике» (США, 1976). Заявленная в ней тема важна для всей отечественной истории в целом и для ее словесности в частности, ибо страна более десяти веков жила при великокняжеском и самодержавном правлении, а верного понятия о его существе по сю пору у большинства исследователей не имеется. Про монархию рассуждают в лучшем случае по таким горе-легитимистам, как В. Шульгин или А. Гучков, единственным важным деянием коих оказалось вырванное насильно, и отнюдь не благородным образом, у последнего царя отречение.

Между тем стоит заметить, что наиболее полное после Иосифа Волоцкого русское учение о самодержавной власти было создано именно в XX столетии, причем в основном людьми, прошедшими все «левые» общественные искусы. Удивительно, что 1905 год совпал с выходом в свет трехтомника «Монархическая государственность» одного из бывших главарей «Народной воли» Льва Тихомирова; а в 1950-е годы, уже на склоне лет, пишет «Воссоздание Святой Руси» бывший либерал и последний министр вероисповеданий Временного правительства А. В. Карташев.

В этом ряду стоит и философски-правовое исследование И. Ильина, который, впрочем, в отличие от них не испытывал резкой перемены основных взглядов. Начинал он занятия этим вопросом еще в 1909 году в Москве при подготовке к профессорскому званию по кафедре энциклопедии права и истории философии права, занимался же на протяжении всей жизни и не успел окончить, лишь указав, какие основные мысли из уже существующих лекций следует поместить в последнюю часть книги. Во введении ее И. Ильин анализирует те затруднения, которые возникают при изучении вопроса о монархии. Первая часть посвящена формальным чертам монархии и ставит проблемы монархического правосознания. Во второй разбираются главные компоненты этого правосознания. Третья ведет речь об основных заданиях монарха, его внутреннем делании и качествах; о подданном монархии, его положении, задачах и делании. В последней части одна глава посвящена опасностям монархии, связанным с лестью, временщиками, самозванцами, браком и наследником династии; вторая — переходу от монархии к республике и обратно (Цит. по журналу «Русское возрож-

дение», Париж —Нью-Йорк —Москва, 1978. №1. С. 188-189).

Приведем лишь наиболее выразительное место работы. Разобрав с юридическою дотошностью, что одними правовыми понятиями невозможно выделить понятие о монархии, философ подходит к необходимости и незаменимости ее духовно-нравственного определения: «Монархия держится любовью подданных к монарху и любовью государя к своим подданным. В душе монархиста живет особенное отношение к государю, а в душе у государя живет особенное отношение к его подданным. Есть оно, это отношение,— и настоящая монархия (не по расчету, не из страха, не по инерции!) живет и цветет, государство крепнет... Люди счастливы, что у них есть царь, и государь ведет свой народ на достойных путях к благоденствию... Нет этого отношения — и монархия превращается в пустую видимость, в иллюзию, в какое-то тягостное и опасное всеобщее недоразумение. Что бы ни гласила писаная конституция, какие бы поступки люди ни совершали,— все начинает идти криво, все становится двусмысленно и недостоверно; начинается неискренность, скрытый протест, разлад, недовольство, неудачи; эти неудачи приписываются монархическому строю, в них обвиняют государя; протесты вырываются наружу, начинается оппозиционное и, далее, революционное движение. Люди думают: вот монархия и в ней все идет криво и вредно; значит, монархия есть плохой государственный строй; и не понимают, что *дух отлетел* и что от монархии осталась одна внешняя видимость, пустая оболочка... Главного не стало. Глубокие родники иссякли. Не стало некоей таинственной силы, животворящей и драгоценной. Исчезло то внутреннее отношение между государем и народом, без которого ни одна монархия не может быть национально-плодотворной» (Русское возрождение. 1978. № 3. С. 172—173).

1988

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мне посчастливилось познакомиться с главным знатоком и издателем Ивана Ильина Николаем Петровичем Полторацким в Мюнхене в 1990 г.; тогда же была достигнута договоренность выпустить в издательстве «Сто-

лица» сборник статей Ильина о России. Но 14 октября того же года профессор Полторацкий, впервые приехавший на Родину (он родился в семье русских беженцев в Константинополе в 1921 г.), неожидвнно скончался от сердечного приступа в Петрограде. Тело его погребли на семейном участке монастыря Русской Православной Церкви за границей, в американском городке Джорданвилль. Как написала мне вдова Тамара Михвйловнв: «Очень красивое и тихое место, напоминает картинки старого времени в России и Польше...»

1991





ПЕРВЫЙ РОМАН СИРИНА



естьдесят лет возвращались на родину произведения Владимира Набокова. Еще в военном 1942 году он предсказывал:

Но воздушным мостом мое слово изогнуто
через мир, и чредой спицевидных теней
без конца по нему прохожу я инкогнито
в полыхающий сумрак отчизны моей.

В 1960—1970-е, в особенности после появления статьи в «Краткой литературной энциклопедии» и довольно ернической заметки «Набоков: во-вторых и во-первых...» в «Литературке», казалось, что вот-вот уже произойдет эта встреча. Тем более что скрытые упоминания и не всегда совестные заимствования из него стали попадаться в нашей словесности все чаще. Однако именно такой «перехват» усиливал опасения исхода совсем обратного. И все-таки мне, например, стало ясно, что он действительно вернется, когда на последней странице «Советской России» вместо заемного слова «кроссворд» появилось и утвердилось знаменитое набоковское «крестословица».

...Первый свой роман, изданный под псевдонимом В. Сирин, Набоков написал в 26 лет — возрасте Гоголя при первом создании «Ревизора». Причем знаменательно, что впервые на Родине он вышел в 1987 году в журнале «Литературная учеба» (№ 6). Обычай ее как бы предполагает разбор «Машеньки», закрыв глаза на будущее «молодого» писателя: случай чрезвычайно завлекательный, но обоюдоострый. Недаром же книга его воспоминаний «Другие берега» заканчивается утверждением, что «на загадочных картинках, где все нарочно спутано... однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда».

Помнится, что впервые бледная копия «Машеньки» попалась мне еще в студенческие годы, но вот полновесную книжку удалось заполучить как раз в 26. Присевши тут же, на Гоголевском бульваре, под вовсе не гоголевским памятником Гоголю, стал смотреть... Вскоре хлынул косой весенний дождь, соседи разбежались, а я так под счастливым зонтом и просидел три часа кряду, покуда весь роман не был пережит заново. Должно быть, для подобного единовременного постижения он и сделан столь короток.

В нем воплощены подлинные судьбы, обращенные набоковским даром из жизни в вымысел. Позже, в 1954 году, в «Других берегах», он изложит исходные происшествия, породившие роман, и назовет истинное место действия — берега той же речки Оредеж под Петроградом. Здесь появится как бы «подкладка» этой, говоря словами автора, «полуавтобиографической повести», — сад его дяди В. И. Рукавишникова; татарский разрез глаз героини, которой он вновь даст псевдоним, «окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени» — Тамара; и пара подруг, которых вскоре заботливая судьба приберет прочь с пути; велосипедные прогулки с фонарем, заряженным магическими кусками карбида. Та же неблагосклонная для любви петроградская зима, оканчивающаяся тусклым расставанием навсегда в случайном вагоне, откуда Тамара, впрочем, в отличие от Машеньки шагнет не в сумерки, «пушисто пахнущие черемухой», а в «жасмином насыщенную тьму».

Но уже в «Машеньке» впервые заявит о себе основная сквозная тема Набокова: тема двух домов. Дом, где временно проживает Ганин, главный герой повествования, прозрачен не столько для грохочущих рядом поездов, сколько для читателя — как сущий символ не одного лишь проходного двора изгнания, но и прошлого как такового. В конце он его покидает, «не вернется больше никогда». «И в этом уходе целого дома из его жизни была прекрасная таинственность». Причем Ганин наконец понимает, что любезный его сердцу образ Машеньки тоже остался навеки «там, в доме теней, который сам уже стал воспоминаньем». А вслед выплывает дом другой, только еще строящийся...

Набоков уехал из России девятнадцати лет от роду вместе с семейством, во главе которого был его отец — известный правовед и деятель партии кадетов Владимир Дмитриевич. Любопытно, что как раз накануне отъезда,

в 1918 году, он по свежим следам написал в Крыму воспоминания «Временное правительство», «убедившись в глубокой несостоятельности сил» Февраля, в котором сам принимал заметное участие. Почти сразу после выхода в Берлине эти мемуары были напечатаны в Москве в 1923 году издательством «Мир». И среди общих, верных или пристрастных оценок в них наблюдается убийственная точность детали, перешедшая в наследство сыну — чего стоит хотя бы указание его как товарища председателя «Совета Российской республики», последнего детища февральской революции (представлявшего из себя нечто среднее между прежним Государственным советом и «директорией»), что это «Совещание старшин можно смело назвать синедрионом...»

Однако девятнадцать лет — возраст для души уже немалый. Не зря о Ганине, покидающем отечество, Набоков напишет: «...словно жили одни только его глаза, а душа притаилась». А в «Других берегах» вспомнит особо, как его «мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увезти с собой, кабы предвидел разлуку».

Среди обширного потока зарубежной Набоковианы вспоминается лукавое сравнение «Машеньки» и «Лолиты». Приметивши, что второй дом в конце «Машеньки» напоминает книжный том: сперва «легким переплетом» крыши, когда слово «переплет» трижды возникает на тесном пространстве полустраницы, а затем уже и впрямую покрывающая его черепица уподобляется «большой книге»— и тут-то Ганин понимает, что «роман» с Машенькой кончился навсегда,— автор убедительно показывал, что это второе здание и есть будущие книги, все творчество писателя как таковое. Но затем следовало уже куда более шаткое продолжение в виде красивого парадокса: роман «Машенька» объявлялся наиболее безнравственным, а долгое время соблазнявшая завзятых фарисеев «Лолита»— самым чистым романом о любви, ибо в первом Набоков бросает на волю судьбы старую возлюбленную Машеньку-Россию, а во втором воспевает новое чувство к молодой прелестнице Долорес-Америке. И что касается «Лолиты», дело, пожалуй, действительно так обстоит; но вот в отношении «Машеньки» — напротив.

Разлука с ней на деле приравнена разлуке с родиной в главке девятой романа; тождество их вновь подтверждается и в последней: юность героя и его Россия воплощены именно в ней. Зато спустя четверть века в воспоми-

наниях он уточнит, что «потеря родины оставалась для меня потерей возлюбленной», добавив, однако: «...пока писание довольно, впрочем, неудачной книги («Машенька») не утолило томления». Чем-то с высоты зрелого дара он был в ней неудовлетворен...

Уже в первом романе появляется и такая необходимо присущая всему творчеству писателя тема, как набоковский «кинематограф». Здесь он намечен как неуправляемое странствие по миру жутких автоматических близнецов: бедные изгнанники вынуждены подрабатывать в «толпе» на съемках фильмов, наивно полагая эту продажу лица всего-навсего разовой, и не ведают, что породили на самом деле «дрожащие теневые двойники русских случайных статистов, тени, проданные за десять марок штука и Бог весть где бегущие теперь в белом блеске экрана». Затем он станет главным героем блистательной «Камеры обскуры», а позже возникнет вновь в англоязычных произведениях — рассказе о приключениях Плевицкой «Помощник режиссера» и романе «Ада».

Если же бросить взгляд не в будущее набоковских произведений, а заняться вопросом об их прошлом, рассмотреть корни образов,— то в первую голову, конечно, следует упомянуть непосредственного предшественника по побочной, «набоковой» страсти — С. Т. Аксакова с его очерком «Собирание бабочек». Кроме того, глядя назад, можно в самой истории обнаружить совершенно «протонабоковские» случаи и положения. Вот, скажем, происшествие с его предком — братом прадеда и героем наполеоновских войн, генералом от инфантерии Иваном Набоковым. Он был комендантом Петропавловской крепости, когда в ней был заключен Достоевский и шло следствие по делу петрашевцев. Вызванный на допрос поэт Аполлон Майков, выйдя из комнаты, где заседала комиссия, заблудился во мраке коридоров Петропавловки — и тут неожиданно наткнулся рукою на металлическую звезду. Она, как оказалось, украшала грудь генерала Набокова, которого Майков впоследствии назвал «добрым, но суровым стариком»,— он и указал испуганному Аполлону путь на свободу. Любопытные воспоминания об этом А. Майкова опубликованы не так давно в восемнадцатом томе академического собрания Достоевского; но Набоков следил за свидетельствами о косвенном участии прадяди в его истории по материалам, появлявшимся в советской печати в 1920-е годы, о чем свидетельствуют страницы «Других берегов».

А вот какое-либо влияние современных, в особенности

иноязычных, образцов Владимир Владимирович начисто отвергал. И когда журналисты пытали про родство с чем-либо «кафкианским» либо «прустовским», он неизменно — и справедливо — утверждал, что стиль у него чисто набоковский.

В этой связи чрезвычайно показателен один из высочайших его образцов, служащий как бы завершением темы «Машеньки» и ее «раскрытия» в «Других берегах» — небольшой, всего в пятнадцать страничек, рассказ «Адмиралтейская игла» из последнего, третьего сборника «Весна в Фиальте». Вновь возникают в знакомых петроградских окрестностях молодой поэт и дачница с удлиненным разрезом глаз и грудным голосом, питающая страсть ко второразрядным стихам; «велосипедный» роман, скатывающийся к разрыву с переносом места действия в зимний город святого Петра,— вплоть даже до таких подробностей, как кинематограф «Паризиана» или белые гетры протагониста. Опять не столько любовь, сколько наука вспоминать ее и упражнение в тоске по еще не прошедшему прошлому. Но суть происходящего представлена уже на пределе выразительности.

Некий изгнанник, прочитавший новый роман незнакомого ему Сергея Солнцева, шлет автору чрезвычайно возмущенное письмо. Ему представляется, что бездарный сочинитель где-то подслушал историю его собственной первой любви и, слегка изменив имена, превратил ее в пошлый фарс. Сперва читатель-поэт ловит романиста на том, что «все фразы его запахиваются налево» и под цветистым псевдонимом укрывается заурядная литературная дама. Пытаясь изо всех сил вызволить из-под ее цепких манерностей подлинную живость чувства, он вязнет, вновь выкарабкивается и, наконец, срывая маску с адресата, обращается к нему как к самой своей бывшей подруге: «Катя, отчего ты теперь так напакостила?» Он сетует: «Не стоило так радоваться и мучиться, как мы с тобой радовались и мучились, чтобы свое оплеванное прошлое найти в дамском романе»; заканчивая послание маленьким «может быть» — и оттого его не подписывая,— что вдруг это все-таки редкое совпадение, а коли так, то «прошу Вас извинить меня, коллега Солнцев».

И неминуемо здесь возрождается, хотя несколько иронически, отождествление любви и отечества: Россия, Ольга.

Такого высокого разбора словесность можно было, ко-

нечно, до поры до времени не замечать, но сделать изгоем в русской литературе не в силах уже никто.

Набоков пишет в своих воспоминаниях, что за три года учебы в Кембридже он «только и занимался», что «кропотливой реставрацией моей, может быть, искусственной, но восхитительной России», пока она наконец, по его мнению, не была закончена так, что «я уже знал, что закрепил ее в душе навсегда».

Затем в романе «Подвиг», посвященном кембриджской поре, появляется первая попытка возрождения ее — под видом пока еще игры в некую «Зоорландию». Чуть позже в «Приглашении на казнь» взыскуемая земля наречется по одному из «цветочных имен» первообраза Машеньки — «Тамарины сады». Зоорландия обратится в английском «Бледном огне», переведенном на русский уже вдовой писателя Верой Набоковой, в вожделенную мятущуюся страну Зембла. А еще немного спустя, в объемистой «Аде», место действия вообще переносится в иной мир, где некогда всю Америку открыли и заселили русские, оставшиеся среди англосаксонских эмигрантов как некая аристократия духа.

Помимо воссоздания «своей» России, Набоков по крайней мере дважды сочинил себе тайное «возвращение» в Петербург (Москвы он как в детстве не видел, так и позже знать не хотел): в стихотворении 1947 года «К кн. С. М. Качурину» и в последнем напечатанном при жизни в 1974 году романе «Погляди на скоморохов!»

И вновь все это замыкается на теме «Машеньки». Говоря о переписке с ее прообразом в «Других берегах», Набоков признается: «Этим письмам ее, этим тогдашним мечтам о ней, я обязан особому оттенку, в который с тех пор окрасилась тоска по родине. Она впилась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать ее можно только с жизнью. Ныне, если воображаю колтунную траву Яйлы или Уральское ущелье, или солончаки за Аральским морем, я остаюсь столько же холоден в патриотическом и ностальгическом смысле, как в отношении, скажем, полынной полосы Невады или рододендронов Голубых Гор; но дайте мне, на любом материке, лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда душа вся перевертывается. Каково было бы в самом деле увидать опять Выру и Рождествено, мне трудно представить себе несмотря на большой опыт. Часто думаю: вот, съезжу туда с подложным паспортом, под фамилией Никербокер. Это можно было бы сделать».

Попытки — пусть и неудачные — создать усилием воображения «иную» Россию принадлежат, конечно, к области мечты; но ведь именно мечта вместе с действительностью, как два человеческих глаза, создают в точке схода линий зрения объемный духовный образ.

И потому вовсе не напрасно дядино имение Рождествено, где происходит действие «Машеньки», Набоков знакомо переименовал в Воскресенск.

Так что, видимо, все-таки не прав крупнейший современный писатель, по своему замечательно озабоченный делом воскресения памяти, когда он, признавая за Набоковым могучее дарование, посетовал, что тот «не поставил его на службу родине»,— и вот потомкам приходится по крупицам воссоздавать то, что поленились записать непосредственные свидетели. Данную ему меру талантов создатель «Машеньки» умножил, согласно евангельской притче, приложив к исходным пяти по крайней мере еще столько же.

Есть у него одно примечательное, уже английское стихотворение 1945 года «Вечер русской поэзии», где речь идет о прочитанной на эту тему лекции в американском женском клубе. После забавного описания разговора двух взаимно непересекающихся сторон вдруг возникают строки величайшей серьезности — и по-русски. На прощание воспитанные дамы спрашивают автора, как будет звучать на его родном языке «восхитительная беседа» и «спокойной ночи». Он отвечает совсем иным, потрясающе трагическим русским двустишием, и тотчас вслед почти конгениальным переводом его, с сохранением точной рифмы, на английский

«How would yog say «delightful talk» in Russian?»
«How would you say «good niuht»?»
Oh, that would be:
Бессонница, твой взор уныл и страшен;
любовь моя, отступника прости.
(Insomnia, your glance is dull and ashen,
my love, forgive me this apostasy[1].)

.1986

[1] В 1989 году было наконец раскрыто подлинное имя «первой музы Набокова» — Вера Евгеньевна Шульгина; рассказ о ее судьбе и снимок в молодости появились 9 августа в газете «Известия».



ТЕАТР ВЛАДИМИРА НАБОКОВА



абоков оставил значительное драматургическое наследие: его перу принадлежат девять пьес и сценарий для фильма по роману «Лолита». Однако он так и не собрал их воедино в книгу — еще одна загадка, заданная прославленным чародеем слова. Разрешить ее сейчас навряд ли возможно, однако одна попытка сделать это сама по себе уже весьма увлекательна для исследователя.

Выберем в качестве предмета для изучения две пьесы, напечатанные в 1938 году, в самое «пограничное» для писателя время: эпоху двух последних его русских романов «Приглашение на казнь» и «Дар», канун переезда из Европы в Америку и преддверие решительной смены языка — не пройдет и трех лет, как появится его первый роман на английском.

Первая из этих пьес, «Событие», была написана в Ментоне в 1938 году и появилась в том же году в четвертом номере журнала «Русские записки». Уже в подзаголовке ее, обозначающем жанр — «драматическая комедия»,— начинается излюбленная набоковская игра в перевертыши, превращение обыденных вещей в необыкновенные и наоборот. Она продолжается безостановочно на протяжении всего текста: несмотря на то что в «Событии» как будто нарочно соблюдены «три классических единства» канонизированных правил драматургии, оно начинается с отсутствия одного из главных привычных приличий классической пьесы — здесь нет списка действующих лиц (между тем как их совсем немало, полторы обычных дюжины — нормальных, а не «набоковых», каковые он вместе с чортовыми определял числом «13»).

Действие происходит в неопределенном провинциальном городке, как будто бы русском, в неопределенное время. Утром в день пятидесятилетия писательницы средней руки Опаящиной, живущей вместе с дочерью Любой и зятем-художником Трощейкиным, к ним приходит неожиданное известие: из тюрьмы досрочно вернулся Барбашин, некогда возлюбленный Любови, угодивший за решетку из-за попытки застрелить своего счастливого соперника вместе с изменившей подругой. «Погодите, вернусь и добью вас обоих!» — крикнул он тогда на прощанье; и вот во взвинченной атмосфере ожидания исполнения угрозы, которое постепенно ощущается как все более неизбежное, и проходит этот вдвойне примечательный день, а вместе с ним и вся пьеса.

Показательно, что первым ее «действующим лицом» оказывается не человек. «Сцена сначала пуста,— пишет в начальной ремарке автор и вводит весьма занимательного героя.— Затем через нее медленно катится, войдя справа, сине-красный детский мяч». Ему предстоит вплести в канву произведения многозначительный, хотя как будто бы и побочный узор.

Проследим его движение — оно может оказаться и ключевым. Чтобы понять, откуда появляется такая возможность, следует обратить внимание на чрезвычайно характерное рассуждение в мемуарной книге Набокова «Другие берега». В первой главе он под конец рассказывает, как однажды в детстве с ним затеял игру в спичечные фокусы пришедший в гости приятель отца генерал Куропаткин. Представив один трюк, вспоминает автор, он совсем уж было собрался «показать другой — может быть лучший фокус, но нам помешали. Слуга ввел его адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крякнув, Куропаткин в полтора, как говорится, приема встал с оттоманки, причем разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной Армии.

Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга... Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние,

волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись; пропала и его армия; провалилось все...». Однако, заключает Набоков, «обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста». Следует добавить, что в качестве творца он сам неутомимо создавал, сплетая и расплетая в собственных произведениях, множество изысканнейших узоров именно подобного рода.

При этом мяч служил одним из излюбленных набоковских вещей-символов. Описанием его потери и обретения «закольцована» прекрасная поэма в романе «Дар», намеренно оставленная как бы не полностью дописанной в середине; роль мяча можно проследить на втором плане других романов, таких, как «Король, дама, валет» и т. д. В нашей пьесе мячей всего пять: Трощейкин пишет «Портрет мальчика с пятью мячами» и появляется на сцене с упреками Любови за то, что налицо лишь два из них, остальные куда-то постоянно закатываются. Любовь удивлена непременной необходимостью именно в таком количестве второстепенной натуры, она спрашивает раздраженно — нельзя ли вообще «сперва закрасить мячи, а потом кончить фигуру». На это художник отвечает словами, от которых, вероятно, не отказался бы и сам его создатель: «Видишь ли, они должны г о р е т ь, бросать на него отблеск, но сперва я хочу закрепить отблеск, а потом приняться за его источники. Надо помнить, что искусство движется всегда против солнца».

Третий мяч несколько попозже принесет Опаяшина, последние два — служанка Марфа, вскоре после чего по окончании сеанса мальчишка разобьет мячом зеркало. В качестве его нового воплощения во втором действии появится второй объект портретирования, вдова Вагабундова, влетая на сцену «как прыгающий мяч». Во время сцены «откровения», речь о которой будет подробнее идти ниже, Любовь проговаривается, что зеркало будто бы разбил их собственный маленький сын, умерший в двухлетнем возрасте — через два дня ему должно было бы исполниться 5 лет: символика двух и пяти мячей начинает «играть» свою собственную роль в пьесе. Наконец, третье и последнее действие начинается видом картины, все мячи на которой уже дописаны. Трощейкин сетовал, что разбитое стекло — скверная примета (кто-то должен умереть в доме) — и во́т тут-то поверие не срабатывает. Фальстарт...

В «Событии» так или иначе обыгрывается, задевается

или косвенно упоминается множество культурных реалий, но неизменно не в лоб, опосредованно. Набоков был искуснейшим мастером аллюзий: слова его героев метят не в сердцевину, не в яблочко той мысли, какую они хотят выразить, но попадают лишь в край ее, вызывают мгновенную искру и, пролетев по касательной, удаляются в бесконечное пространство, наполненное первозданной бессловесной тьмой подсознания. Недаром Любовь замечает, что предполагаемый убийца Барбашин «говорил о пьесах, что если в первом действии висит на стене ружье, то в последнем оно должно дать осечку...»

Автор перевранного здесь трюизма Чехов является мишенью создателя «События» в первую голову. Трощейкин сам в первом акте прямо сравнивает с «тремя сестрами» жену, тещу и... себя; изысканно-пошловатая «авторша» Опаяшина — чье имя-отчество — чеховское «в юбке»: Антонина Павловна — вместе с приглашенным ею на день рождения «маститым» писателем явственно несут на себе отблеск соответствующих героев «Чайки»; а появляющаяся впоследствии сестра Любови Вера, выражая тоску по прошлому, звучит эхом третьей знаменитой чеховской пьесы, чуть ли не называя ее по имени: «Когда папа умер, и был продан наш дом и сад, мне было обидно, что как-то в придачу отдается все, что было в углах нашептано, нашучено, наплакано». Старая служанка Марфа — как бы женский двойник Фирса из того же «Вишневого сада», но если присмотреться, по сути в ее образе произошло жутковатое изменение — в начале третьего действия Любовь вынуждена поправлять ее за то, что она «недостаточно сочно сыграла» сварливую полуграмотную старуху и просит позаковыристей перевирать сложные слова.

Вторым прообразом, с которым соотносится наша пьеса, несомненно служит «Ревизор» — недаром Набоков в своей книге о Гоголе решительно (и, как нам кажется, справедливо) назвал его вообще «лучшей из русских пьес». Принесший «потрясающее известие» Ревшин (имя, которое сразу же хочется переставить в «Вершин», затем «Вершинин» и т. д., ряд превращений может быть весьма долог) чрезвычайно напоминает пару провинциальных болтунов Бобчинского и Добчинского; и Любовь в конце концов замечает матери о начавшемся переполохе: «Одним словом: Господа, к нам в город приехал ревизор». Следует отметить, что в позднем автокомментарии к «Ревизору», «Развязке», Гоголь вывел идею о том, что по-

длинный ревизор — смерть. В «Событии» это заметно гораздо явственней, чем в первоисточнике: действительно, угроза смерти приходит «ревизовать» пустое существование Трощейкина, невольно перекликающегося фамильным прозвищем с Хлестаковым (тот «хлещет», этот «трещит»). Причем реплика Любови о сходстве с гоголевской комедией звучит в ответ на замечание ее матери про то, что сама жизнь их наталкивает на мысль сочинить из нее драму: «Смешно, о чем я сейчас подумала: ведь из всего этого могла бы выйти преизрядная пьеса».

В центре второго действия происходит сцена, представляющая собой любопытнейшую аллюзию на заключительную «Немую сцену» «Ревизора». Опаяшина принимается читать своим гостям только что сочиненную «сказку» из цикла «Очарованные озера», и тут, по воле автора, звучание всего празднества неожиданно смолкает. «Собственно, следовало бы,— пишет он в особой ремарке,— чтобы спустилась прозрачная ткань или средний занавес, на котором вся их группировка была бы нарисована с точным повторением поз». На фоне этой обозначившейся онтологической пустоты окружения происходит диалог душ Любови и Трощейкина (о том, что это был разговор безмолвный, косвенно говорится впоследствии) — они подымаются на «мгновенную высоту», из которой столь же быстро летят вниз, «снова сливаясь с жизнью». В этот миг Трощейкин замечает про остальных героев: «Это так — мираж, фигуранты, ничто. Наконец, я сам это намалевал. Скверная картина — но безвредная».

Поминается также, и не раз, другой любимый писатель Набокова, Пушкин. В «откровении» Любовь недаром вспоминает строку «Онегин, я тогда моложе, я лучше...» (и еще раз произносит ее впоследствии). На замечание матери о том, чтобы она не вздумала вновь переметнуться к старому другу, она лукаво отшучивается: «Я ему с няней пошлю французскую записку...» Наконец, перед финалом вызванный охранять Трощейкина от покушения «агент» неожиданно затягивает: «Начнем, пожалуй...»

Не оказались обойденными игрой в искусные искажения и иностранные авторы: «маститый» писатель грубовато перевирает начало монолога Гамлета («Вот в чем вопрос»), произнося его по-английски так, что выходит похабщина на церковнославянский лад: «Зад из зык вещан» (причем последнее «е» еще и передано через «ять»). Забавная пародия на другое знаменитое произведение замечена самими героями: Трощейкин, вспоминая покушение

Барбашина, говорит, что тот открыл огонь, когда художник держал в руке яблоко: «Продолжает стрелять,— говорит он Ревшину,— а я с яблоком, как молодой Тель». Опять все наоборот: Вильгельм Тель попал в яблоко на голове сына, не задев последнего; Барбашин простреливает руку Трощейкина, держащую яблоко...

Не позабыл Набоков и себя самого: герои упоминают поставленную по его одноименному роману «фильму» «Камера обскура», причем не просто, а как «лучшую фильму сезона»; Трощейкин с женой собрались на нее уже было, а все-таки не пошли...

Есть в числе «занимательных перевираний» и просто развлекательные мелочи: Хлестакова-Трощейкина зовут так же, как Горького — Алексей Максимович; причем тщедушный художник претендует на роль потомка воеводы «XIV века» и требует писать свою фамилию через «ять», а его столь же жалкий коллега Куприков влачит не по чину княжеские имя-отчество «Игорь Олегович» и т. д.

Вернемся, однако, к завязке: в ней находится такой обязательный для комедий былых времен атрибут, как вещий сон, с неотвратимостью сбывающийся в финале. Только содержание его в отличие от далеких предков подозрительно абсурдно: сестре Любови Вере накануне привиделось, что Барбашина кто-то «запер в платяной шкап, а когда стали отпирать и трясти, то он же прибежал с отмычкой, страшно озабоченный, и помогал, а когда наконец отперли, там просто висел фрак». Общий ложный финал сопровождается субдоминантными: первое действие кончается криком Трощейкина, вдруг разглядевшего на улице через окно своего погубителя — но из начала второго выясняется, что это была лишь ошибка его перепуганного воображения; в свою очередь второй акт завершается появлением торговца оружием со странным именем Иван Иванович Щель, сообщающего, что в его лавке приобретен приятелем Барбашина по его голову браунинг — и эта угроза оказывается ложной. Приятелю художника Ревшину Барбашин даже посылает записку лично «в руки», но записка эта — пустой клочок бумаги...

Наиболее оригинальное в отношении традиций случается впервые в середине второго действия: собравшиеся к Опаяшиной гости, пародирующие ходячие драматургические штампы,— покуда одна старуха вообще не начинает сыпать «раёшным стихом»,— представляют собой уже не комедийную компанию, а совершенно явственную сцену

из будущего «театра абсурда», который только еще ждет своего рождения не ранее, чем через десяток-другой лет...

Главным сюжетным ходом завершающего действия является, как бы подсказываемое друг другу самими героями, намеренное повторение ситуации того дня, когда произошло первое покушение. Любовь, испытывая известное чувство «воспоминания о будущем», говорит мужу: «И главное — это все было уже раз, все-все так было: ты сказал «тень», я сказала «младенец», и на этом вошла мама». Тотчас действительно появляется Опаяшина, замечающая в свою очередь, что «все это как-то повторяется».

В первый раз Трощейкина спас случайно ночевавший у них брат Опаяшиной Миша; теперь на его роль появляется человек с «говорящим именем» Михей Михеич Мешаев (он ведь «мешает»!), да еще — Второй. Мало того, охранять чету от Леонида Викторовича Барбашина приходит нанятый в сыскном бюро Барбошин Альфред Афанасьевич, персонаж совершенно безумный, который первым делом сообщает Трощейкину, что написанные тем собственные картины наверняка являются подделками, и далее ведет себя в том же роде.

Незадолго до финала наконец Опаяшина упоминает то слово, что принесло имя пьесе — «событие»: под ним она подразумевает возвращение потенциального убийцы. Но для зрителей, равно как и для читателей, «событием», конечно, служит не это, а непосредственно неумолимо надвигающееся покушение...

Между тем Мешаев-Второй оказывается доморощенным оккультистом. Он гадает по руке Любови, что она собственно должна была умереть еще несколько лет назад, но раздвоение линии жизни лишает его возможности с точностью определить дату ее действительной смерти. Затем он берет руку агента Барбошина и мимоходом сообщает, что вообще-то его прогнозы обычно точны: однажды он предсказал одному приятелю «всякие катастрофы», а только что встретил его на вокзале — оказалось, тот «просидел в тюрьме из-за какой-то романтической драки» несколько лет и теперь «уезжает за границу навсегда. Некто Барбашин, Леонид Викторович... Просил кланяться общим знакомым, но вы его, вероятно, не знаете...» Этими словами завершается пьеса. Медленно переворачивавшийся с ног на голову сюжет окончательно перевалился кверху тормашками: события не происходит.

Канва пьесы любопытным образом напоминает схему рассказа «Занятой человек» из второго сборника Набокова «Соглядатай». Там некий газетный фельетонист получает в смутном откровении известие, что должен умереть в возрасте Христа, в 33 года. Весь этот год он существует в атмосфере все возрастающего животного страха; параллельно сообщается, что у него заводится сосед, некто Иван Иванович Энгель (то есть по-немецки «ангел»). Перемогшись кое-как в течение рокового срока, писатель накануне 34-летия решается пригласить на день рождения знакомых и готовится к их встрече; тем временем сосед его с крайним нетерпением ждет какого-то известия, нервно бегая за стеною по комнате. За час-другой до прихода приятелей герой высовывается в окно, тотчас на улице происходит случайная перестрелка, и одна пуля как будто пролетает мимо его носа... В тот же момент сосед получает долгожданную телеграмму. Утром, выходя проводить гостей, писатель ненароком натыкается на нее — текст, напечатанный латинскими буквами, гласит: «Продление согласен». А ночью ему снится сосед Энгель с пушистыми крыльями, поющий в каком-то неведомом саду. Сюжеты, таким образом, сходны в главном: «события», вокруг которого построены оба произведения, не случается...

В пьесе нельзя не усмотреть также некоего набоковского опыта, который он ставит над зрителем (или читателем). Несколько раз возникает знакомая тема «театра в театре»: еще в самом начале Трощейкин говорит, будто задумал написать такую картину: «Стены как бы нет, а темный провал... и как бы, значит, публика в туманном театре, ряды, ряды... сидят и смотрят на меня. Причем все это лица людей, которых я знаю или прежде знал и которые теперь смотрят мою жизнь... Вот так сидят передо мной — такие, бледновато-чудные в полутьме». Почти сразу он, правда, отказывается от замысла: «А может быть — вздор.\Так: мелькнуло в полубреду,— суррогат бессонницы, клиническая живопись... Пускай опять будет стена». Но тема эта неумолимо возвращается во время «немого откровения» (при этом приводя на мысль параллель с последними страницами «Приглашения на казнь»): Любовь замечает, что в этот миг «подъема» их всего двое, два одиночества, и «оба совсем круглы» — «одни на этой узкой освещенной сцене,— откликается Трощейкин.— Сзади — театральная ветошь всей нашей жизни, замерзшие маски второстепенной комедии, а спереди — темная глубина и глаза, глаза, глаза, глядящие

на нас, ждущие нашей гибели». Зритель-читатель, искусно подготавливаемый автором, действительно неминуемо поддается этой, не совсем хорошей, страсти — угадать, откуда же придет к героям смерть. И тут автор дает ему больный щелчок по лбу: оказывается, пока он наблюдал за приближением покушения, расставивший сети писатель наблюдал в свою очередь за ним. Все вновь поменялось местами: подлинным актером невольно был зритель, подлинным зрителем — драматург...

Следует обратить также внимание на самый острый, самый противоречивый аспект пьесы — общий, кстати, для всех почти произведений Набокова: это перевернутая картина мироздания, к которой логически приводят писателя все его изобретательные магические игры с миром. Вот Трощейкин говорит об умершем маленьком сыне: «Умер двух лет, то есть сложив крылышки и камнем вниз, в глубину наших душ — а так бы рос, рос и вырос балбесом». Тут примечательны не столько обратная логика или звуковая перекличка с «бесом», а направление движения: ангельская душа ребенка с крылышками устремляется, оказывается, после смерти не вверх, а вниз!

При этом многое, даже самое главное, кверху ногами и на земле: Любовь, единственный как будто персонаж, выписанный так, чтобы вызвать сочувствие у зрителя, в минуту искренности говорит о творчестве вещи, с точки зрения самого автора, безобразные: «Надо писать картины для людей, а не для услаждения какого-то чудовища, которое сидит в тебе и сосет»,— потому что так «судят люди». А ничтожный Трощейкин решительно возражает, практически повторяя то же, что не раз говорил сам Набоков в интервью о собственном творчестве: «Люба, не может быть, чтобы ты говорила серьезно. Как же иначе,— конечно, нужно писать для моего чудовища, для моего солитера, только для него».

И все же в целом пьеса напоминает лучшие романы русского Набокова — такие, как «Отчаяние», «Король, дама, валет», «Защита Лужина». Этого нельзя сказать о втором избранном нами для изучения произведении — драме «Изобретение Вальса»: оно как раз является одним из наиболее «модернистских» творений Набокова, приближаясь по поэтике к самому, пожалуй, отвлеченно-сухому роману «Приглашение на казнь». Примечательно, впрочем, что только ее сын автора Дмитрий (в 1966 г.) перевел при жизни Набокова на английский язык. Написана

же впервые она была в сентябре 1938 года в Кап дА́нтиб и напечатана тогда же в 11-м номере «Русских записок».

Здесь тоже нет перечня действующих лиц и представлена не названная страна: не Англия, не Франция, не Германия, не Польша, но и не Россия, как можно вывести путем косвенных умозаключений. К военному министру парламентской республики западного типа, еще недавно бывшей королевством, является некто, называющий себя псевдонимом Сальватор Вальс (то есть «Спаситель Качающийся», хотя, при желании, «формулу ван-дер-Вальса» можно найти даже в энциклопедии изд. Брокгауз — Эфрон). Он предлагает потрясающее изобретение т е л е м о р, приспособление, посредством скрещения двух невидимых и неведомых лучей вызывающее взрыв страшной силы, уничтожающий в любой точке мира все напрочь в радиусе до полутора километров. Придумал его, впрочем, не сам Вальс, а его родственник-«старичок», которому он за полчаса до взрыва дает по радио зашифрованные команды. Министр, естественно, принимает его за сумасшедшего — и далее все следует по хорошо наезженной колее фантастических произведений, каких на свете тысячи...

Поначалу от них отличает пьесу лишь новый неодушевленный «проходной» герой второго плана — на сей раз это не мяч, а гора. Уже вторая фраза драмы, авторское описание декораций, гласит: «В окне вид на конусообразную гору». Вальс является по рекомендации генерала Берга (что тоже значит «гора» по-немецки). После того как ему отказывают в доверии, он взрывает ту самую гору, что виднелась вдали; это производит шок и одновременно приносит ему признание. Подавляющее большинство действующих лиц намеренно безличны, они носят взаимозаменяемые фамилии, составляющиеся из «Берга» по принципу омонимии или близкие по звучанию: в первом действии это чиновники Горб, Герб, Бриг, Брег, Гриб; во втором 11 старых генералов на военном совете — Берг, Бриг, Брег, Герб, Гроб, Граб, Гриб, Горб, Груб, Бург, Бруг (три последних вовсе представлены куклами); в третьем появляются архитектор Гриб, повар Гриб, шофер Бриг, дантист Герб, надзирательница — «мадам» Граб, учитель спорта Горб, садовник Брег, врач Гроб. Накануне финала вновь является по зову самого Вальса генерал Берг, несокрушимо, как гора, выслушивающий его угрозы, после чего за окном

воскресает и сама якобы уничтоженная первым взрывом конусообразная гора, символизируя крушение всей затеи Вальса.

Другой «путеводительной подробностью» служит повторение сходной ситуации в начале: пьеса открывается странноватой сценой, в ходе которой полковник — секретарь военного министра — пытается вынуть застрявшую у того в глазу соринку. Вскоре заявившийся на прием Вальс следующим образом кратко излагает историю своей жизни: «В ранней молодости я засорил глаз,— с весьма неожиданным результатом. В продолжение целого месяца я все видел в ярко-розовом свете, будто гляжу сквозь цветное стекло. Окулист, который, к сожалению, меня вылечил, назвал это оптическим заревом. Мне сорок лет, я холост. Вот, кажется, все, что могу без риска сообщить вам из своей биографии».

Родом такого «оптического зарева» в мировом масштабе оказывается и все происшествие, которому посвящена пьеса. Покуда разворачивается действие медленного признания власти Вальса, из шкафа на подмогу ему является необычный персонаж по имени «Сон», журналист; автор замечает при этом: «Его может играть женщина». Хотя «говорящее» имя его склоняется в отличие от соответствующего существительного «Сона, Сону» и т. д. и пишется с прописной буквы, есть основания полагать, что его следует принимать в двух ипостасях. Вдобавок, когда Сон неожиданно является, теперь уже из ящика с картами, на военном совете, и один генерал возражает, что его участие нарушит численный состав совещания — тот же генерал Берг возражает: «Полноте, генерал. Это так — фикция. Ведь это — Сон. Нас столько же, сколько и было».

В ходе этого заседания маразматические генералы соревнуются в глупости, сыпят каламбурами (приводящими на память каламбуры поганенького отчима героини из «Дара») — хотя Вальс еще заранее заявил министру· «Каламбурами вы меня не удивите. У меня в Каламбурге две фабрики и доходный дом»,— между тем нарастает вновь ощущение, что Набоков и тут угадал появление «театра абсурда». Вдруг один из стариков встает и читает якобы «заданное» на дом стихотворение «К Душе» некоего поэта Турвальского (тут легко можно угадать, что следует разложить фамилию на «тур вальса»)· выясняется немаловажная подробность: в юности Вальс подвизался как неудачный поэт Он и прежде проговорился один раз

об этом, утверждая, что все юношеские стихи уничтожил; но нет, ему еще пропоет одно из них вслух толстая проститутка в третьем действии. Мало того, когда попытка генералов откупить у Вальса изобретение проваливается, на сцене появляется (вернее, вновь наоборот — *не* появляется, играя отсутствием: актеры должны лишь воображать его приход) «Господин Президент Республики»; он вынужден уступить свое место самому Вальсу, и тот в порыве вдохновения победы переходит на белый стих, которым исполняет всю свою «тронную речь», представляющую собой едкую пародию на «Великого инквизитора». Он обещает небывалое процветание всему миру под своим управлением и для начала велит уничтожить в государстве все оружие. На стихи переходит и Сон:

Он победил,— и счастье малых сих
Уже теперь зависит не от них.

Так оканчивается второе действие пьесы. Казалось бы, уже две трети ее протекли в хорошо знакомом русле политической фантастики, прорытом Г. Уэллсом и армией его последователей вроде К. Чапека, А. Беляева и проч.

Но вот третий акт переворачивает, как и следовало ожидать опытному читателю Набокова, все кверху дном. После выполнения декрета об уничтожении оружия в стране воцаряется хаос, а пришедший случайно к власти,— хотя и мечтавший об этом все годы унижения и нищеты,— Вальс оказывается неисправимым пошляком, наделенным всеми прелестями комплекса «человека из подполья».

Заявленная любовь его к человечеству оказывается на пробу крайне хрупкой: при малейшем проявлении неповиновения он уничтожает с корнем 600-тысячный город и уже готов, попробовав крови, пуститься на более широкий террор. Одновременно он строит планы удалиться на уединенный остров «Пальмора» (варианты — «Пальмин», «Пальмарий»), где надеется выстроить хрустальный дворец со следующими дивами: «Давняя моя мечта... чтоб было такое приспособление,— не знаю, электрическое, что ли,— я в технике слаб,— словом, проснешься, нажмешь кнопку, и кровать тихо едет и везет тебя прямо к ванне... И еще я хочу, чтоб во всех стенах были краны с разными ледяными напитками... Все это я давно-давно заказал судьбе,— знаете, когда жил в душных, шумных, грязных углах...» Сродни этим углам и прочие

его мечты, среди которых создание библиотеки из «уникумов», изъятых из всех книгохранилищ мира, и т. п., вплоть до «салона» из красивейших женщин покоренного государства; при том он оказывается девственником, одолеваемым сластолюбивыми кошмарами, и даже навстречу собранным для его ложа красоткам выходит, из странной стеснительности, не иначе как в дурацкой маске.

Надоедливый честный полковник, ставший по преемству его секретарем, при виде каждого очередного безобразия не устает повторять, что это все бред безумца,— и неожиданно, при всем несочувствии зрителя к нему, именно его слова оказываются наиболее близкими к истине. По мере более полного проявления некомпетентности Вальса в захваченном государственном хозяйстве все вокруг него становится жестоко-бессмысленным, переходя грань разумного и вступая в область кошмара. Посреди самых важных занятий ему вдруг начинает мерещиться игрушечный автомобильчик, которым он забавлялся в детстве; приведенные Соном на его потеху слуги оказываются своей противоположностью — спортсмен немым и не умеющим даже прыгать, шофер постоянно попадающим в катастрофы неудачником, «наилучшие женщины» вместо тридцати красоток двумя шлюхами и тремя чудовищными уродами,— и лишь один врач подозрительно настоящий. В довершение всего Вальс требует к себе в омерзительных выражениях дочь генерала Берга, на что тот вдруг отказывается согласиться, пусть хоть весь свет взлетит вверх тормашками. Тут его покидает верный прислужник Сон, сказав, что «игра проиграна» (он и ранее называл всю аферу «игрою», но тогда Вальсу недосуг было обратить на это внимание). Напоследок, перед тем как исчезнуть прямо за спиною Вальса, Сон открывает ему «маленькую правду»— «Вальс, у вас никакой машины нет». Тотчас перед горе-изобретателем вырастают, повторяя начальную сцену, министр и полковник (только теперь в штатском), и министр велит его вывести вон как прямого безумца. В порыве отчаяния он выдает секрет: «Машина не где-нибудь, а здесь, со мной, у меня в кармане, в груди». Тем не менее его насильно выпихивают, несмотря на крики: «Оставьте меня, меня нельзя трогать... я — могу взорваться». «Осторожно, ушибете беднягу»,— звучит вдогонку финальная реплика военного министра... Бредовая попытка захвата мира подловатым и пошлым диктатором из подполья оказывается только мороком, манией сумасшедшего.

Можно гадать, насколько тесно увязывал автор свою пьесу с окружающей политической реальностью 1930-х годов; судя по одновременно (в том же 1938 году и в тех же «Русских записках») опубликованному рассказу «Истребление тиранов» и позднему комментарию, проводящему аналогию между ним и вторым английским романом «BEND SINISTER», связь эта была достаточно тесной. К чести пьесы нужно, на наш взгляд, признать, что в отличие от крайне тенденциозного рассказа, в котором искренняя ненависть уложила на лопатки художественность повествования, драма о Вальсе написана гораздо более артистически сбалансированно. Нельзя отрицать, что по прочтении ее охватывает тягостное чувство, как будто бы на первый взгляд родственное «послевкусию» от произведений Кафки, Оруэлла и т. п. Но сходство это мнимо: по сравнению со всеми этими авторами, от которых Набоков принципиально предпочитал отталкиваться, созданная им вселенная не безнадежна, безумные поползновения не застят в ней полностью солнца и спасение возможно.

Однако вновь и во второй пьесе явственно ощущается существенно жутковатая «предельная метафизика» автора. Стоит сравнить «Изобретение Вальса» с одним из лучших романов Набокова «Отчаяние»: сюжет его вкратце складывается из того, как не мерзкий подпольный подлец, а прирожденный художник, хоть в данном случае по профессии и предприниматель, но с поэтически организованной душой, встречает неожиданно своего двойника-люмпена. Увидев потрясающее внешнее сходство, он задумывает — не из какой иной корысти, кроме художнической,— организовать по всем правилам искусства его убийство так, чтобы оно было принято за самоубийство самого героя и ему была выплачена страховая премия (все признаки «реального» детектива являются здесь не чем иным, как сознательной пародией на «Преступление и наказание»). Его афера терпит крах по как будто бы вполне простому поводу (из-за оплошности на месте убийства забыта палка с вырезанным на ней подлинным именем), но настоящая причина неудачи куда более метафизическая: оказывается, никто и не думал видеть сходство между убитым бедолагой и героем. Главная посылка теперь уже не отрицательного, а вполне сочувственно написанного персонажа оказывается трансцендентально битой. Художник вотще поверил своей звезде — на самом деле она увлекает его в пропасть.

«Набоковиана», созданный писателем мир в том виде, каким он на самом деле мыслил организацию космоса, выглядит существенно жестоким; это вселенная, в которой Творец играет со своей тварью в замысловатые и зачастую далеко не милосердные игры. Он, этот набоковский Творец, способен фатально обмануть, хотя и сделает это мастерски, сродни самому писателю.

Таким образом, поэтика набоковского творчества наиболее игровая, по преимуществу театральная из всех русских писателей; но она же дальше всех их заходит в сторону от традиционной христианской нравственности и учения о спасении. Апофеоз этого отклонения представляет собою последний роман мастера — «Погляди на скоморохов!», где он замахнулся на самоё историю, попытавшись объегорить судьбу и переписать свою собственную биографию, переставив в прошлом события по личному усмотрению. Знаменателен в отношении его «игровой вселенной» эпизод, давший имя роману: некая двоюродная бабушка героя-протагониста по имени «баронесса Бредова» постоянно кричала ему, когда он мальчишкой был оставляем на ее попечение:

«Прекрати хандрить! Погляди на скоморохов!

— Каких скоморохов? Где?

— Ох, везде. Всюду вокруг тебя. Деревья это скоморохи, слова это скоморохи. А также ситуации и сущности. Соедини вместе две вещи — шутки, образы — и ты получишь тройного скомороха. Начинай! Играй! Изобрети мир! Придумай реальность!»

— И я это сделал, клянусь Юпитером,— признается рассказчик,— начав с того, что выдумал саму эту свою двоюродную бабку...

Набокову пытались приписать близость с гностицизмом, масонством. Действительно, какие-то элементы подобия с ними несомненно есть в его творчестве, однако позволительно сомневаться, чтобы он когда-либо захотел примкнуть какой-либо организации, будь то политическая, творческая или религиозная; ему, по его собственным словам, претили люди, настырно стремившиеся внедриться в подобные структуры с тем, «чтобы энергично в них раствориться». Тем не менее ему было присуще личное знание о невидимой реальности, о которой он, будучи подлинным художником, позволял себе говорить чрезвычайно осторожно и исключительно в образах. Показательно в этом отношении одно из немногих его почти прямых признаний в известном стихотворении «Слава»:

Но однажды, пласты разуменья дробя,
Углубляясь в свое ключевое,
Я увидел, как в зеркале, мир и себя —
И другое, другое, другое...

При всей несомненной игровой подоснове и крайне своеобразной духовности, обеспечивающих зрелищность набоковского искусства, позволительно задать вопрос о том, насколько театральными были созданные им пьесы[1]. Они давно уже не идут на подмостках, однако, судя по воспоминаниям — например, Нины Берберовой, и даже реэмигранта Димитрия Мейснера — представления «События» хорошо запомнились и имели определенный успех. Но в конце концов хороший режиссер может увлекательно поставить даже газетную передовицу — только это уже не будет отнюдь заслугою материала... В разобранных здесь пьесах есть немало сценически выигрышных мест — но одновременно немало и таких, явно сознательно сделанных эпизодов, которые могут вполне быть восприняты и поняты лишь в чтении, да и то «медленном». Набоков и тут, как всегда, верен себе: в сочетании «театр Набокова» следует делать ударение на втором слове.

Интересен также вопрос о месте набоковской драматургии в истории русского театра вообще. Она в принципе достаточно коротка — срединное течение ее проходит от «действ» XVII века через трагедии и комедии классицистического XVIII к «Борису Годунову» Пушкина, «Ревизору» Гоголя и пьесам Островского в XIX и, наконец, к Чехову в начале XX. Следующим звеном и является театр Набокова, параллель которому соблазнительно попытаться найти в пьесах несостоявшегося русского сюрреализма и, например, в «Елизавете Бам» Хармса; но при ближайшем рассмотрении сходство оказывается ложным — у обэриутов и «сверхсущностников» мир был в принципе бессмыслен и абсурден, у Набокова же он представляет собою совершенно иное: это все-таки гармония, но гармония в основе своей необычайно, до ужаса своеобразная.

1984

---

[1] Современные появлению пьес рецензии см.: Ходасевич В. «Событие» В. Сирина в Русском театре (в Париже.— *П. П.*) //Современные записки. Париж, 1938. Т. LXVI. С. 423—427; М. К. Явление Вальса// Т а м ж е. 1939. Т. LXIX. С. 355—363.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Пьеса «Событие» была переиздана в журнале «Театр» в 1988 году (№ 5). Год спустя «Новый мир» перепечатал и «Изобретение Вальса». Тогда же они впервые попали на отечественные подмостки: сперва рижского Театра юного зрителя («Изобретение Вальса» — рец. см. напр.: Московские новости. 1988. 15 мая; Правда. 1988. 20 декабря; Известия. 1989. 2 мая), затем театра-студии «Народный дом» родного набоковского города на Неве («Событие» — рец. в «Литературной газете». 1988. 14 декабря). Там же, в журнале «Звезда» (1989. № 7) вышел и обзор новых постановок набоковских пьес, написанный Иваном Толстым.

Настоящий очерк был написан, когда не только печатать у нас что-либо о Набокове, но и собственные его произведения издавать было невозможно. Парижский профессор Ренэ Герра любезно согласился взять его, будучи в научной поездке в Москве, с собою и напечатать под собственным именем — о чем была достигнута предварительная полюбовная договоренность. Он действительно выполнил обещание, сопроводив очерк собственными вставками и дополнениями и издав в Париже в 1985 году.

Принося ему здесь благодарность, вместе с тем никак не могу согласиться с некоторыми положениями его части статьи — такими, как сравнение Набокова со Шварцем и другими драматургами, которых великий писатель выше на три головы. Но вот наконец и в Отечестве настала пора свободно говорить о его творчестве; и поскольку мой очерк совершенно самостоятелен, а рукопись оригинала его, к счастью, сохранилась, с радостью печатаю его впервые на Родине Владимира Владимировича — и своей.





«БЕРЕГ СЕНЫ — БЕРЕГ ЛЕТЫ...»

1


рина Владимировна Одоевцева — живой свидетель и непосредственный участник русской литературной жизни в течение почти всего XX столетия. Стихотворения, в особенности баллады, созданные в пору занятий в основанном Николаем Гумилевым «Цехе поэтов», сделали ее известной среди любителей отечественной словесности уже в конце 1910-х годов. С тех пор она выпустила немало поэтических сборников, издала ряд повестей и романов.

Не менее ценны написанные впоследствии воспоминания — ибо судьба подарила Одоевцевой счастливую возможность близко знать и общаться со знаменитейшими современниками, оставившими значительный след в истории и литературе. Оказавшись с 1922 года на долгих шестьдесят пять лет в эмиграции, она вместе с мужем — поэтом Георгием Ивановым — оказала значительное влияние на следующие поколения эмигрантских стихотворцев: о ее усердных занятиях, продолжающих традиции гумилевского «Цеха», с благодарностью пишет в своих воспоминаниях «Литературная жизнь русского Парижа за полвека» критик Юрий Терапиано.

В 1987 году писательница вернулась на Родину; еще год спустя первая книга ее мемуаров «На берегах Невы» была выпущена издательством «Художественная литература» и мгновенно разошлась.

Вторая книга «На берегах Сены» вышла в 1989-м. Лейтмотивом ее могут служить строки соратника Одоевцевой по русско-парижскому Парнасу, неоднократно здесь упоминаемого Анатолия Величковского — окончание последнего стихотворения его посмертного сборника «Нерукотворный свет»:

Мы проиграли не войну,
Мы не сраженье проиграли,
А ту чудесную страну,
Что мы Россией называли.

Ирина Одоевцева недаром приводит знаменитые слова Зинаиды Гиппиус об эмигрантах: «Мы не в изгнании, мы в послании». Посланцами именно этой страны ощущали себя все сохранившие честь и совесть наши соотечественники, неволею оказавшиеся за ее пределами и надолго лишенные возможности благополучно вернуться в свой дом. Для них уход был не изгнанничеством, но «бичом Божьим», ответственным уроком и, если угодно служением.

Для того чтобы достойно оценить описанные в этой книге события, зачастую чисто литературного и даже частного свойства, необходимо хотя бы бегло очертить фон, на котором они происходили — иначе повествование потеряет постоянно, пусть и незримо, сопутствующую ему трагическую глубину. В нашем, идущем уже к венцу столетии Россия пережила три периода обескровливающей (в различной степени) эмиграции, невиданной по размаху во всей ее тысячелетней истории. Первая волна стала последствием жестокой междоусобной смуты. Численность ее так до сих пор научно не определена, до какой-то поры историки были скованы принятыми за догму ленинскими, сказанными мимоходом цифрами «полтора или два миллиона» (ПСС. Т. 44, С. 39); затем число несколько раз пытались уточнить, но общепринятого итога так и не вывели,— однако миллионный масштаб сохранился. Впрочем, как известно, число и значение совпадают далеко не всегда. Вдогонку начальному мощному потоку отправлялись вскоре и малочисленные, но всемирно известные партии — как высланные в 1922 году 160 «буржуазных идеологов», представлявших собою именитейших общественных деятелей, ученых, философов и писателей; чуть позже поодиночке сумели вырваться Г. Федотов, Е. Замятин.

Второй миллионночисленный поток хлынул в годы новой мировой войны, когда на Западе волей или неволей осталось множество «перемещенных лиц», отказывавшихся возвращаться под сталинский нож (хотя их довольно-таки плотно насильственно выталкивали; эта трагедия лишь недавно была предана широкой гласности в книге Н. Бетелла «Последняя тайна» — русский заграничный перевод ее вышел в 1977 году). Среди них тоже оказалось нема-

ло деятелей культуры — как автор известной «Неугасимой лампады» И. Ширяев, одним из первых широко и вместе художественно поведавший миру о соловецких лагерях.

Наконец, начиная с 1960-х объявился новый ручеек, постепенно выросший в протоку числом за сто тысяч, из уезжавших в Израиль или просто на Запад по израильской визе, в составе которых было немало интеллигентов отнюдь не еврейской крови. А кое-кого, очень уж неугодного режиму, но достаточно весомого в мировом общественном мнении, чтобы «загнать за Можай», вывозили — «выдворяли» — против их собственной воли, как, например, Александра Солженицына.

Волею судеб именно ему дано было сопоставить итоги жизни всех трех волн эмиграции с жизнью их Родины. В феврале 1975 года он писал: «Первая и вторая русские эмиграции измерялись миллионами и были результатами больших народных движений, потерпевших поражение; но они почти не удостоились внимания Запада (впрочем, вторую массами выдавали на убой). Громко обсуждаемая ныне третья эмиграция, как раз и вызвавшая всю разность оценок, не есть эмиграция в упомянутом выше смысле и объеме, она в основном — отбившийся отструек массовой эмиграции в Израиль. Однако обсуждение эмиграционной проблемы чрезмерно раздулось и собой заслонило все остальные события нашей страны».

Действительно, как ни странно и страшно мерить несчастия ростом, но в самом Отечестве, по выплывающим наружу сведениям, цифра потерь в войнах внешних и внутренних не только достигла невероятных ста миллионов, но уже и переросла их. По сведениям православной церкви — они среди прочих наиболее близки к точности,— количество новомучеников за 70 лет превысило собор всех святых за предыдущие девятнадцать веков христианства. Но и в этой исторической драме трагедия эмиграции — часть чрезвычайно существенная, а в ней особо заметна роль эмиграции первой.

Сохранению, изучению и изданию ее наследия служит основанная писателем Всероссийская мемуарная библиотека, опубликовавшая уже добрый десяток интереснейших воспоминаний русских деятелей, знаменитых и малоизвестных,— среди которых находится, например, один из высочайших образцов отечественной мемуарной прозы, «Юность» Н. В. Волкова-Муромцева.

Первая эмиграция стала массовым исходом чрезвычай-

но значимой части народа — и, конечно, отнюдь не литераторы составляли ее костяк. Основой служили воины, офицеры и рядовые белых и повстанческих армий (согласно подсчетам советского исследователя А. Г. Кавтарадзе, 30 % наличного к 1917 году офицерского корпуса перешла на службу к красным, 40 % — к белым и еще треть погибла, рассеялась или уехала до окончания гражданской войны).

Кстати, среди руководителей Белого движения многие оставили чрезвычайно любопытные записки — как А. И. Деникин, П. Н. Врангель, а генерал П. Н. Краснов, помимо того, писал и довольно занимательные романы. Промышленник П. Н. Бурышкин составил пока что единственную в своем роде книгу «Москва купеческая». Множество политических деятелей подробнейшим образом описали свои памяти о судьбоносных для Родины годах. Две писательницы — вдова М. Осоргина — Т. Бакунина и вдова В. Ходасевича — Н. Берберова — создали историю русского масонства, когда в Советском Союзе эта тема была еще за семью печатями. Работали институты, богословские академии, суетились лидеры партий от крайне социалистических до национал-социалистических, о которых за границей существует немало научных трудов — и только нам долго приходилось довольствоваться пристрастными откликами в журналах на нечитанные запретные книги. Много судеб и просто фантастических — как жизнь вождя «младороссов» А. Л. Казем-Бека, возвратившегося в 1950-е годы в Отечество, где он отказался сперва стать зауряд-журналистом и со временем сделался первым посредником со стороны Московской Патриархии в ее новом диалоге с Римом; погребен он в писательском Переделкине за алтарем церкви Афонского подворья.

Средоточиями первой волны были Балканы, Прага, Берлин; затем Париж и государства-«лимитрофы», то есть пограничные с «Совдепией» прибалтийские республики и Польша.

Вторая мировая война значительно проредила и перемешала состав русского Зарубежья. Уже не возобновилась ведущая правая газета «Возрождение», ушел в прошлое эсеровский литературный журнал «Современные записки» Зато окреп солидаристский «Народно-трудовой союз», доныне выпускающий политический журнал «Посев» и художественный альманах «Грани».

С приходом «третьей эмиграции» из числа широко читаемых газет и журналов практически полностью ис-

чезли придерживающиеся правых взглядов, и нынче все они в различной степени и в зависимости от авторских пристрастий в целом стоят на позициях большей или меньшей левизны — ежедневная американская газета «Новое русское слово» А. Седых, парижский еженедельник «Русская мысль» (нечто вроде нашей «Литературки»), долгие годы возглавлявшийся З. Шаховской, журнал «Континент» (при лично центристском мировоззрении его главного редактора В. Максимова), русскоязычные еврейские «22» и «Время и мы», экстравагантно-левацкий «Синтаксис» А. Синявского. Отдельно стоят религиозно-общественные и литературные «Вестник русского христианского движения» Н. Струве и близкое Русской зарубежной (Синодальной) церкви «Русское возрождение». Единственное исключение — «независимый русский альманах» «Вече» национального толка, продолжающий собою самиздатское начинание В. Осипова на Родине.

В Советском Союзе связь с русским Зарубежьем последовательно сужалась начиная уже с 1920-х годов — хотя тогда еще выходили отдельные переиздания книг эмигрантов, выпущена была даже пятитомная «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев». Но уже это издание явилось наглядным пособием будущего крайне жесткого отношения: пользуясь привычно-откровенным образом высказываний мемуаристов, из них отбиралось наиболее резкое и отталкивающее, все же прочее решительно опускалось. Однако вскоре даже такого рода книги перекочевали в «спецхран».

Некоторый всплеск публикаций второстепенных авторов, которые сумели, вернувшись на волне патриотизма в 1940-х, пережить неминуемое заключение либо догадались повременить с возвращением до хрущевских лет, наблюдался в 1960-х, когда вышли книги Б. Н. Александровского, Д. Мейснера, Л. Любимова. И конечно, они тоже полны умолчаний и иносказаний, чему примером служит брошюра «Письма к русским эмигрантам» В. В. Шульгина (1961), где только слепой не заметит, что пером почтенного старца водила лживая чужая рука. Книга же его воспоминаний «Годы», при всех допущенных уступках и смягчениях, вышла лишь после кончины дожившего почти что до столетия во Владимире патриарха, и то для продажи исключительно на Запад.

Не имея почти никакой достоверной информации, мы имели зато в избытке «контрпропаганду», последним достижением которой является «Агония белой эмиграции»

Л. К. Шкаренкова, второе издание которой, судя по обложке, выпущено в 1986 году, а по содержанию дышит теми же 1920-ми.

Лишь в 1988—1989 годах раздались наконец в нашей печати голоса (журнал «Век XX и мир», статья В. Бондаренко в «Московском литераторе») о необходимости последовать примеру Испании, которая поставила единый поминальный крест всем погибшим в гражданской междоусобице, с какой бы они ни сражались в ней стороны. Но когда в конце 1988-го исполнилось 70 лет основания Белого движения, лишь четверо человек вспомнили о нем на Родине и послали в Париж телеграмму последним оставшимся в живых. А ведь следующий, 80-летний юбилей скорее всего из числа участников встретить на этой земле будет уже некому. Последний печатный орган «белых» — журнал «Часовой», более полувека выпускаемый В. Ореховым,— как раз в конце 1988-го приостановил выход из-за болезни единственного своего издателя.

Отношение к писателям первой эмиграции тоже было до последней поры чрезвычайно несправедливым: их если и печатали немного, то с ритуальною оговоркой, что-де за границей талант их усох и иссяк. Между тем стоит только назвать имена сумевших сохранить свой дар в трагических обстоятельствах Бунина, Шмелева, Зайцева, Ремизова, Осоргина, впервые расцветшего именно за границей Набокова — как ясна станет необходимость, прежде чем соседей хулить, на себя обернуться.

Ведь в отличие от живущих сейчас на Родине невольные наши единокровные иностранцы и сами плодотворно работали, и о нас весьма заботились и знали зачастую больше. Не раз появляющийся в книге Ирины Одоевцевой сорбоннский профессор Ренэ Герра — она называет его «литературовед, влюбленный — не нахожу более подходящего слова — в русскую зарубежную литературу и живопись»— как-то рассказал такой показательный случай. Виктор Некрасов, приехав в Париж еще в качестве советского гастролирующего писателя, однажды у него в гостях пренебрежительно бросил: что-де там эти изгнанники такого могли понатворить стоящего? В ответ парижанин обратил внимание сильно смутившегося сочинителя на огромнейшее собрание книг и картин, заполняющее его двухэтажный дом, представляющий собой сущий музей «первой эмиграции» (о нем подробно рассказал Эд. Поляновский в «Известиях» 6 марта 1989 года).

Кстати, тот же Р. Герра явился издателем не только

цитировавшихся выше стихов А. Величковского; в его сборниках «Рифмы» в 1975 и 1976 годах вышли две книжки стихов самой Ирины Одоевцевой — «Златая цепь» и «Портрет в рифмованной раме».

Начинающийся сейчас подъем в общественной жизни повлек среди прочего за собой и стремление возродить связь с русским Зарубежьем. Его можно только приветствовать, однако важно, чтобы с самого начала в дело не проникли недобросовестные посредники. Вот открылся в Москве первый в стране кооперативный букинистический магазин «Раритет», торгующий множеством русского «тамиздата». А наши соотечественники за границей, скажем, к 1000-летию Крещения Руси переиздали редкие собрания — 12-томную «Толковую Библию» и 5-томное «Добротолюбие» для того, чтобы даром послать нам, здесь живущим. Цена этих книг в «Раритете» 600 и 1300 рублей... Стыдно.

Образцом же подлинно доброхотного посредника является писатель и литературовед Олег Михайлов, которому многое удалось пробить в деле восстановления отношений с соотечественниками в самые крутые годы «развитого застоя»; ему же принадлежат почти все статьи о них в «Краткой литературной энциклопедии». Теперь бывшие спокойные молчуны взялись вдруг попрекать его вставленными в их текст дипломатическими оговорками —, а он, не обращая внимания, первым издает Замятина, Набокова, Шмелева. Большие возможности в этом деле представляет и учрежденный при Российском фонде культуры центр «Русская энциклопедия», который посвящает отдельную программу изучению прошлого и настоящего русского Зарубежья.

В нашу быстропеременчивую пору эти короткие и поневоле общие слова о судьбах эмиграции представляется нужным сказать вначале, чтобы среди повсеместных, часто суматошных и отрывочных републикаций точка зрения, с которой рассматривается книга заграничных воспоминаний Ирины Одоевцевой, не подверглась искажающему смещению.

2

Современница Одоевцевой Н. Берберова в книге «Курсив мой» о созданных ее поколением воспоминаниях пишет так: «Русские автобиографии писались часто, и всегда по-разному. Бердяев, начав с детских лет, перешел на

описание борьбы идей в предреволюционной России и кончил мучительным сомнением в благе Советского Союза и «доброте» Бога; Степун рассказал, как он обрел, перед первой мировой войной, свою настоящую профессию: ездить по русской провинции и читать лекции на тему «как жить?»; Белый, начав свой рассказ о Блоке, затем переписал его заново, доказывая, что он был марксистом, когда Блок еще был барчуком и маменькиным сынком; Набоков рассказал с присущим ему талантом, какие у него были гувернантки...»

Среди всех эмигрантских мемуаров значительную долю составляют книги женщин-писательниц: кроме Одоевцевой и Берберовой в первую очередь следует назвать «Живые лица» и «Д. Мережковский» Зинаиды Гиппиус, «Воспоминания» Н. Тэффи (о них обоих есть отдельные главы в «На берегах Сены»), вышедшую посмертно в 1973 году в Париже книгу Евгении Герцык, «Отражения» представительницы младшего поколения первой эмиграции Зинаиды Шаховской — с ней Одоевцева долгие годы сотрудничала в редакции «Русской мысли» (З. Шаховская сообщает среди прочего любопытный штрих: за ядовитый ум Гиппиус прозвали в Париже Ге-Пе-У-с).

В этом многоликом сообществе воспоминания И. Одоевцевой имеют свое «лица необщее выраженье». Во-первых, их отличает великолепная памятливость мемуаристки, о которой она говорила еще в предисловии к книге «На берегах Невы». Далее, читатель несомненно отметит особую легкость и ясность письма. Наконец, ей под стать и точная, изящная иногда до разительности образность.

Мережковский требовал от нее: «Не смейте писать обо мне! Не смейте приводить моих писем! Запрещаю! Не вколачивайте меня в гроб! Я хочу жить и после смерти». Ирина Владимировна возражает: «И все-таки я нарушаю этот запрет. Но не для того, чтобы «вколотить его в гроб», а для того, чтобы помочь ему жить в сердцах читателей таким, каким он кажется многим. Очистить, защитить его от клеветы и наветов». Так, она опровергает миф об искреннем, а не тактическом германофильстве Гиппиус и Мережковского.

Замечательно подана дотошная въедливость Бунина-барина, легко поймавшего городского жителя Чехова на сногсшибательной неточности в названии главной пьесы: «Никогда, никаких вишневых садов не существовало. Да он еще этот сад вырубил, хотя вишневые деревья даже на дрова не годятся. Сам все выдумал и очень неудачно».

А вот выразительнейший очерк возлюбленной Бунина, писательницы Галины Кузнецовой, которая изменила Нобелевскому лауреату невиданным еще в истории российской словесности образом: «Я слушаю ее взволнованный, милый, чуть задыхающийся голос. До чего она вся мила. В ней что-то невинное, трогательное, девичье, какой-то молодой «трепых», особенно очаровательный не у девушки, а у женщины. Русский молодой «трепых». У иностранок его не бывает».

Впервые перед отечественными читателями предстает во всей красе и убожестве «первый критик» Зарубежья Георгий Адамович — близкий приятель мужа Одоевцевой Георгия Иванова (их даже шутливо называли «два Жоржика»). Это тот самый «грозный» Зоил, которого не шутя трепетали писатели эмиграции, а разыграть путем блестящих литературных мистификаций сумели лишь Ходасевич («Жизнь Василия Травникова») и Набоков («Василий Шишков»).

С Адамовичем Одоевцева вела и провидческие разговоры: «Никто не знает, сколько кому осталось жить. Вот Зайцеву уже девяносто лет, а он совсем бодр. А мы с вами и до ста с хвостиком... На меньшее я не согласна».

Предсказания будущего сбывшиеся и несбывшиеся — сквозная тема воспоминаний писательницы. Те, кто прочел «На берегах Невы», несомненно запомнили потрясающее пророчество ее учителя Гумилева: «Вот, все теперь кричат: Свобода! Свобода! а в тайне сердца, сами того не понимая, жаждут одного — подпасть под неограниченную, деспотическую власть. Под каблук. Их идеал — с победно развевающимися красными флагами, с лозунгом «Свобода» стройными рядами — в тюрьму. Ну, и, конечно, достигнут своего идеала. И мы и другие народы. Только у нас деспотизм левый, а у них будет правый. Но ведь хрен редьки не слаще».

Было там и предсказание, воплотившееся «наоборот»: Одоевцева отказалась написать балладу про Гумилева при его жизни, обещая: «Вот когда вы через шестьдесят лет умрете... Только я к тому времени буду такая ветхая старушка, что вряд ли смогу написать о вас». У Гумилева между тем впереди было менее года — зато как раз через 60 лет были закончены «На берегах Сены»...

Нельзя не отметить и добрый юмор мемуаристки, подметившей, например, горестное восклицание Мережковского: «Господа, с кем же вы? С Христом или с Адамовичем?» Прелестно по точности выражение Надежды

Тэффи: «Сейчас мы, как два пуделя, только что вылезшие из пруда, отряхиваемся, и брызги воспоминаний летят во все стороны» — и ее же приветствие при подаче на стол гуся: «Обожаю собрата по перу!»

Однако напомним еще раз: и юмор, и воспоминания, и предсказания замешены на трагедии, и именно это дает книге художественную глубину. Вот встреченный с гоп-компанией Есенин вдруг признается: «А это моя кувырк-коллегия. Номина сунт одиоза. Да настоящих имен среди них еще и нет. Но со временем, как нас учили, все они — так или иначе — прославятся. В разных областях, конечно, кто в литературной, а кто в уголовной». Здесь нынешнему читателю непонятен будет, к сожалению, еще скрытый намек — отсылка к знаменитой, но из соображений ложного стыда семьдесят лет не перепечатывавшейся лучшей из коротких новелл Н. Лескова «Жидовская кувырколлегия».

И наконец, о Георгии Иванове, с большой любовью рассказав про его детство и жизнь в Петербурге, писательница вдруг обрывает: «О нашей с ним общей жизни мне писать трудно — это слишком близко касается меня, а я терпеть не могу писать о себе».

3

Между тем сам Г. Иванов тоже писал воспоминания, даже дважды — но изданы только первые в 1928 году под названием «Петербургские зимы». Про эту книгу он сам честно признавался Н. Берберовой: «...семьдесят пять процентов выдумки и двадцать пять — правды». На что та вполне согласилась: «Я тогда нисколько этому не удивилась, не удивился и Ходасевич, между тем, до сих пор эту книгу считают «мемуарами» и даже «документом» (книга переиздана в 1952 году в Нью-Йорке; первое неполное советское издание — в томе избранного 1989 года).

Чтобы представить драму последних лет Г. Иванова, следует прочесть жесточайший рассказ о нем в автобиографии Н. Берберовой полностью (отрывки из книги «Курсив мой» печатались в 1988 году в «Вопросах литературы» и «Октябре», но надо надеяться, не за горами и полное издание). Там же приводится и письмо к ней поэта, посланное в 1951 году, где он говорит о второй своей попытке создать мемуары, на сей раз правдивые: «...пишу, уже больше года, некую книгу. «Свожу счеты»,

только не так, как естественно ждать от меня, как я со стороны естественно и законно рисуюсь. Словом, не как Белый, в его предсмертном блистательно злобном пасквиле. Я «свожу счеты» с людьми и с собой без блеска и без злобы, без даже наблюдательности, яркости и т. д. Я пишу, вернее, записываю «по памяти» свое подлинное отношение к людям и событиям, которое всегда «на дне» было совсем иным, чем на поверхности, и, если отражалось, разве только в стихах, тоже очень не всегда. А так как память у меня слаба, то я, мне кажется, нашел приход к этому самому дну легче, чем если бы я, как в Пушкинском — как называется, тоже не помню — ну «я трепещу и проклинаю» — если бы меня преследовали воспоминания. Не берусь судить — как не знаю, допишу ли,— но по-моему, мне удается сказать самое важное, то, чего не удается в стихах, и поэтому мне «надо» — книгу мою дописать... «Жизнь, которая мне снилась» — это предполагаемое название».

Книга эта из печати не вышла; неизвестна судьба ее рукописи — и даже была ли она вообще дописана. Сама же Одоевцева, прожившая с Георгием Ивановым 35 лет, рассказывает об этом до чрезвычайности скупо. Не говорить того, чего не желаешь,— ее естественное право, и здесь чужая любознательность неуместна. Но поскольку Г. Иванов если не «в кадре», то почти постоянно стоит за кулисами почти всех событий, происходящих «На берегах Сены», ничего о нем не сказать тоже нельзя. И здесь есть, пожалуй, всего один, но счастливый выход — сделать так, чтобы читатель, не зная о жизненных фактах, почувствовал их внутренний смысл. Мы приведем три пары коротких стихотворений, созданных поэтом в три различные десятилетия его жизни с И. Одоевцевой. А поскольку они очень по-своему точно отражают двоящуюся природу души и дара Георгия Иванова, то по достоинству их и надо поместить рядом попарно.

Первая двоица написана в 1930 году и появилась впервые в книге «Розы» (Париж, 1931)

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.

Я слышу — история и человечество,
Я слышу — изгнание или отечество.

Я в книгах читаю — добро, лицемерие,
Надежда, отчаянье, вера, неверие.

Я вижу огромное, страшное, нежное,
Насквозь ледяное, навек безнадежное.

Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,

Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет,
И не надо помогать.

И вижу беспамятство или мучение,
Где все, навсегда, потеряло значение.

И вижу, вне времени и расстояния, —
Над бедной землей неземное сияние.

Вторая пара — из послевоенных 1940-х

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица,
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

Теперь тебя не уничтожат,
Как тот безумный вождь мечтал.
Судьба поможет, Бог поможет,
Но — русский человек устал...

Устал страдать, устал гордиться,
Валя куда-то напролом.
Пора забвеньем насладиться,
А, может быть, — пора на слом...

...И ничему не возродиться
Ни под серпом, ни под орлом!

И наконец, последняя, третья, из 1950-х. Событие, которому посвящено «левое», легко понятно из самого его содержания — как ясен для читателей этой книги смысл инициалов в посвящении «правого»

...И вот лежит на пышном пьедестале
Меж красных звезд в сияющем гробу
«Великий из великих» — Оська Сталин,
Всех цезарей превозойдя судьбу.

И перед ним в почетном карауле
Стоят народа меньшие «отцы»,
Те, что страну в бараний рог согнули, —
Еще вожди, но тоже мертвецы.

И. О.

Отзовись, кукушечка,
яблочко, змееныш,
Весточка, царапинка,
снежинка, ручеек.
Нежности последыш,
нелепости приемыш,
Кофе-чае-сахарный потеряный
паек.

Отзовись, очухайся,
пошевелись спросонок
В одеяльной одури,
в подушечной глуши,
Белочка, метелочка, косточка,
утенок,
Ленточкой, веревочкой,
чулочком задуши.

Какие отвратительные рожи,
Кривые рты, нескладные тела:
Вот Молотов. Вот Берия, похожий
На вурдалака, ждущего кола...

Отзовись, пожалуйста.
Да нет — не отзовется.
Ну и делать нечего.
Проживем и так.
Из огня да в полымя.
Где тонко, там и рвется
Палочка-стукалочка,
полушка-четвертак.

В безмолвии у сталинского праха
Они дрожат. Они дрожат от страха,
Угрюмо морща некрещеный лоб, —
И перед ними высится, как плаха,
Проклятого «вождя» — проклятый гроб.

4

Строго исполняя данный обет, меньше всего в собственных воспоминаниях И. Одоевцева говорит о самой себе. В набоковском романе «Защита Лужина» имя главного героя звучит единственный раз в последней строке, уже после его гибели. Подлинное имя Ирины Владимировны Одоевцевой — Ираида Густавовна Гейнике — на страницах ее мемуаров вообще не произносится никогда; мы узнаем его лишь из послесловия к первой книге, написанного А. Сабовым. Таким же молчанием обойден и возраст. Краткая литературная энциклопедия указывает годом рождения 1901. Нина Берберова, сама ровесница века, отодвигает в столетие прошлое: 1897. Наконец, более всех точный А. Сабов прибавляет еще два года.

Род подлинных князей Одоевских — потомков Рюрика — пресекся в 1869 году со смертью писателя Владимира Федоровича. Но «родовой» писательский Петроград нынешнего века знаком нам по двум по-своему замечательным лицам, носящим одну фамилию, как бы эхом «отзванивающую» княжеской: Ирине Одоевцевой и Лёве Одоевцеву, герою рамана Андрея Битова «Пушкинский дом» («Он из тех самых Одоевцевых...» — хитро оговаривается писатель). Что ж, это тоже любопытная примета времени.

В книге «На берегах Невы» не раз упоминается местечко Званка — где служил, «электрифицируя» станцию, один из двоюродных братьев мемуаристки. Она вспоминает, что в 1920 году «во время революции даже жила в крестьянской избе на Званке» и в «На берегах Сены». При этом звуке у всякого любителя отечественной словесности перед мысленным взором возникает давшее стан

ции имя поместье Гавриила Державина — дом его стоял на берегах Волхова, и именно здесь за три дня до кончины великий поэт сложил стихотворение о Летейской волне, прославленные строки

Река времен в своем стремленье...

«Берег Сены, берег Леты...» — повторяет полюбившуюся ей строку и Ирина Одоевцева. Она обрела право говорить с этих берегов — если не от лица вечности, то уж точно от лица века.

1989

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ирина Одоевцева окончила земной путь осенью 1990 года. Отрывки из незавершенной, третьей книги воспоминаний «На берегах Леты» напечатал А. Радашкевич в четырех ноябрьских номерах парижской газеты «Русская мысль».



СРЕДОКРЕСТНАЯ ТОЧКА



стория, и в особенности отечественная, служит нынче живой действующей силой. Порою она становится даже более ощутимой, нежели самые непосредственные современники. Не оплошно же лет двадцать тому назад родилось такое едкое и ерническое, но все-таки чрезвычайно показательное определение: у нас-де теперь больше всего человек на душу населения. И для того, чтобы разбудить подобные спячие души, восстановление исторических связей является одним из первоначальных средств.

Долгая отвычка от ощущения единства с прошедшими поколениями, их заботами и трудами, невнимание к полученным урокам могут подчас обернуться и очень больно ударить. «Глас народа — глас Божий»,— говорили когда-то в Древнем Риме. А совсем недавно довелось услышать на форуме творческой молодежи в городе на Неве постоянно повторяемое заклинание: сейчас судьбу писателя должны решать только публика и рубль, рубль и публика. И тотчас на память пришел всемирно известный прообраз этого положения: ведь вот уж скоро исполнится две тысячи лет с той поры, когда на окраине этой самой Римской империи — где рубль, правда, звался сребреником — обширнейшее собрание публики единогласно постановило: «Распни, распни!» И цена Распятого оказалась всего в тридцать монет,— но зато невеселые итоги сего референдума для подобного разбора единомышленников стали чересчур даже общеизвестны...

С жадностью обращаясь к прошлому после плотного его забвения, зачастую совершают вторую ошибку, как будто противоположного, а на деле столь же пагубного свойства — ведь где-то там в преисподней глубине все

крайности поневоле сходятся. И навряд ли стоит по совести считать достижением в области восстановления памяти продажу с торгов в Центральном Доме литераторов — причем отнюдь не самим литераторам — «Истории государства Российского» Карамзина в двух экземплярах по 1600 и 1500 серебреников, с оповещением об этом всей страны по ликующему эфиру.

...В книгу Владимира Лазарева «Всем миром» (М., 1987), которую открывает центральная повесть «Возрождение в Богородицке», входят также другая повесть «Филимоновский корень» и три рассказа,— причем все они посвящены не истории как таковой, но именно самому насущному для нас возрождению осмысленной, духовной и вместе вещественной связи прошлого, грядущего и нагрянувшего. В первом из названных произведений оно получило зримое воплощение в воссоздании построенного на тульской земле в городке Богородицке зодчим Иваном Старовым великолепного дворца и разбитого вокруг него просветителем Андреем Болотовым парка.

Автор послесловия Михаил Петрович Лобанов проницательно отметил связь содержания повести и ее эпиграфа — как бы обратную, но тем более острую. «Эпиграфом к ней поставлены слова из поэмы А. Блока «Двенадцать»: «Ветер, ветер — На всем Божьем свете»,— пишет он и дает следующее связующее толкование: — Здесь «идут без имени святого Все двенадцать — вдаль. Ко всему готовы. Ничего не жаль». В повести «Возрождение в Богородицке»— тоже двенадцать, двенадцать строителей, для которых «сокровенная жизнь» — именно в созидании. Это не столько литературная аналогия, сколько жизненная: не может быть бесконечным разрушение, наступает время и собирать камни, и, как тем двенадцати, «ничего не жаль» — так этим нынешним уже многое дорого в прошлом. И может быть, главный смысл «возрождения» — в создании духовного микроклимата, который в основе меняет отношение к ценностям истинным и мнимым и который подвигает человека не на краткосрочную кампанейщину, а на осознанное, пусть и скромное, подвижничество».

О том, как при восстановлении видимых, выведенных отцами и дедами стен растут и крепнут в душе здания и башни невидимые, и идет рассказ в повести Владимира Лазарева. При создании ее перед ним возникла, впрочем, довольно-таки заковыристая задача: дело в том, что почитай все основные действующие лица благополучно здравст-

вуют; и для того, чтобы получить хотя бы некоторый простор для воображения, не задевая притом всегда легко ранимых людей, пришлось — назвавши их в предисловии настоящими фамилиями — поменять некоторые имена и события в повести. То есть как бы несколько «досочинить» за жизнь, зачастую столь замечательно творящую, что никакая выдумка за нею не способна угнаться и при сравнении «изобретенное» может запросто проиграть...

Главным, строительным образом-символом повести видится замечательное в своем роде понятие градостроительного средоточия. Вот как о нем говорится в ее начале: «Город был привязан к дворцу и к тому же затеян хитро: улицы прокладывались и застраивались так, чтобы лучи их мысленно сходились в одной точке. А невидимая эта точка находилась в самом большом — Екатерининском зале дворца. Зал застеклили так, что каждое из соединенных окон было перпендикулярно одному из лучей этих удаляющихся улиц. И если найти соответствующую отметку и встать на нее, то все пять улиц-лучей будут как бы исходить из взгляда смотрящего... Лучевые улицы в строгом порядке должны будут пересекаться поперечными. Во всем царила продуманность и четкость линий. Но волнистость зеленых холмов и оврагов смягчала эту четкость, что способствовало живописности городка. Математическая продуманность в построении, когда она скрыта от глаз наблюдателя, рождает в душе его чувство радости от прикосновения к совершенству. Этого-то и добились Иван Егорович Старов и Андрей Тимофеевич Болотов, каждый в свой черед, при проектировании и строительстве дворца и города».

Войны и превратности безжалостного последнего во втором тысячелетии «нашей» эры века не пощадили «белого дворца на высоком холме». От него осталась только «коробка» — пустые, грозящие обвалом стены, которые и решились уже было взорвать, вырвать, будто нерв из мертвого зуба или стержень из детской пирамидки. Но ревнивые местные уроженцы сумели остановить окончательное разрушение, вместо которого затеяно было «всемирное» — то есть всем миром правимое — восстановление. И вот, наконец, зачинщик всего движения, богородицкий художник и преподаватель живописи, сойдясь с друзьями во вновь отстроенном зале, «вдруг... вспомнив что-то, начинает отходить от окон к центру, просит посторониться... смещается направо, потом налево, снова отступает назад, потом делает полшага вперед.

— Вот,— говорит,— вот эта самая точка.— И, вытащив из кармана пальто мел, нагибается и крестом помечает ее.— Отсюда исходят лучи всех радиальных богородицких улиц... В восемнадцатом веке они назывались так: Константиновская, Мариинская, Екатерининская, Павловская, Александровская.

Все присутствующие, один за другим, становятся на перекрестке, нарисованное Перелоговым, и действительно видят, как из этой точки исходят лучи богородицких улиц; смотрят, как дети радуются своему открытию. И хоть никто не говорит об этом, но каждый по-своему чувствует, сколько нужно было вложить общих сил, чтобы открылась эта как бы несуществующая, невидимая раньше точка».

Но в том-то и состоит ее замечательное, почти что волшебное свойство, что, не зримая воочию, она запросто потягается весомостью с целым огромным, но опустошенным духовно пространством. И автор сумел это не только почувствовать сам, но и сообщить читателю. На последней странице повести тема эта возникает вновь, когда молодой герой «начинает ощущать в себе некую болевую точку любви к прекрасному, совершенному и живому; он обнаруживает ее в себе, находит, как некогда они нашли в построенном дворце невидимую точку, и вдруг увидели, что из нее как бы исходят лучи всех богородицких улиц. Эта тайная точка существовала, но была им неизвестна, и надо было проделать всем вместе колоссальную работу, чтобы она открылась, прояснив смысл соразмерности и красоты...»

Единожды обретенное, а впоследствии возрожденное усилиями «всего мира», золотое это средоточие дает ощущение осмысленности и единства многим нашим дорогам, ведущим от малой родины к большой.

Еще в 1920-е годы, вместе с последними — более чем на полвека — изданиями избранных страниц болотовских воспоминаний, появилось написанное о нем произведение В. Шкловского, которое современный исследователь А. Б. Иванов справедливо называет «пасквилем», говоря о нем следующее: «Повесть» В. Шкловского, по счастью ныне полузабытая, являет собой наглядный образчик того, в какую трясину оскорбительного для прошлого нашей Родины нигилизма ведут дремучие заросли вульгарной социологии, тенетами которых так долго был опутан светлый облик Андрея Тимофеевича Болотова» (Иванов А. Искусство созидательной мудрости. М., 1988.

С. 139 — биб-ка журнала «Молодая гвардия»). Зато ныне, именно в наше время, настала пора для воскресения трудов «самого плодовитого российского автора» (общее количество написанного и переведенного Болотовым достигает 350 томов обычного формата, причем большинство из них, к сожалению, еще и по сю пору не увидело света). И воскресение это во многом связано с именем земляка тульского просветителя, писателя Владимира Лазарева, помимо повести напечатавшего о нем статьи в «Альманахе библиофила» (1977. № 4), «Книжном обозрении» и других изданиях; в 1984 году по его сценарию снят был документальный фильм «Андрей Тимофеевич Болотов, или Письма из XVIII века». В этом ряду следует упомянуть также вышедшую в Туле книгу О. Н. Любченко «Есть в Богородицке парк» и историческое повествование Валерия Ганичева «Тульский энциклопедист» (журнал «Москва». 1986. № 12 и отдельное издание в Туле в том же году). В 1986 году «Современник» выпустил подготовленную философом А. В. Гулыгой книгу избранных страниц из воспоминаний «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков» — 100-тысячный тираж этого издания, включенного в серию «Память», мигом исчез с прилавков. Сжалившееся время, как повествует недавняя краеведческая книжка Ф. В. Разумовского «На берегах Оки», сохранило даже в деревне со значащим именем Русятино надгробный памятник этого во многом единственного в своем роде деятеля отечественного просвещения, ставшего небезгласным свидетелем целых восьми царствований и проведшего на земле без пяти лет целый век. Наконец, в 1988 году, ко 250-летию его рождения приурочена всесоюзная конференция, проведенная в Москве Институтом мировой литературы. И все это — только одна из многих дорог, ведущих из той самой «точки», наиболее непосредственная и зримая.

О другой, более дальней, говорит в первых же словах своего предисловия «Он написал о себе для нас», открывающего названное выше переиздание воспоминаний, А. В. Гулыга: «Если ехать из Москвы на Куликово поле, Богородицка не миновать. Город служит своеобразным перевалочным пунктом в эпоху Дмитрия Донского. Прежде чем перенестись в четырнадцатое столетие, вы оказываетесь в восемнадцатом». В повести Владимира Лазарева тоже есть описание современной поездки на Куликово, в исконные среднерусские места. Но она и сама по себе

есть попытка возрождения того, что известный критик Владимир Гусев назвал недавно очень точно «высокой среднерусской прозой», которая «была потеснена — но никогда не исчезала» (Литературная учеба. 1987. № 6. С. 65). По сути своей произведения Владимира Лазарева тоже стремятся навстречу созданиям названных Гусевым в этом ряду: Бунина, Шмелева, Бориса Зайцева, в особенности последнего — хотя пока еще и не достигли его прозрачности и высоты. Нам представляется уместным сравнить их скорее с работами неутомимого труженика на ниве российских духовных исканий Е. Поселянина (псевдоним Евгения Николаевича Погожева), написавшего, по наущению и благословению знаменитого оптинского старца Амвросия, множество книг для народного просвещения, в том числе добрую сотню жизнеописаний наших правдоискателей XVIII и XIX веков (они вошли в неоднократно переиздававшийся его двухтомник «Русские подвижники»).

Воистину, немало путей расходится из счастливо обретенного благого начала. Вот, к примеру, и еще один. Молодой герой Владимира Лазарева ищет узнать — но так и не узнает окончательно в повести — был ли родичем Болотову его однофамилец, академик живописи второй половины девятнадцатого столетия Дмитрий Михайлович. В нынешних справочниках художников народов СССР, действительно, сведения о судьбе его оборваны: указано лишь, что место и время смерти остались безвестными. Однако до них все-таки можно доискаться — ведь по совету того же Амвросия преуспевающий петербургский портретист принял постриг в Оптиной, став иеромонахом Даниилом. Он скончался там же в 1907 году, а его родная сестра София стала первой настоятельницей соседней с Оптиной женской Шамординской обители — той самой, где жила родная сестра Льва Толстого, Мария, которую он посетил вскоре после своего бегства из Ясной Поляны. После кончины старца-художника о нем был напечатан проникновенный очерк «Искатель Града невидимого», появившийся в книге Сергея Нилуса «Великое в малом» (Сергиев Посад. 1911. С. 275—322). Наступившее затем на несколько десятилетий забвение оказалось, однако, отнюдь не вечным — и уже в 1977 году на выставке «Автопортрет в русском и советском искусстве» именно болотовский лик украсил и афишу, и обложку каталога; а вслед за тем вышла в 13-м выпуске альманаха «Прометей» статья Надежды Павлович

и А. Л. Толмачева «К биографии художника Болотова» (М., 1983. С. 296—304). Так что теперь уже мы, читатели, можем в полной уверенности ответить на недоумение героя «Возрождения в Богородицке»: академик Дмитрий Болотов, он же инок Даниил — родной правнук Андрея Тимофеевича Болотова.

И снова дорожка, берущая разбег из того же средокрестия, обозначенного в повести, уходит прямо в наш мир. «А помните Захара, сторожа здешних мест, как его бишь фамилия-то была, никак не припомню...— сетует одно из действующих лиц повести, приехав на Куликово поле брани.— Он все палкой размахивал, самолично охранял святыню». Даже внимательный краевед и путешественник не вспомнит сейчас подлинной фамилии этого человека, но всякий дотошный читатель знает его прозвание — он стал всероссийски известен, дав свое имя последнему из напечатанных у нас до высылки с родины произведений Александра Солженицына: «Захар-Калита» (Новый мир. 1966. № 1). Насильно вытолкнутый с Родины брежневской спесью и страхом правды писатель в числе первых заговорил о необходимости возрождения памятников великой битвы, запечатлев образ его народного хранителя Захара Дмитриевича. Заканчивается это произведение призывом воскресить не только памятники, но и живую память: «Вспомнилось мне это наше вечное Поле, а на нем его Смотритель и рыжий дух. К слову же помянулось, что местом этим не разумно было бы нам, русским, небречь».

Слова эти начинают сбываться на наших глазах, когда приходит осознание того, что неразумно небречь также и Богородицком, как и всяким другим родным городом и селом. Здесь в заключение сочинитель данного очерка берет на себя смелость заметить, что и сам он побывал в уже восстановленном богородицком дворце по дороге на поле Куликово, отнюдь еще не читав ни Владимира Лазарева, ни самого Болотова. Знакомство с их произведениями пришло уже потом, как и сверка современниковского болотовского томика, для которого кому-то пришла вдруг лихая мысль сделать перевод «с русского на русский» — по счастью, ее удалось отмести; и многое еще явилось в его жизни связанное с ними иное. Дело в том, что подобные встречи далеко не случайны: давно уже замечено было то удивительное явление, порою кажущееся сверхъестественным, когда долго и старательно занимающийся каким-либо добрым делом человек вдруг

начинает ощущать, что словно сама судьба и безгласная прежде природа вступают с ним в творческое сотрудничество, будто нарочно «подбрасывая» нужные встречи и совпадения и тем раскрывая хотя бы частицу замысла, лежащего в основе красоты окружающего нас мира. Ибо такое сотворчество есть высший смысл деятельности на любом поприще — и для всякого вообще занятия, если оно сумеет найти для себя верную средокрестную точку.

1988





АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН: ПУТЕВОДИТЕЛЬ[1]

...Вот верный брат его, герой Архипелага...
А. С. Пушкин.
Воспоминания в Царском Селе

НАПУТСТВИЕ В ДОРОГУ

ет за пятнадцать—двадцать до наших дней получила широкое хождение такая байка: человек 2000 года берет в руки энциклопедический словарь и в статье под титлою «Брежнев» читает следующее определение: «Мелкий политический деятель эпохи Солженицына». Еще лет пять тому рассказ сей продолжал числиться по разряду побасенок. Три года назад в части, относящейся к Брежневу, предсказание осуществилось. Нужно надеяться, приходит наконец час и полного его воплощения.

Между тем оно получило доказательство «от противного» — из другого мира, еще недавно нам совершенно обратного. В начале 1980-х президент Рейган пригласил на завтрак наиболее видных советских диссидентов, проживающих на Западе[2]. Из всего сонма званых отказался один А. И. Солженицын, заметив, что он не «диссидент», а русский писатель, которому не с руки беседовать с главой государства, чьи генералы по совету ученых (это поименно были: командовавший объединенной группой начальников штабов Тейлор с подачи профессора Гёртнера) всерьез разрабатывают идею избирательного уничто-

[1] Во избежание недоразумений составитель «Путеводителя» считает необходимым оговорить, что все толкования в данной работе принадлежат лично ему и он нисколько не посягает на то, чтобы выступать от лица самого А. И. Солженицына.

[2] Обстоятельства этого происшествия подробно изложены в статье А. Палладина «Александр Солженицын: новые черты знакомого лица»// Литературная Россия. 1989. 29 декабря. С. 18-19.

жения русского народа посредством направленных ядерных ударов. Выразив вежливый отвод, Солженицын, однако, ответно пригласил Рейгана, когда истечет срок его полномочий, посетить свой дом в Вермонте и там в спокойной обстановке побеседовать о насущных вопросах отношений двух наших стран — ненавязчиво выявив, что президентская должность занимается одним лицом максимально на восемь лет, призвание же российского писателя пожизненно (журнал «Посев», 1982, XV. С. 57—58).

...Краткое жизнеописание Александра Исаевича таково: он появился на свет в декабре 1918 года в Кисловодске. Отец происходил из крестьян, затем стал студентом, добровольцем ушел на первую мировую войну и был награжден Георгиевским крестом. Он погиб от несчастного случая на охоте за шесть месяцев до рождения своего единственного ребенка.

Как удалось выяснить самому писателю: «Деды мои были не казаки, и тот и другой — мужики. Совершенно случайно мужицкий род Солженицыных зафиксирован даже документами 1698 года, когда предок мой Филипп пострадал от гнева Петра I... А прадеда за бунт сослали из Воронежской губернии на землю Кавказского войска. Здесь, видимо, как бунтаря, в казаки не поверстали, а дали жить на пустующих землях. Были Солженицыны обыкновенные ставропольские крестьяне: в Ставрополье до революции несколько пар быков и лошадей, десяток коров да двести овец никак не считались богатством. Большая семья и работали все своими руками» (книга литературно-общественных воспоминаний «Бодался теленок с дубом», Париж, 1975. С. 570; далее ссылки в тексте сокращено — «Т», с указанием страницы).

Мать А. И., Таисия, была дочерью Захара Щербака, пришедшего пастушить на Кубань из Таврии и ставшего здесь зажиточным хуторянином; после революции бывшие рабочие безвозмездно кормили его еще двенадцать лет, покуда он не был арестован и погиб в годы коллективизации.

После средней школы Солженицын заканчивает в Ростове-на-Дону физико-математический факультет университета; с четвертого курса одновременно учится заочником в Московском институте философии и литературы. Не довершив в последнем обучения, уходит на войну, с 1943 по 1945-й командует на фронте батареей, награжден орденами и медалями. В феврале 1945-го в звании капитана арестован из-за отслеженной в переписке критики

Сталина и осужден на 8 лет, из которых полгода провел на следствии и пересылках, почти год — в лагере на Калужской заставе в Москве, около четырех — в тюремном НИИ и два с половиной самых трудных — на общих работах в политическом Особлаге. Затем был сослан в Казахстан «навечно»; однако рукотворная вечность продолжалась «лишь» три года, после чего определением военной коллегии Верховного суда СССР от 6 февраля 1957 года последовала реабилитация.

По реабилитации работал школьным учителем в Рязани. Вслед за публикацией в 11-м номере «Нового мира» за 1962 год произведения «Один день Ивана Денисовича» принят в Союз писателей, но кроме еще нескольких рассказов и одной статьи все написанное вынужден был отдавать в «Самиздат» или печатать в Зарубежье. В 1969-м из СП исключен, в 1970-м удостоен Нобелевской премии по литературе. В 1974-м в связи с выходом I-го тома «Архипелага ГУЛАГ» насильственно изгнан на Запад. До 1976 года жил в Цюрихе, затем перебрался в американский штат Вермонт, природою напоминающий среднюю полосу России.

Женат вторым браком на Наталье Светловой, у них трое детей — Ермолай, Игнат и Степан, в настоящее время уже юноши, вместе с матерью помогающие отцу в историческом и издательском труде.

Таков внешний перечень «личного дела»; но есть еще и стоящий за ним внутренний, сокрытый от поверхностного взгляда Путь.

«Хотя знакомство с русской историей могло бы давно отбить охоту искать какую-то руку справедливости, какой-то высший вселенский смысл в цепи русских бед,— я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий, смысл привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда управлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал обратно их истинному и далеко рассчитанному значению. Но позже непременно разъяснялся мне истинный разум происшедшего — и я только немел от удивления. Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая истинного пути,— и всегда меня поправляло Нечто. Это стало для меня так привычно, так надежно, что только и оставалось у меня задачи: правильней и быстрей понять каждое крупное событие моей жизни... Давно оправдался и мой арест, и моя смертельная болезнь, и многие личные события...» (Т. 126).

Главная работа писателя, повествование о революции, начата была более полувека назад с описания катастрофы армии Самсонова в 1914 году — и вот «неожиданным» подарком судеб боевая дорога капитана Солженицына в 1944-м проходит в точности по тем же местам Восточной Пруссии.

Вместо творческого труда в самом конце пережитой войны его постигают арест, тюрьма и лагерь,— но: «Страшно подумать, чтоб я стал за писатель (а стал бы), если б меня не *посадили*» (Т. 7).

Он был освобожден в день смерти Сталина, 5 марта 1953-го — и тут же наваливается лютый рак, когда по приговору врачей остается жизни не больше трех недель. «Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор» (Т. 8). Первая жена в последние годы его заключения вышла замуж за другого, и некому даже перед кончиной отдать рукописи; Солженицын едет умирать в ташкентскую клинику. «Однако я не умер (при моей безнадежно-запущенной острозлокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращенная мне жизнь с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель)» (Т. 9).

Излечась, писатель стал пытаться собрать по крохам историю Архипелага, но вскоре понял, что одному это невподъем — и тогда «случайная», почти чудесная публикация «Ивана Денисовича» приносит со всей страны сотни свидетельств очевидцев, на основе которых в несколько лет выполнена художественно-историческая работа, до сих пор непосильственная многорукому полку Академии наук и Союза писателей.

Человеческие предположения о направлении хода путеводительной судьбы, впрочем, редко непогрешительны, ибо сиюминутному разуму высшие цели часто неисповедимы и непостижны. Об этом замечательно сказано, например, в безымянной надписи на могиле старовера Ковылина в Москве: «Не забудь, о человек, что состояние твое на земли определено вечною Премудростию, которая знает сердце твое, видит суету желаний твоих и часто отвращает ухо от прошения твоего из единаго милосердия». Зарытый в прямом смысле слова в землю «Архипелаг» — ему предназначалось отлежаться там, покуда будет идти работа над главным повествованием о революции, получившим теперь окончательное имя «Красного

Колеса»,— без разрешения автора сохранен в ходе работы одной из помощниц, затем вырван у нее враждебною силой, поневоле печатается раньше срока за границей, и вот в самом разгаре работа над заветною эпопеей прерывается.

Но незваная встреча с Западом дает писателю замечательную возможность взглянуть на расколотый мир с другой стороны, принося художественному зрению наконец вожделенный объем. И вот уже в 1987—1988 годах появляется переработанный четырехтомный «Март Семнадцатого» о сокрушительном падении февральской революции — как раз когда на Родине вновь с последнею остротой встает вопрос: оттепель или выздоровление?

...Путь духовного роста невозможно, однако, проследить без временных и вещественных вех. Последуем же за волей их создателя: десять лет назад, в преддверии своего 60-летия, Солженицын начал издавать собрание сочинений с подзаголовком: «Восстановлены подлинные доцензурные тексты, заново проверенные и исправленные автором. Иные произведения печатаются впервые». К 1988-му, году 70-летия, вышло в свет уже 18 томов. «Техника нынешняя позволяет набирать самим, в нашей глуши,— тоже как бы Самиздат, в изгнании»,— сказано в предисловии к первому тому; набранный таким образом текст последний раз правится и отправляется для напечатания в Париж. А оттуда дорога ведет прямо на Москву — по ней мы и тронемся.

I — I I . В КРУГЕ ПЕРВОМ

Хотя сам писатель и утверждал, что «наиболее влекущая меня литературная форма — «полифонический» роман (без главного героя, где самым важным персонажем является тот, кого в данной главе «застигло» повествование) и с точными приметами времени и места действия» (Т. 484) — из пяти его крупных вещей, как это ни удивительно, романом в тесном смысле является лишь первая, ибо «Архипелаг ГУЛАГ» согласно подзаголовку — «опыт художественного исследования», эпопея «Красное Колесо» — «повествованье в отмеренных сроках», «Раковый корпус», по авторской воле, «повесть», а «Один день Ивана Денисовича» даже — «рассказ».

Роман «В круге первом» писался всего 13 лет, с 1955 по 1968 год, и имеет целых семь редакций. Тем, кому довелось читать его по машинописным копиям или запад-

ным «пиратским» изданиям, странно будет услышать, что перед ними было во многом иное произведение. «Истинный роман, оконченный мною много лет назад, имел настолько взрывчатое содержание, его совершенно невозможно было даже пустить в Самиздат... и тем более предложить Твардовскому и «Новому миру». Так и лежал у меня роман, и вот я увидел, что часть глав можно было бы предложить, а часть — невозможно. Тогда я должен был разбить готовое здание на кирпичи и начать перебирать по кирпичам, как бы снова сложить другой роман. Для этого я должен был сменить основной сюжет. В основе моего романа лежит совершенно истинное и притом, я бы сказал, довольно-таки историческое происшествие. Но я не мог его дать. Мне нужно было его чем-нибудь заменить. И я открыто заменил его расхожим советским сюжетом того времени, 1949 года, времени действия романа. Как раз в 49 году у нас, в Советском Союзе, шел фильм, серьезно обвинявший в измене родине врача, который дал французским врачам лекарство от рака. Шел фильм, и все смотрели, серьезно кивали головами. И так я подставил в замену своего истинного сюжета этот открытый сюжет, всем известный» (Солженицын А. И. Собрание сочинений, Вермонт—Париж, 1983. Т. 10. С. 166 — далее ссылки в тексте сокращенно, с обозначением римскою цифрой тома и арабской — страницы).

«Но даже и его не рискнули целиком показать рецензенту Хрущева, а уж самому Хрущеву — ни главы» (X.480). Этот-то, пятый по счету, вариант и попал в свободное обращение в 1965 году. «Облегченный» сюжет состоял в том, что прознавший про то, чем грозит доброхоту-врачу невинная встреча с французом, советский дипломат звонит ему с предупреждением по телефону-автомату. Подслушанный и записанный на пленку разговор доставляют на «шарашку» — научно-исследовательское учреждение системы МГБ, в котором заключенные ученые среди прочих потребных власти технических разработок создают методику распознания голосов по тембру и частоте. Здесь из возможных «кандидатов» выделяют два наиболее вероятных голоса, а нетерпеливое карательное ведомство обоих и тащит в застенок.

В окончательном же, седьмом варианте, впервые полностью появившемся в начальных 1—2-м томах Собрания сочинений, «совершенно другой стержень сюжета. Этот дипломат Володин звонит не относительно какого-то ле-

карства, он звонит в американское посольство о том, что через три дня в Нью-Йорке будет украдена атомная бомба, секрет атомной бомбы, и называет человека, который возьмет этот секрет. А американское посольство никак это не использует, не способно воспринять даже этой информации. Так на самом деле было, это истинная история, и секрет был украден благополучно, а дипломат погиб. Но поскольку я был на этой шарашке, где обрабатывалась его лента, вот значит я и знаю эту историю» (X.554).

Здесь, как и в дальнейших своих вещах, писатель ревниво настаивает на своем почти дотошном следовании действительности: «И сама «шарашка Марфино», и почти все обитатели ее списаны с натуры» (II.403). Любопытно, что здание, в котором происходит действие романа, сохранилось до наших дней — это дом бывшего Александро-Мариинского приюта для бедных сирот-мальчиков духовного звания, находившегося в подмосковной деревеньке Марфино близ Останкинского дворца — «музея творчества крепостных». Нынешний его адрес — ул.Комарова, 2 (бывшее Владыкинское шоссе).

Смысл названия романа дважды разъяснен в начале и конце «зэками»: «Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался — куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место» (I.24). «Шарашка — высший, лучший, первый круг ада» (II.397). Третье и несколько иное толкование дает покуда еще вольный дипломат Володин, вычерчивая для наглядности на сырой подмосковной земле круг: «Вот видишь — круг? Это — отечество. Это — первый круг. А вот — второй.— Он захватил шире.— Это — человечество. И кажется, что первый входит во второй? Нич-чего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулеметами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества — нет. А только отечества, отечества, и разные у всех...» (I.349).

В первом своем романе Солженицын применил и излюбленный прием чрезвычайного сжатия действия во времени для создания «критической» массы: «Вот захватывает какая-то новая вещь, например «Круг первый». Захватывает. Ну, как описывать такую вещь? Я там жил три

года. Описывать эти три года? вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во мне, не только в материале. Я уплотнил — там, пишут, четыре дня или даже пять,— ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал слишком свободно располагается» (Х,516).

Судьбе еще угодно было распорядиться так, чтобы все три главных прообраза основных действующих лиц «Круга» оставили свои печатные о нем свидетельства. Если за инженером Нержиным, ищущим смысла жизни и революции, стоит сам автор романа, то за «очищенным марксистом» Львом Рубиным явственно проступают черты его со-сидельца литератора Льва Копелева, живущего сейчас в ФРГ,— третий том своих мемуаров он даже назвал по имени домовой церкви марфинского приюта, в помещении которой была их общая спальня: «Утоли моя печали». Третий персонаж, «аристократ тела и духа» Сологдин — художественное отражение чрезвычайно самобытного инженера-любомудра Димитрия Михайловича Панина, скончавшегося в 1987 году во Франции; его «Записки Сологдина» вышли в переводе на нескольких языках.

Поставленные в положение почти запредельное, и заключенные, и многие жители «большой зоны» — воли, принуждены решать самые «крайние» вопросы бытия. Дипломат Иннокентий (его имя в переводе с латыни — «невинный», оно обречено уже изначально «играть» смыслами прямым и обратным) решил для себя так: «...надчеловеческое оружие преступно допускать в руки шального режима», потому что, полагает он вслед за Герценом, «не надо путать отечества и правительства» (II.161).

Выбирать судьбу приходится, однако, не только за себя, но и за тех близких и родных, кого человек способен начисто погубить своим лично честным поступком. Наиболее открытая сшибка мнений, почти невозможная в те времена на свободе, происходит парадоксальным образом в границах неволи — среди заключенных «шарашки». В обстоятельствах, открыто трагических по размаху, поверяется опыт, история народа и его литература; не случайно возникают здесь имена великих писателей прошлого. Но резко сменившиеся обстоятельства задают им строжайшую поверку: «Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского,— поражаешься:

как покойно им было отбывать срок! ведь за десять лет у них не бывало ни одного этапа!» (II.371).

(Однако на довольно бестактный вопрос в Мадриде: «Кто испытал больше страданий — Достоевский или вы?» — Солженицын отрезал: «...ГУЛАГ несравнимо страшней царской каторги. Но мера внутренних страданий человека не всегда соответствует внешне пережитому» (X.338).

Другой классик былых времен поминается косвенно: «Очищенный от греха собственности, от наклонности к оседлой жизни, от тяготения к мещанскому уюту (справедливо заклейменному еще Чеховым), от друзей и от прошлого, зэк берет руки за спину и в колонне по четыре... идет к вагону» (II.372).

Три героя разводят свои пути у развилки с вопросом, гласящим: совестно ли выполнять любое задание «шарашки»? Делать подслушивающие устройства для домашних телефонов, как в соседней спецтюрьме МГБ поступил инженер Бобер, схлопотавший за беды сотен людей досрочное освобождение и сталинскую премию? Нет, как будто бы это не стоит. А скрытые фотоаппараты для слежки за своими согражданами в квартирах и на ночных улицах? Тоже вроде не годится. Но как же насчет атомного оружия — для Родины оно или для Сталина?..

За ответом Нержин отправляется по-толстовски к незамысловатому внешне мужику Спиридону, перетерпевшему не просто все беды, выпавшие в его век народу, но и принявшему в них самоличное участие как на стороне страдальческой, так и в стае насильников. «Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват? Кто это может сказать?»,— вопрошает скептический интеллигент у старика-калеки. И получает в ответ пословичное: «Да я тебе скажу!.. волкодав — прав, а людоед — нет!» (II.148).

Нержин наконец от сотрудничества с мучителями отказывается, Рубин соглашается и становится вольным виновником гибели Володина; Сологдин ищет своего обходного, «бокового» хода... При этом Нержин провидит в будущем совсем другое предназначение для себя: «Пройдут годы, и все эти люди... сейчас омраченные, негодующие, упавшие ли духом, клокочущие от ярости — одни лягут в могилы, другие смягчатся, отсыреют, третьи всё забудут, отрекутся, облегченно затопчут свое тюремное прошлое, четвертые вывернут и даже скажут, что это было разумно, а не безжалостно,— и, может быть, никто

из них не соберется напомнить сегодняшним палачам, что они делали с человеческим сердцем!.. Но тем сильнее за всех за них Нержин чувствовал свой долг и свое призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть» (II.195).

Здесь в «окружении» Нержина завязываются художественные и жизненные узелки, которым предстоит еще вырасти в Узлы, определяющие основные пути творчества самого Солженицына. Их можно проследить от борьбы с «птичьими словами» (то есть употребляемой без нужды иностранщиной) Сологдина, от способности «припечатать» единым неожиданным, но созданным в традиции русским словом — как «многонольные» тиражи у сталинских лауреатов (II.99) — вплоть до интереса к судьбе забытого и забитого рабочего вожака Шляпникова и тамбовского крестьянского восстания 1921 года, «антоновщины». Двум последним приведется встать во весь рост в «Красном Колесе» — и там же будет воплощен знаменитый метод «узлов», о котором в применении к Ленину, опять-таки одной из главных фигур «Колеса», еще на нарах «шарашки» рассуждают Сологдин с Нержиным:

«Будь же достоин своей... исчислительной науки. Примени способ узловых точек. Как исследуется всякое неведомое явление? Как нащупывается всякая неначерченная кривая? Сплошь? Или по особым точкам?» — спрашивает первый. А второй в ответ: «Мы ищем точки разрыва, точки возврата, экстремальные и наконец нолевые. И кривая — вся в наших руках» (I.204).

Следует отметить и две главы, чрезвычайно показательные для солженицынского дара трагической иронии. Это «Улыбка Будды» (59-я), повествующая о посещении госпожой Рузвельт Бутырской тюрьмы и устроенной в связи с этим начальством «чернухой» (показным благополучием), и глава 55-я — жутковатая пародия на современный суд, разыгранный самими зэками процесс над «изменником» князем Игорем. Заканчивается он мрачной угадкой, «попавшей» впоследствии в самого автора: выступающий в роли казенного адвоката тайный доносчик Исаак Каган, по традиции тех времен, не удовлетворен запрошенным для его подзащитного «прокурором» максимумом — 25 годами заключения, или «четвертной» — и требует еще пущего наказания по статье 20 пункт «а»: объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов страны. «Пусть там, на Западе, хоть подохнет!» (II.26).

Есть в романе главы и просто страшные — описыва-

ющие выворачивающие душу свидания заключенных с «вольными» родственниками, где на миг выныривающие из пучины Архипелага зэки порою выглядят лучше, чем загнанные в тупик их жены и близкие, которым предлагается на выбор отречение или голодная смерть (гл.40-42).

Особо скажем о сугубо спорных страницах, посвященных жизни «кремлевского отшельника». В них, по наблюдениям немногочисленных «допущенных» знатоков, было немало фактических неточностей. Еще веря в возможную публикацию, против них возражал и Твардовский. Как вспоминает сам автор, он находил нужным «убрать главу «Этюд о великой жизни» (где я излагал и старался психологически и внешними фактами доказать версию, что Сталин сотрудничал с царской охранкой); и не делать такими уверенно-точными детали быта монарха, в которых я уверен быть не мог. А я считал: пусть пожнет Сталин посев своей секретности. Он тайно жил — теперь каждый имеет право писать о нем все по своему представлению. В этом право и в этом задача художника: дать с в о ю картину, заразить читателей» (Т. 89). Далекий от внешней похожести, Сталин предстает в романе таким, каким его представлял средний советский зэк.

Предсказанию отвлеченного от прочей жизни, но въедливого в своей технической страсти инженера, трезво оценившего всю систему управления наукой при Сталине: «Первыми на Луну полетят — американцы!»— суждено будет сбыться (II.37). Затаенную веру и вольного Володина, и узника Нержина в далекую ООН и пользу «мирового правительства» (I, 378; II,77) ожидает, напротив, горькое разочарование.

Но покуда герой, автор и вслед за ним мы идем вниз; из «первого круга» — в сам пеклый «ад мы едем. В ад мы возвращаемся» (II.397). Там, в Особом лагере для «политических», ожидает нас бывший крестьянин и воин Иван Денисович Шухов.

III. РАССКАЗЫ

Жанр рассказа привлекает Солженицына: «В малой форме можно очень много поместить, и это для художника большое наслаждение, работать над малой формой. Потому что в маленькой форме можно оттачивать грани с большим наслаждением для себя» (X.519). Но внешние обстоятельства не позволили ему подробно заняться

им — в третьем томе Собрания, включившем в себя все «малые» художественные произведения, насчитывается всего восемь рассказов и цикл из 17 «Крохоток» (одну из которых, о духовной красоте русской природы и колокольном звоне, зачел недавно в Даниловом монастыре президент Рейган).

Головной из них — «Одни день Ивана Денисовича»; и это именно рассказ — переназвать его заставили автора в «Новом мире»: «Предложили мне «для весу» назвать рассказ повестью — ну, ин пусть будет повесть,— вспоминает он и поясняет:— Зря я уступил. У нас смываются границы между жанрами и происходит обесценение форм. «Иван Денисович»— конечно, рассказ, хотя и большой, нагруженный. Мельче рассказа я бы выделял новеллу — легкую в построении, четкую в сюжете и мысли. Повесть — это то, что чаще всего у нас гонятся называть романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательна протяженность во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объемом, и не столько протяженностью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько — захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли» (Т. 31).

«Один день...» «задуман автором на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 1950-1951. Осуществлен в 1959 сперва как «Щ-854 (Один день одного зэка)», более острый политически» (III.327). Это была попытка «что-нибудь такое написать, чего пусть нельзя будет печатать — но хоть показывать людям можно! хоть не надо прятать!» (Т. 18). А затем уже: «Я не знал, для чего, у меня не было никакого замысла, просто взял «Щ-854» и перепечатал облегченно, опуская наиболее резкие места и суждения и длинный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурили американцев в Севастополе 45-го года нашим подставным благополучием. Сделал зачем-то — и положил» (Т. 19).

После XXII съезда писатель впервые решился предложить что-то в открытую печать. Выбрал «Новый мир» Твардовского — однако сам туда не пошел: «...просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтоб идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать рукопись. Хотя шесть авторских листов, но это было совсем тонко: ведь с двух сторон, без полей и строка вплотную к строке» (Т. 22).

Далее все происходящее было похоже на чудо, но только чудо «заслуженное»: рукопись удалось через голову редколлегии передать самому Твардовскому при точных словах: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь» (Т. 26). Тот, легши вечером с ней «почитать», через две-три страницы встал, оделся, перечел за бессонную ночь дважды — и тотчас же начал борьбу за издание. Наконец, «решение о напечатании рассказа принято на Политбюро в октябре 1962 года под личным давлением Хрущева» (III.327). Он появился в 11-м номере журнала за тот же год, а в следующем переиздан в «Роман-газете» и «Советском писателе». Изменений внесено было немного: «в уступку требованиям печатности, фигура кавторанга освобождена от юмористических черт и введено единственное упоминание Сталина, которого не было» (III.327).

Замысел автор объясняет так: «Как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжелая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днем. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там, всю историю лагерей,— а достаточно в одном дне все собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет все. Это родилась у меня мысль в 52-м году. В лагере. Ну конечно, тогда было безумно об этом думать. А потом прошли годы. Я писал роман, болел, умирал от рака. И вот уже... в 59 году, однажды я думаю: кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Семь лет она так лежала просто. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел, и как полилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только чтоб чего-нибудь не пропустить. Я невероятно быстро написал «Один день Ивана Денисовича», и долго это скрывал. Я пришел в «Новый мир», меня спрашивают: «сколько времени вы писали?» Сказать, что я его написал за месяц с небольшим,— невозможно, ибо тогда: «позвольте, а что вы писали остальные годы?»— Я скрывал, скрывал, вообще уклонялся, уклонялся, а на самом деле — месяц с небольшим» (X, 518).

«Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором в советско-германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта пленников и личного опыта автора в Особом лагере каменщиком. Остальные

лица — все из лагерной жизни, с их подлинными биографиями» (III.327).

Кратко и точно о рассказе выразился сам Твардовский, сказавший: уровень правды в нем такой, что после этого писать, будто «Ивана Денисовича» не было, стало невозможно.

Развернутый разбор «Одного дня» напечатал тогдашний заместитель главного редактора «Нового мира» В. Лакшин (1964, № 1) под названием «Иван Денисович, его друзья и недруги». Особенно примечателен анализ различия между крестьянином Шуховым и заключенным кинорежиссером Цезарем Марковичем, из которого следует такой вывод: «Хотелось бы, конечно, чтобы Иван Денисович стоял на более высокой ступени культуры и чтобы Цезарь Маркович, таким образом, мог бы говорить с ним решительно обо всем, что его интересует, но, думается, и тогда взгляды на многое были бы у них различны, потому что различен сам подход к жизни, само ее восприятие» (с. 243). Выдержала испытание временем и основная мысль статьи: «Чем дальше будет жить эта книга среди читателей, тем резче будет выясняться ее значение в нашей литературе, тем глубже будем мы сознавать, как необходимо было ей появиться. Повести об Иване Денисовиче Шухове суждена долгая жизнь» (с. 245).

Однако в статье сделано и одно чрезвычайно ошибочное заключение, ставшее впоследствии источником решительного расхождения взглядов автора и его критика. Возражая на статью в «Октябре» (1963, № 4), в которой рецензент Н. Сергованцев в задоре новомировско-октябристской полемики случайно-нехотя выговорил правду — что черты характера Шухова унаследованы не от «людей 30—40-х годов», а от «патриархального мужичка» — В. Лакшин, что называется, попадает мимо цели прямо в «молоко»: «У Шухова — такая внутренняя устойчивость, вера в себя, в свои руки и свой разум, что и Бог не нужен ему. И тут уже несомненно, что эти черты безрелигиозности в широком смысле слова — вопреки мнению критиков, твердящих о патриархальности Шухова,— не из тех, что бытовали в народе от века, а из тех, что сформировались и укрепились в годы советской власти» (с. 233).

«Один день...» возобновил как раз высокую традицию русской классики, что хорошо заметно и по его языку — это несомненное обновление, ибо «вино новое следует

вливать в мехи новые», но обновление через предание и корень, а не посредством выворота наизнанку.

Рассказ был выдвинут на ленинскую премию, но дружными стараниями противников вскоре «задвинут» обратно — чтобы получить несколько лет спустя другую премию, Нобелевскую.

Судьба одного из недоброхотов Ивана Денисовича тесно переплелась с судьбою самого произведения и в этом смысле чрезвычайно показательна. Вскоре после выхода «Одного дня...», в «Звезде» (1963, № 3; отдельное издание с исправлениями — Москва, 1966) была напечатана «Повесть о пережитом» литератора Б. А. Дьякова — как справедливо указывает В. Лакшин, подражательная по стилю, но не по духу созданию Солженицына. В ней сделана попытка поставить все с ног на голову: главный герой здесь не рядовой русский человек, а сам автор — лагерный «придурок», то есть устроившийся на хозяйственную либо канцелярскую работу бывший аппаратчик, почитающий «западло» якшаться с «кулаками» и прочими «справедливо» (по сравнению с ним) посаженными. Со временем Б. Дьяков стал прибирать единоличное право единственно-верно представлять лагерный мир; он с нескрываемой радостью приветствовал изгнание Солженицына за границу («Ползком на чужой берег»//В сб.: В круге последнем. М., 1974. С. 56—61). «Повесть» его вновь переиздана была в 1988 году в чрезвычайно распухшем виде,— но тут неожиданно появились материалы, неопровержимо свидетельствующие о том, что сам Б. Дьяков еще с 30-х годов добровольно служил сексотом и отправил в лагеря десятки людей (Огонек. 1988. № 20, статья «Хамелеон меняет окраску»). Однако —во многом благодаря нравственному влиянию произведений Солженицына — в адрес перевертня раздались не призывы к мести, но голоса о том, что «надо как-то призывать его к покаянию. Нельзя это так оставить. Вы знаете, ранее в таких случаях уходили в монастырь и замаливали свои грехи. Атеисту монастырь не поможет. Но раскаяние, чистосердечное раскаяние в содеянном помогло бы человеку, если не уважение, то хотя бы место найти среди людей» (Книжное обозрение. 1988. № 36, письмо читателя В. Третьякова. С. 4).

...«Новый мир» напечатал еще четыре рассказа Солженицына: «Матренин двор», «Случай на станции Кочетовка» (1963, № 1 — имя станции в публикации по курьезу было сменено на «Кречетовка», чтобы оно не от-

званивало фамилией тогдашнего редактора «Октября» В. Кочетова), «Для пользы дела» (1963. № 7) и «Захар-Калита» (1966. № 1). Остальные три рассказа, как и «Крохотки», впервые вышли за границей: это примыкающий к «Раковому корпусу» этюд «Правая кисть»; «Как жаль» — описание подлинного случая, изложенного затем в «Архипелаге» (ч. VI); «Пасхальный крестный ход» — словесная картина подлинного происшествия в 1966 году в подмосковном Переделкине.

Рассказом о неправедной передаче вычиненного молодежью здания под закрытый институт — «Для пользы дела» — сам автор остался недоволен: «Весной 1963-го я написал для журнала рассказ, которого внутренне мог бы и не писать: «Для пользы дела»; он «писался трудновато (верный признак неудачи) и взял неглубоко... Противный осадок остался у меня от напечатания этого рассказа, хотя при нашей всеобщей запретности даже он вызвал много возбужденных откликов. В этом рассказе я начинал сползать со своей позиции, появились струйки приспособления» (Т. 77).

«Кочетовка», как хитроумно объяснял писатель высокопосаженному наблюдателю за культурой П. Демичеву, написана была «с заведомой целью показать, что не какое-то ограниченное число закоренелых злодеев совершали злодейства, но их могут совершить самые чистые и лучшие люди, и надо бороться со злом в себе» (Т. 107).

Большая судьба оказалась у двух других рассказов, как бы продолжающих лесковские повествования о русских праведниках. «Матренин двор» так и назывался исходно — «Не стоит село без праведника». В нем показано жестокое разорение русской деревни, среди которого все-таки устояла духом почти что нищая крестьянка Матрена. «Рассказ полностью автобиографичен и достоверен. Жизнь Матрены Васильевны Захаровой и смерть ее воспроизведены как были. Истинное название деревни — Мильцево, Курловского района, Владимирской области... При напечатании по требованию редакции год действия 1956 подменялся 1953, то есть дохрущевским временем» (III.327). С этого рассказа ведет свое происхождение знаменитая ныне «деревенская проза» (хотя впоследствии обнаружилось несколько вещей более ранних, однако не обративших на себя внимания — сходный случай произошел и с «Архипелагом»).

Второй праведник открыл ряд произведений об охране памятников Отечества и, шире, отечественной памяти.

Это Захар-Калита, предстающий вначале как «Смотритель Куликова Поля!— тот муж, которому и довелось хранить нашу славу», и в конце рассказа вырастающий до образа символичного: «Он был уже не Смотритель, а как бы Дух этого Поля, стерегущий, не покидавший его никогда» (III,304,313).

С той поры рассказы более не выходили из-под пера Солженицына. «Я не то что отбросил малую форму. Я с удовольствием бы иногда отдыхал на малой форме, для художественного удовольствия»,— но «не могу. Несчастным образом наша история так сложилась, что прошло 60 лет от тех событий, а настоящего связного большого рассказа о них в художественной литературе, да и в документальной, нет...

Я думаю, что последняя возможность моему поколению написать...» (X.524).

IV. РАКОВЫЙ КОРПУС

Это — повесть: «И повестью-то я ее назвал сперва для одного того, чтоб не путали с конфискованным романом... Лишь потом прояснилось, что и по сути ей приличнее называться повестью» (Т. 148).

«Повесть задумана весной[1] 1955 в Ташкенте в день выписки из ракового корпуса» (IV.503). «Когда задумаешь — этот момент внезапен. Раз я шел, выйдя из диспансера, шел по Ташкенту, в комендатуру, и вдруг меня стукнуло, вот почти все из «Ракового корпуса» (X.518).

«Однако замысел лежал без всякого движения до января 1963, когда повесть начата, но и тут оттеснена началом работы над «Красным Колесом». В 1964-м автором предпринята поездка в Ташкентский онкодиспансер для встречи со своими бывшими лечащими врачами и для уточнения некоторых медицинских обстоятельств. С осени 1965-го, после ареста авторского архива, когда материалы «Архипелага» дорабатывались в Укрывище,— в местах открытой жизни только и можно было продолжать эту повесть. Весной 1966-го закончена 1-я часть, предложена «Новому миру», отвергнута им — и пущена автором в Самиздат. В течении 1966-го закончена и 2-я часть, с такой же судьбой. Осенью того года состоялось обсуждение 1-й части в секции прозы московского отделения со-

[1] В присланных составителю «Путеводителя» собственноручных замечаниях автора «весной» исправлено на «летом».

юза писателей — и это был верхний предел достигнутой легальности. Осенью 1967-го «Новый мир» легализовал принятие повести к печатанию, но дальше сделать ничего не мог» (IV.503). Первые издания повести вышли в 1968 году в Париже и Франкфурте.

Здесь снова применен излюбленный писателем прием временного сжатия: «Раковый корпус» я разделил на две части почти исключительно из того соображения, что ход болезни не допускает дать ей три дня. Болезнь требует показать ее хотя бы за пять, шесть недель, а повествование хочет сжаться. Я разделил на две части только для того, чтобы в первой части разрешить себе все в три дня поместить, там, в несколько дней, а вторую часть вынужденно растянул, не потому что я хотел плавно повествовать, а потому что ход болезни требовал правдоподобного лечения, то есть пять-шесть недель» (X.516).

В «Раковом корпусе» сталкиваются и расходятся два главных действующих лица. Один, прообразом которого отчасти служит сам автор,— Олег Филимонович Костоглотов, бывший фронтовой сержант, а нынче административно-ссыльный, приехавший в онкодиспансер умирать и почти «случайно» спасенный. Он навсегда ранен увиденным на войне и каторге, так что даже прочтя в зоопарке на клетке барсука надпись: «Барсук живет в глубоких и сложных норах» — тотчас соображает: «Вот это по-нашему! Молодец, барсук, а что остается? И морда у него матрасно-полосатая, чистый каторжник» (IV.474).

Другой — Павел Николаевич Русанов, весь свой век прослуживший «по анкетному хозяйству» да по «кадрам» и кое на кого столь успешно «сигнализировавший», что они отправились на один с Костоглотовым Архипелаг. Фамилия у него подчеркнуто русская, и вся семья вышла из народа, а потом доросла вот до какого мировоззрения: «Русановы любили народ — свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ. Но с годами они все больше терпеть не могли — населения. Этого строптивого, вечно уклоняющегося, упирающегося да еще чего-то требующего себе населения» (IV.189).

Все их споры и борьба за выживание перед лицом личной, а не коллективной смерти происходят в самую краеугольную пору, когда только начинается слом сталинской машины — то есть, так сказать, во время «протоперестройки», для одного означающей проблеск света, а для другого — крушение кропотливо созданного мира.

Не последнюю роль в осмыслении происходящего играет литература. Костоглотов и сам задумывается над отечественной словесностью; к Русанову же приезжает дочь — журналистка и начинающая поэтесса, только что наведавшаяся в Москву: «Я там сейчас насмотрелась! Я побывала в писательской среде, и немало,— ты думаешь, писателям легко перестраиваться, вот за эти два года? Оч-чень сложно! Но какой это опытный, какой это тактичный народ, как многому у них научишься!» (IV.274).

О том же, но с точки зрения обратной, говорит и старая больничная сиделка из ссыльнопоселенцев, отказывающаяся читать что-либо кроме французских романов: «Близко я не знаю книг, какие бы не раздражали. В одних — читателя за дурачка считают. В других — лжи нет, и авторы поэтому очень собой гордятся. Они глубокомысленно исследуют, какой проселочной дорогой проехал великий поэт в тысяча восемьсот таком-то году, о какой даме упоминает он на странице такой-то. Да может, это им и нелегко было выяснить, но как безопасно! Они выбрали участь благую! И только до живых, до страдающих сегодня — дела им нет... Где мне о н а с прочесть, о н а с? Только через сто лет?» (IV. 449—450).

Между двумя главными героями помещается еще «промежуточный» третий — проповедник «нравственного социализма» Шулубин, не имеющий, согласно автору, точного «частного» прототипа (IV.503). Кое-кто из первых читателей счел было, что он-то и выражает мечты самого писателя — однако теория эта измышлена как раз в годы тихого предательства и именно ему служит оправданием. Умирая, он от нее отрекается, моля хотя бы «осколочком» зацепиться за бессмертный Мировой Дух. Впоследствии Солженицын сказал о нем прямо: «Шулубин, который всю жизнь отступал, и гнул спину... совершенно противоположен автору и не выражает ни с какой стороны автора» (X.149).

Куда ближе писателю чета старичков Николай Иванович и Елена Александровна Кадмины, своего рода Филемон и Бавкида, или скорее старосветские помещики Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна — но только прошедшие через лагерь и обретшие там для своей любви «запредельный» опыт и глубину, неведомую прообразам иных эпох.

В конце повести Костоглотов, лишенный возможности завести семью (его кололи гормонными лекарствами), вы-

ходит исцеленный телесно из Тринадцатого Ракового корпуса; родные увозят на машине ложно надеющегося на выздоровление Русанова. Сам же автор, излечившийся тогда начисто, выковал свою собственную теорию о раке — ее он кратко выразил позднее в «Теленке». Узнав о скоротечной смерти именно от этой болезни своего доброго новомировского «ангела» Твардовского после того, как его заставили покинуть любимый журнал, Солженицын записывает: «Рак — это рок всех отдающихся жгучему желчному обиженному подавленному настроению. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут. Так погибли многие уже у нас: после общественного разгрома, смотришь — и умер. Есть такая точка зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в рост идут, как только пошатнется...— скажем, дух» (Т. 309).

Замечательно выразительна финальная сцена — перед отъездом назад в ссылку Костоглотов заходит по просьбе тяжелобольного соседа-мальчишки в зоопарк, в коем пережитые страдания заставляют его видеть прообраз окружающего замордованного общества. Вокруг, правда, уже слышатся первые признаки «потепления» — но и в них он прозревает новую, еще большую опасность: «Самое запутанное в заключении зверей было то, что, приняв их сторону и, допустим, силу бы имея, Олег не мог бы приступить взламывать клетки и освобождать их. Потому что потеряна была ими вместе с родиной и идея разумной свободы. И от внезапного их освобождения могло стать только страшней» (IV.475).

Это — одна из главных, проходных тем писателя, которая найдет наиболее полное воплощение в «Красном Колесе». Но прежде чем до него дойти, нужно миновать еще несколько важных ступеней.

V—VI—VII. АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

Обобщающее произведение о лагерном мире Солженицын задумал весной 1958 года; выработанный тогда план сохранился в основном до конца: главы о тюремной системе и законодательстве, следствии, судах, этапах, лагерях «исправительно-трудовых», каторжных, ссылке и душевных изменениях за арестантские годы. «Однако работа прервалась, так как материала — событий, случаев, лиц — на основе одного лишь личного опыта автора и его друзей явно не доставало» (VII.573).

Затем, после напечатания «Одного дня Ивана Денисовича», хлынул целый поток писем, благодаря которым в течение 1963—1964 годов отобран опыт 227 свидетелей, со многими из которых писатель встречался и беседовал лично. С 1964 по 1968-й созданы три редакции произведения, теперь уже состоявшего из 64 глав в трех томах. Зимой 1967—1968 годов, вспоминает Солженицын, «за декабрь-февраль я сделал последнюю редакцию «Архипелага» — с переделкой и перепечаткой 70 авторских листов за 73 дня — еще и болея, и печи топя, и готовя сам. Это — не я сделал, это — ведено было моею рукой!» (Т. 164).

Сперва предполагалось отложить печатание «Архипелага» до 1975 года, чтобы дать возможность писателю спокойно поработать над возобновленным наконец «Колесом». Однако в августе 1973-го, после многодневных допросов 67-летней Е. Д. Воронянской в Ленинграде, она выдала тайну хранившегося ею без разрешения автора одного из неокончательных вариантов книги, и та была изъята. Немного спустя старая женщина была найдена повешенной в своей комнате при невыясненных обстоятельствах. И тогда была дана команда к изданию, которое предварялось такими словами: «Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед еще живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь... мне ничего не остается, как немедленно публиковать ее» (X. 441).

В новом издании для Собрания сочинений в 1980 году автор исправил ошибки, однако перерабатывать заново труд не стал: «Тут, на Западе, я имел несравненные с прежним возможности использовать печатную литературу, новые иллюстрации. Но книга отказывается принять в себя еще и все это. Созданная во тьме... толчками и огнем зэческих памятей, она должна остаться на том, на чем выросла» (VII.551).

Название трехтомника писатель упрощенно объяснял для иностранных читателей так: «Лагеря рассыпаны по всему Советскому Союзу маленькими островками и побольше. Все это вместе нельзя представить себе иначе, сравнить с чем-то другим, как с архипелагом. Они разорваны друг от друга как бы другой средой — волей, то есть не лагерным миром. И вместе с тем эти островки во множестве составляют как бы архипелаг» (X.299). Слово, следующее после «Архипелага», имеет в книге двойное написание: «ГУЛаг» — для сокращения Главного

Управления Лагерей МВД; «ГУЛАГ» — как обозначение лагерной страны, Архипелага (VII.566).

Непосредственно в предисловии к самой книге, речью уже не пояснительной, а художественной, автор повествует об «этой удивительной стране ГУЛАГ» — «географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент,— почти невидимой, почти неосязаемой стране, которую и населял народ зэков. Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую страну, он врезался в ее города, навис над ее улицами — и все ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали все. Но будто лишившись речи на островах Архипелага, они хранили молчание...

Свои одиннадцать лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь еще, по счастливому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем,— может быть, сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса?— еще, впрочем, живого мяса...» (V.8).

Подзаголовок книги — «опыт художественного исследования» — автор раскрывал впоследствии вот как: «Это нечто иное, чем рациональное исследование. Для рационального исследования уничтожено почти всё: свидетели погибли, документы уничтожены. То, что мне удалось сделать в «Архипелаге», который, к счастью, имеет влияние во всем мире, выполнено методом качественно другим, нежели метод рациональный и интеллектуальный» (X.177). «Художественное исследование, как и вообще художественный метод познания действительности, дает возможности, которых не может дать наука. Известно, что интуиция обеспечивает так называемый «туннельный эффект», другими словами, интуиция проникает в действительность как туннель в гору. В литературе так всегда было. Когда я работал над «Архипелагом ГУЛАГом» именно этот принцип послужил мне основанием для возведения здания там, где не смогла бы этого сделать наука. Я собрал существующие документы. Обследовал свидетельства двухсот двадцати семи человек. К этому нужно прибавить мой собственный опыт в концентрационных лагерях и опыт моих товарищей и друзей, с которыми я был в заключении. Там, где науке недостает статистических данных, таблиц и документов, художественный метод позволяет сделать обобщение на основе частных случаев. С этой точки зрения художесвенное исследование

не только не подменяет собой научного, но и превосходит его по своим возможностям» (X.331—332). «Художественное исследование — это такое использование фактического (не преображенного) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, соединенных, однако, возможностями художника,— общая мысль выступала бы с полной доказательностью, никак не слабей, чем в исследовании научном» (X.515—516).

«Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное Колесо» — две вершины творчества Солженицына, в которых с наибольшею полнотой воплотились его творческий дар и труд. В отличие от более «традиционных» романа, повести и, как увидим ниже, пьес, здесь все ново — язык, строение, размах — но новаторство это идет в самом русле отечественной словесности; образно говоря, вещи эти написаны уже не «в традиции», а «в предании». Вместе с тем следует особо подчеркнуть, что «Архипелаг» представляет собой произведение по преимуществу художественное — для пущей наглядности стоит сравнить его с такой близкой по букве, но далекой по духу, нарочито отстраненно и нехудожественно написанной книгой, как «Остров Сахалин» Чехова.

Неохватная, казалось бы, работа, оказавшаяся доселе невподъем никакому институту, удалась одиночке-подвижнику, не имевшему по опасности темы даже возможности хотя бы единожды держать ее целиком на своем письменном столе. Совершенное им дело сродни подвижничеству людей, сумевших объять казалось бы необъятное: «Толковому словарю» Владимира Даля (недаром ведь Солженицын изучал его насквозь, по странице в день, с карандашом в руке) или устанавливавшему происхождение всех (!) русских слов «Этимологическому словарю» немца Фасмера, созданному в годы войны в национал-социалистической Германии — в то время как когорте «своих» специалистов не удалось ничего большего, как перевести его текст и издать с комментариями. И здесь как раз уместно сказать о собственно солженицынском языке — ибо он сумел доказать свое право на такое название.

Сам писатель говорил в беседе со швейцарскими студентами-славистами: «Я для себя представляю так, что язык — это душа, не только национальной жизни, но в частности и литературы. Если не владеешь тем языком, на котором пишешь,— вообще никакая литература настоящая невозможна... Не то, что знаешь его, а сливаешься

с ним — только так должно быть... Нельзя не опираться на язык. «Архипелаг» в этом отношении имеет очень глубокие языковые корни... там множество пословиц, причем пословиц, почти не употребляемых в обычной жизни, ушедших из обычного употребления...»

Однако, в отличие от такого пословичного ряда, в работе непосредственно словесной Солженицын не считает нужным выхватывать далекие от всеобщего обихода, хотя и сверкающие, как алмазы, слова, не имеющие уже, к сожалению, надежды вновь войти в общее пользование — «я обычно пользуюсь все время, в каждой вещи, тем, что я называю «лексическое расширение». Ну, грубо говоря, вот я вычерчиваю область языка, в которой сегодня говорят русские. Большинство людей пользуются словами, взятыми из этой лексической области, изнутри ее... Веками эта область не менялась, веками — в России, во всяком случае,— язык стоял богатый, общирный и не терял своих краев. А сейчас все время идет сужение, как шагреневая кожа, уменьшается вот эта область... И я стараюсь во всех книгах производить лексическое расширение этой области за счет ближайшего слоя. Я стараюсь употреблять слова — вот отсюда. Они совсем близки к употреблению, к границам области, они всем понятны. Когда их употребил — все понимают, ну иногда некоторые поспорят: такое-то слово не хорошо, может быть, оно чуть дальше стоит, а может быть, этому человеку не нравится, тут много споров было. А некоторые слова — даже не замечают, что никто их не употребляет, а просто принимают: съели и не заметили. Потому что это законное расширение. Тут много есть самых простых приемов — такой, например: почти все приставки почти со всеми глагольными основами соединяются... Также и в синтаксисе я считаю, русский язык требует и допускает очень большое облегчение. Наш синтаксис может стать еще более свободным. Он и так свободен, он и так просторен... но можно еще свободнее его сделать, еше более гибким. Ну вот, все это входит в то, что я называю «связь с языком». Язык сам знает, как сокращать и чего он хочет» (X.487—489).

Приведем в качестве наглядного образца начало главы «Тюрзак»: «Ах, доброе русское слово — острог — и крепкое-то какое! и сколочено как! В нем, кажется,— сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И все тут стянуто в этих шести звуках — и строгость, и острога, и острота (ежовая острота, когда иглами в мор-

ду, когда мерзлой роже мятель в глаза, острота затесанных кольев предзонника и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает,— а рог? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен!» (V.441).

Этот язык оказывается достойным средством, подходящим для описания трагедии, которую Россия еще не знала в своей истории ни по глубине, ни по размеру. Счет ведь шел уже не на миллионы, а на десятки миллионов погубленных жизней — а затем он перевалил и за сотню. Достоевский еще в прошлом веке предсказал, что революционные опыты станут стране в сто миллионов душ. Менделеев на заре нынешнего столетия вычислил, что к его середине населения в государстве будет на сто миллионов больше, чем оказалось на деле. Наконец, как просчитал ленинградский профессор статистики И. А. Курганов,— Солженицын приводит эти вызывающие оторопь цифры во втором томе «Архипелага» (VI.12) — с 1917 по 1959-й потери на внешнем фронте составили 44, а на «внутреннем» (включая дефицит от пониженной рождаемости) — 66,7 миллиона человек; то есть всего 110!

Недаром М. П. Лобанов начинает свою знаменитую статью «Освобождение» такими словами: «Сам исторический опыт, пережитый нашим народом в XX веке, опыт, ни с чем не сравнимый по испытаниям и потерям, перевернул многие предшествующие представления о ценностях, в том числе и о литературе. Этот опыт превзошел все, что только могло быть предсказано в прошлом, в том числе и все произведения Достоевского... Герои самого Достоевского типа умника Ивана Карамазова быстро бы образумились, оказавшись рядом... и задумались бы о таких глубинах, в сравнении с которыми все их философские разглагольствования показались бы просто ребячеством» (Волга.1982.№ 10.С. 145).

Народная трагедия вырастает во всемирную, и поэтому за образами говорящего о ней писателя встают вечные прототипы, единые для всей христианской культуры. Вот сам автор, заключенный на «шарашке», слышит через забор, как в смежном общем лагере плачет поставленная околевать перед вахтой на морозе — за выраженное вслух человеческое сочувствие беглянке — молодая девчонка: «Простите меня, гражданин начальник!.. Пустите в лагерь, я не буду!..» В бессилии хоть как-то помочь, писатель глядит в костер перед собою и клянется:

«Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтет о том весь свет» (VI.135). И за этими словами перед умственным взором читателя возникает сохраненный всеми четырьмя евангелистами рассказ о том, как перед скорой смертью Иисуса апостолы вознегодовали на Марию, которая «даром» потратила драгоценное миро, возливши его на ноги Христа,— а он ответил ослепленным сиюминутной заботой ученикам вещею речью: «Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала» (Мф.26:13).

На страницах «Архипелага» вновь появляются образы русской классики XIX столетия, которым жестокая действительность века XX задает свои новые, неслыханные прежде вопросы и уроки. Вот речь заходит о доныне сохранившемся здании тюремной церкви в Бутырках — старое строение «Губернского тюремного замка», воздвигнутое еще в XVIII веке М. Казаковым, и по сей день, кстати, числится в списке «памятников архитектуры», продолжая между тем использоваться по своему прямому назначению: «Мечта Толстого сбылась: арестантов больше не заставляют присутствовать при порочной церковной службе. Тюремные церкви закрыты. Правда, сохранились их здания, но они удачно приспособлены под расширение самих тюрем. В Бутырской церкви помещается таким образом лишних две тысячи человек,— а за год пройдет и лишних пятьдесят тысяч, если на каждую партию класть по две недели» (V.570).

Задача для героев Чехова еще жесточе: «Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через двадцать—тридцать—сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого легкого — пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо,— ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом» (V.99).

Оценка литературы в таком пронизывающем насквозь свете доходит и до писателей более близких к нам времен. Вот сидящие на пересылке зэки-знатоки оценивают сравнительные «достоинства» лагерей — куйбышевских,

кировских, горьковских,— а автор неожиданно приглядывается к исходному смыслу имен: «Так попадают плевелы в жатву славы. Но — плевелы ли? Ведь нет же лагерей пушкинских, гоголевских, толстовских — а горьковские есть, да какое гнездо! А еще отдельно каторжный прииск «имени Максима Горького» (40 км от Эльгена)! Да, Алексей Максимыч... «вашим, товарищ, сердцем и именем»... Если враг не сдается... Скажешь лихое словечко, глядь — а ты ведь уже не в литературе...» (V.489).

Есть в книге диалог и с современной автору лагерной литературой: не только отповедь «придурочным» сочинениям наподобие поминавшегося выше Б. Дьякова, но и откровенный спор с Варламом Шаламовым, чьи «Колымские рассказы» действительно выдерживают сравнение с «Архипелагом» (ч. 4, гл. 2). Шаламову автор даже предлагал в свое время приняться за этот труд совместно — но тот отказался.

Шаламовская лагерная эпопея есть своего рода «трагедия без катарсиса», жуткое повествование о неисследимой и безвыходной бездне человеческого падения. Достаточно вспомнить хотя бы сюжет его короткого рассказа про то, как на отдаленном лагпункте охранники застрелили беглого зэка, а чтобы не тащить далеко в удостоверение труп, отрубили кисти рук и завалились пить. Ночью же ко гревшимся в соседней комнате заключенным стал стучаться воскресший от холода безрукий недобиток. Его впустили, перевязали культи,— а очухавшаяся солдатня, опасаясь последствий, опять забрала и долго добивала на стороне.

«Архипелаг», по объему близкий к шаламовским томам, представляет собой в отличие от них не только образ падения, но и образ восстания — в прямом и высокосимволическом смысле (сравнительному рассмотрению двух этих произведений было посвящено несколько статей в русском Зарубежье).

Три тома (семь частей) «Архипелага» — это не подобие триады дантовских «Ада», «Чистилища» и «Рая», которую мечтал и не успел воплотить на русской почве Гоголь в своих «Мертвых душах». Здесь точней было бы назвать три другие ступени: падение — жизнь на дне — и воскресение из мертвых.

В первом томе две части: «Тюремная промышленность» и «Вечное движение». Здесь представлено долгое и мучительное скольжение страны по наклонной кривой террора; но и в ходе этого драматически-скорбного пове-

ствования, когда душа читателя постепенно как бы стекленеет от вида разверзающихся перед нею страданий, находится место для отмеченной уже выше трагической иронии. Солженицын встречает у вырвавшегося во время войны на Запад литературоведа Иванова-Разумника воспоминание о том, как тот в 1938 году оказался в Бутырках в одной камере с бывшим генеральным прокурором страны Крыленко, немало потрудившимся ядовитым языком над отправлением в ГУЛАГ сотен себе подобных,— а теперь вынужденным ютиться с ними под нарами. И у писателя вырывается невольное: «Я очень живо это себе представляю (сам лазил): там такие низкие нары, что только по-пластунски можно подползти по грязному асфальтовому полу, но новичок сразу никак не приноровится и ползет на карачках. Голову-то он подсунет, а выпяченный зад так и останется снаружи. Я думаю, верховному прокурору было особенно трудно приноровиться, и его еще не исхудавший зад подолгу торчал во славу советской юстиции. Грешный человек, со злорадством представляю этот застрявший зад, и во все долгое описание этих процессов он меня как-то успокаивает» (V.386). И этот образ напечатлевается в памяти дольше и хлеще, нежели тугие ляжки Наполеона из «Войны и мира».

Во втором томе тоже две части: 3-я «Истребительно-трудовые» и 4-я — «Душа и колючая проволока». Из них часть об «исправительных» лагерях самая длинная в книге (22 главы) и самая угнетающе-безысходная, особенно страницы о женщинах, политических, малолетках, повторниках, прилагерном мире и местах особо строгого заключения. Здесь, на кромешном дне мрака, проверяются доселе казавшиеся незыблемыми человеческие понятия и ценности. Прошедши через подобное горнило, они становятся поистине дороже золота. Вот хотя бы определение интеллигенции, которое автор дает именно в этой части — оговорившись, впрочем, что доставься ему пробыть «на общих» подольше, вряд ли выжило бы и оно, и его создатель: «С годами мне пришлось задуматься над этим словом — интеллигенция. Мы все очень любим относить себя к ней — а ведь не все относимся... К интеллигенции стали относить всех, кто не работает (и боится работать) руками». Между тем, «если мы не хотим потерять это понятие, мы не должны его разменивать. Интеллигент не определяется профессиональной принадлежностью и родом занятий. Хорошее воспитание и хорошая семья тоже еще не обязательно выращивают интеллиген-

та. Интеллигент — это тот, чьи интересы и воля к духовной стороне жизни настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им. Интеллигент это тот, чья мысль не подражательна» (VI.259).

Проблеск надежды впервые появляется, как это ни удивительно, в начале третьего тома, в истории «особых» политических лагерей (часть 5 «Каторга»). Объяснить такое можно лишь тем, что книга Солженицына являет собою образец реализма в исконном, средневеково-платоновском смысле понятия, утверждавшего верховенство высокого духа над косной материей. Попадающие на Архипелаг после войны вдруг начинают явственно ощущать воздух свободы — не внешней, до которой путь крайне далек, но неотъемлемой и победительной внутренней воли. Провозвестником ее служит безмолвная русская старуха, встреченная писателем на тихой станции Торбеево, когда их вагон-зак ненадолго замер у перрона: «Крестьянка старая остановилась против нашего окна со спущенною рамой и через решетку окна и через внутреннюю решетку долго, неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела тем извечным взглядом, каким на «несчастненьких» всегда смотрел наш народ. По щекам ее стекали редкие слезы. Так стояла корявая, и так смотрела, будто сын ее лежал промеж нас. «Нельзя смотреть, мамаша»,— негрубо сказал ей конвоир. Она даже головой не повела. А рядом с ней стояла девочка лет десяти с белыми ленточками в косичках. Та смотрела очень строго, даже скорбно не по летам, широко-широко открыв и не мигая глазенками. Так смотрела, что, думаю, засняла нас навек. Поезд мягко тронулся — старуха подняла черные персты и истово, неторопливо перекрестила нас» (VII.41—42).

Внутреннее освобождение влечет за собою и внешнее. Сперва в лагере отбирают власть у блатных, фронтовые офицеры возглавляют отчаянные попытки бежать; приходит «рубиловка» для предателей-стукачей. Наконец, восстает весь лагерь — начиная от забастовки, как в Экибастузе в 1952-м, в которой довелось участвовать и самому писателю (из ее наибольшего разгара его забрали в больницу делать первую, еще лагерную операцию раковой опухоли), и заканчивая полным восстанием в 1954-м, уже после Сталина, в Кенгире (главы «Когда в зоне пылает земля», «Цепи рвем на ощупь», «Сорок дней Кенгира», оканчивающие пятую часть книги).

Часть 6-я, «Ссылка», посвящена скорбной повести об этом своего рода девятом вале репрессий; наиболее впечатляющие в ней главы о коллективизации — «Мужичья чума» и «Ссылка народов». Седьмая часть — «Сталина нет», рассказывает о недолгом последиктаторском «потеплении» и вновь наступивших слякотных брежневских холодах.

Здесь следует особо сказать еще и о двух сквозных темах всего трехтомника — одной, с точки зрения составителя «Путеводителя», великой, другой скорее преувеличенной. Первая — это отношение Солженицына к коммунизму. Слово это, означающее в переводе с латыни «общежитие», по-гречески звучит как «киновия». На добровольном духовном единстве и самоотречении в жизни и житии были основаны еще первые христианские монастыри, именно «киновиями» — общежительными — и называвшиеся. На это не раз указывал отечественный философ священник Павел Флоренский (краткой его биографией заканчивается 2-й том «Архипелага»). Он получил огромный опыт как здорового воплощения идеи, так и больного, «ракового» — окончил свои дни в 1937 году с формулировкой «десять лет без права переписки». Погубив его телесно, «вторая» система невольно сделала одновременно в координатах «первой» святым мучеником.

Идея насильственно навязанного равенства всех по нижнему пределу древня как мир — ее исследованию посвящена книга соратника Солженицына по сборнику статей «Из-под глыб» члена-корреспондента Академии наук И. Р. Шафаревича, вышедшая в 1977 году с предисловием писателя в Париже.

Наконец, появившийся впервые, по Солженицыну, в XX веке тоталитаризм попытался провести ее в жизнь с «пассионарной», пользуясь определением Льва Гумилева, а по-русски говоря «одержимой» ревностью. Наглядный пример такого сумасшедшего рвения к уравнению представляет собой коллективизация (не забудем, что «коллектив» — третий синоним «коммуны» и «киновии»). Проводников такого общинобесия точнее всего было бы назвать появившимся не так давно в нашем языке словом «коммуноиды» — оно удачно соединяет в себе идеальное начало с параноидальным окончанием.

Объяснившись со смыслом определений, выскажем теперь общее заключение: судьба, дар и прилежание сделали Солженицына смертельным и опаснейшим противником подобного рода «коммуноидности», а книга его «Ар-

хипелаг ГУЛАГ» по веским суждениям многих проницательных людей явилась осиновым колом в могилу этого насосавшегося народной крови упыря.

...Другая идея свойства гораздо более частного, однако старанием определенного, неизменно озабоченного возбуждением ее круга лиц сделалась весьма навязчивой. Во втором томе «Архипелага» были приведены фотографии создателей каторжного Беломорканала, а вместе с тем и всей системы ГУЛАГа, Г. Г. Ягоды, Н. А. Френкеля, Я. Д. Раппопорта, М. Д. Бермана, Л. И. Когана, С. Фирина, С. Жука. Тотчас же не замедлил появлением «национальный вопрос», на который писатель ответил с достоинством и спокойно: «Я просто привел всех, кто руководил в те годы всем ГУЛАГом, и Беломорканалом, производством работ. Не моя вина, что они оказались евреи. Здесь нет никакой искусственной подборки моей, так показала история. В своем споре с коммунистической властью я всякий раз им отвечал: не тогда надо стыдиться преступлений, когда о них пишут, а — когда их делают, и дело историка привести то, как оно было... Дело каждого человека рассказывать о своей вине, и дело каждой нации рассказывать о своем участии в грехах. И поэтому, если здесь было повышенное участие евреев, то я думаю, что сами евреи напишут об этом и правильно сделают» (X.181).

В этой связи можно также вспомнить главы 71 и 73 из «Круга первого», где засасываемый в кампанию по борьбе с космополитами инженер-эмгебист Ройтман вдруг вспоминает, что «ведь в революцию и еще долго после нее слово «еврей» было куда благонадежнее, чем «русский». Русского еще проверяли дальше... Еврея не надо было проверять: евреи все были за революцию». Ему приходит на память и то, как он в пионерском детстве участвовал в общешкольном суде над одноклассником, обвиняемым в «антисемитизме» за посещение церкви. В свой черед заключенный Лев Рубин припоминает, что, «заглаживая вину перед комсомолом и спеша доказать свою полезность», он — бывший «уклонист» — «с маузером на боку поехал коллективизировать село».— «С кого начинать исправлять мир? С других? Или с себя?» — поздновато задумывается Ройтман. А невольный философ Рубин догадывается за них обоих уже в заключении: «Раны тебе — за это! Тюрьма тебе — за это! Болезни тебе — за это!»

(Желающие еще больше углубиться в эту достаточно узкую по сравнению с прочими российскими бедами тему

благоволят обратиться к диалогу между Д. Штурман и А. Каценеленбойгеном «Спор о Солженицыне» в еврейском русскоязычном журнале «Время и мы», 1988, № 100, изд. в Леонии, Нью-Джерси, глава 3-я — «Солженицын и евреи».)

В отличие от вселенской безнадежности Шаламова, Солженицыным на всем пути через адские пропасти Архипелага движет надежда на воскресение. Еще в первом томе, слушая обсуждение «Ивана Денисовича» в Верховном суде, он мысленно восклицает: «Я сижу и думаю: если первая крохотная капля правды разорвалась как психологическая бомба — что же будет в нашей стране, когда Правда обрушится водопадами?

А — обрушится, ведь не миновать» (V.291).

Именно этот свой труд он хочет увидеть первым в числе вновь издаваемых на родине, обоснованно утверждая: «Если бы «Архипелаг ГУЛАГ» был напечатан в Советском Союзе, совершенно открытым тиражом и в неограниченном количестве,— я всегда считал, что Советский Союз бы изменился. Потому что после этой книги... жизнь не может продолжаться так же» (X.486).

Еще совсем недавно трудно было поверить в осуществимость этого предсказания. Но разве не выглядело невероятным и такое, уже сбывшееся пророчество из третьего тома «Архипелага»: «Скоро, скоро наступит в России эра гласности!» (VII.500).

...Автор как бы «пронизал» своею подлинной историей все другие жизненные повести своей книги. И здесь составитель «Путеводителя» единственный раз позволяет себе высказаться о его герое в первом лице. Нарушая покой поколений литературоведов, он подъемлет смелость утверждать, что, по его личному мнению, «Архипелаг ГУЛАГ» представляет собой величайшее, первое произведение отечественной художественной словесности. Потому что никогда более в нашей истории не происходило другой такой трагедии. И воплощения опыта народного горя через одного человека, сумевшего собрать и свести все его нити воедино — тоже. А «художественность» — она ведь не в придуманных «Иванах Ивановичах», которых еще зрелый Толстой совестился сочинять; корень ее — в глубине дыхания, размахе видения и высоте веры и любви. Только они и могли решить, казалось бы, непосильную задачу преображения моря живого фактического материала в могучий художественный эпос без единого вымышленного лица.

Собиратель «Путеводителя» должен также признаться, что ему довелось прочесть первый том «Архипелага», будучи студентом первого курса правового факультета Института международных отношений. И это был единственный в его недетских летах случай, когда он плакал над книгой. А она в ответ из вполне вероятного международного хлыща извлекла понятие о долге в первую голову стать гражданином своего Отечества.

«Архипелаг ГУЛАГ» принял немалую долю участия и в судьбе собственного автора: именно в связи с появлением в печати того же первого тома он был указом Верховного Совета лишен гражданства и насильственно вывезен в Западную Германию.

Что касается критических откликов, то ассоциация американских издателей предлагала даже напечатать на свой счет материалы, которые могли бы опровергнуть «ГУЛАГ»,— но ответа никакого не получила. Взамен вышло несколько довольно куцых брошюр, метящих не в произведение, а в личную жизнь писателя. АПН ротаторным способом выпустило 170-страничный заморыш «В круге последнем», ценою в 20 коп. и без указания тиража. Тут собрался обычный букет брани — и «так называемые произведения» (с. 166), и «бешеная ненависть международной империалистической реакции и ее идеологических наемников» (с. 21), и «эпигон кадетской идеологии» (с. 22). Любопытно, что из множества писателей, которым предлагали прочесть книгу с условием казенного охаивания, выразили согласие всего лишь восьмеро: помимо обязательного Б. Дьякова среди них находим, например, дальновидного Г. Боровика, уверенно предсказавшего — «Пройдет время, и его забудут», как В. Тарсиса. Еще один до оголенности искренно назвал свою статью «Г-н Солженицын нам надоел».

Вдогон этому первому «опыту официального самиздата» направился еще и второй. Потом, после безуспешных попыток навязать западным издательствам, АПН напечатало также воспоминания первой жены писателя Н. Решетовской «В споре со временем» — исключительно для продажи «на зарубеж». В том же направлении последовала и книга двойного чешского перебежчика Т. Ржезача «Спираль измены Солженицына» (Прогресс, 1978), представлявшегося читателю «другом» создателя «Архипелага», но, как выяснилось, не состоявшего с ним даже в знакомстве (см. опровержение А. И. в его кн. «Сквозь чад», Париж, 1979). Из числа сотен людей, давших легшие в

основу «Архипелага» показания, «добыть» опровержения удалось лишь из двух-трех, поэтому широкой огласки они не получили.

Была еще хитроумная попытка использовать против автора его собственное творение: вычитав в книге историю о том, как Солженицына в лагере пытались завербовать, некие «спецы» изготовили пачку поддельных «доносов», якобы им написанных,— но за свою излишнюю юркость поплатились разоблачением в журнале «Тайм» от 27 мая 1974 года и в газете «Лос-Анджелес таймс» от 24 мая 1976 года.

Количественную оценку действенности всей этой некрасивой возни дала возможность оценить публикация 5 августа 1988-го в газете «Книжное обозрение» статьи Елены Чуковской «Вернуть Солженицыну гражданство СССР». На нее, как сообщалось в одном из следующих номеров (от 2 сентября), пришло более двухсот откликов, из числа коих отрицательных было 15. Таким образом, с немалой долей вероятия можно заключить, что эффективность «пропагадины» составила что-то около 7 процентов.

История насильственного изгнания великого русского писателя с Родины в общих чертах известна большинству ее сознательных современников. Но со временем выясняются и сокрытые доселе примечательные подробности. Так, оказалось, что погано-славный агент-двойник Виктор Луи — коего Солженицын с мужицкой лукавиной склоняет вопреки общему правилу языка: Лую, Луя, Луем, провокаторски всучивавший западным «пиратским» издательствам произведения писателя, выкраденные из его архива, чтобы наверняка перекрыть им возможность печатания в России,— на самом деле даже агент не парный, а тройной. В вышедшем в 1986 году в Нью-Йорке тщательном архивном исследовании писательницы Нины Берберовой (вдовы поэта Вл. Ходасевича) «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия» сей деятель помянут трижды и значится «вольным каменщиком» начиная с 1945 года (с. 90, 102, 137).

Остается еще добавить для завершения краткой истории «Архипелага ГУЛАГ», что все мировые гонорары от него писатель передает в основанный им Русский общественный фонд, помогающий политзаключенным и их семьям, действуя строго в рамках существующих законов (X.71)

VIII. ПЬЕСЫ И КИНОСЦЕНАРИИ

Когда Солженицын не своею волей очутился на Западе, первыми его книгами, вышедшими там, стали совместный сборник статей «Из-под глыб» (1974), литературная автобиография «Бодался теленок с дубом» (1975) и сплотка глав из «Красного Колеса» — «Ленин в Цюрихе» (1975 — все три: Париж). Речь о них пойдет ниже в соответствующих разделах; здесь, впрочем, следует отметить не вошедшие впоследствии в «Колесо» биографические справки, приложенные к «сплотке». Даже в столь «ученой» материи писатель остается самим собой — например, когда уровень художественного вкуса будущего наркома культуры связывает с его псевдонимом, позаимствованным от «лунных чар»...

Писатель немало путешествовал и выступал сперва по Европе, затем по Америке и Азии. Работал над эпопеей о революции, но публиковать ее стал во второй десятитомной серии Собрания сочинений; первые десять томов составили окончательные редакции ранее написанного и по различным стеснительным обстоятельствам ходившего по свету в неисправных копиях. Самыми незнакомыми из вышедших таким образом на свет произведений стали работы драматические.

И если, как выше было сказано, «Архипелаг» и «Колесо» — это «наиболее» Солженицын, то содержание восьмого тома — Солженицын «наименее». Он и сам откровенно признался в этом: «Из-за полного своего невежества я особенного маху дал в пьесах. Когда стал писать пьесы в лагере, потом в ссылке, я держал в представлении единственно виденные мною театральные спектакли провинциального Ростова 30-х годов, которые уже тогда никак не соответствовали мировому театральному уровню. Уверенный, что главное в творчестве — правда и жизненный опыт, я недооценил, что формы подвержены старению, вкусы XX века резко меняются и не могут быть оставлены автором в пренебрежении. Теперь-то, походив в московские театры 60-х годов (театры, увы, уже не артистов и даже не драматургов, театры режиссеров как почти единственных творцов спектакля), я жалею, что писал пьесы» (Т. 17).

Тем не менее и в этой неудаче заключен существенный урок — о нем следует рассказать хотя бы вкратце. Половину тома составляет драматическая трилогия «1945 год»: комедия «Пир победителей», действие которой

происходит 25 января 1945 года в той самой Восточной Пруссии, где в 1914 погиб со своей армией генерал Самсонов, а в 1945-м воевал сам автор.

За нею следует трагедия «Пленники», происходящая в одной из контрразведок «СМЕРШ» (сокращение от: смерть шпионам) «9 июля 1945 года от полуночи до полуночи» (VIII.128). Наконец, третья часть — драма «Республика труда», запечатлевшая несколько дней жизни лагеря ИТЛ в октябре 1945 же года. Как видно, и здесь применен излюбленный автором прием сгущения времени; кроме того, все части трилогии объединены проходным персонажем — прообразом писателя, знакомым уже по роману «В круге первом» капитаном Глебом Нержиным (а в «Пленниках» появляется еще и «романный» Рубин). Язык и стиль трех пьес проходят путь от чисто рифмованного текста, через текст, пополам прозаический и поэтический, до чистой откровенной прозы.

Обстоятельства сочинения были для русской словесности еще невиданны: первая пьеса «написана полностью в Экибастузском лагере в течении 1951 года (большую часть времени — на общих работах, каменщиком). Некоторые места составлялись только в уме (в переходной колонне, на проверках, во время работы) и никогда не были на бумаге. Другие записывались мелкими отрывками и после доработки и заучивания клочки бумаги сжигались. Весь написанный текст автор повторял ежемесячно, чтобы сохранить в памяти» (VIII. 591). Это выучивание еще сослужило добрую службу: записанный впервые в ссылке в 1953 году, единственный экземпляр пьесы был изъят в 1965-м на обыске у доброхота писателя и издан «закрытым» тиражом для его дискредитации. Тут-то автор по памяти и восстановил его вновь.

Первоначально пьеса представляла собою 10-ю главу стихотворной повести «Дороженька», следовавшую после главы 9-й — «Прусские ночи». Стихотворения Солженицын писал вынужденно, о чем сам впоследствии вспоминал так: «Ясно было, что продолжать ту свою историческую работу я не могу, и потому что я не могу записать ничего, и потому что я лишен общения с источниками. В лагере что-то надо было делать другое, чтобы не погибнуть душевно, творчески. И я придумал писать в стихах и пытаться их запоминать. Я их писал очень маленькими кусками, ну не больше 20 строк, заучивал и сжигал. Но накопилось их постепенно к концу моего срока 12 тысяч строк. Это уже огромный объем, и мне при-

ходилось, дважды в месяц повторяя, почти что десять дней в месяце повторять, не писать, а повторять. Для этого у меня было так, как вот у католиков четки, маленькое ожерелье, и он перебирает, значит, каждая следующая бусинка ему предписывает новую молитву. И я так перебирал, и у меня по счету шло: десятая, двадцатая, тридцатая строка... так до сотой. Я носил четки в рукавице. Если во время обыска находили у меня, я говорил, что я молюсь, ну и так, уж ладно, мол, пусть молится» (Х.188).

С течением времени Солженицын свои стихи подверг строгой переоценке и всего лишь два из них поместил в тексте Собрания «внутри» «Архипелага ГУЛАГ»; поэтому следуя авторской воле мы о них речь здесь вести не будем.

Во второй пьесе история сводит в застенке контрразведки чрезвычайно разноликий собор заключенных, преимущественно русских по крови: вот какая среди них происходит необычная перекличка —

«Полковник русской императорской армии Воротынцев!
Поручик Русской Освободительной армии Болоснин!
Капитан Красной Армии Холуденев!
Солдат американской армии Климов!
Капитан королевской югославской армии Темиров!
Обер-лейтенант вермахта Хальберау!
Подпоручик Войска Польского Вжесник!
Капрал итальянской армии Фьяченте!
Борец бельгийского движения Сопротивления Прянчиков!
Профессор Мостовщиков!
Кузьма Кулыбышев, председатель колхоза «Иван Сусанин» (VIII. 172).

Начатая также в лагере, пьеса дописывалась уже в ссылке. В ней для последующего изложения чрезвычайно любопытен один побочный эпизод — это картина 11-я. Тут вместо персонажа первого романа является впервые один из сквозных героев последнего и главного — полковник Воротынцев из «Августа Четырнадцатого». Картина представляет собой последний поединок двух полковников: 69-летний Воротынцев, прошедший пять войн, начиная еще с японской, приговорен к повешению; вызвавший его на допрос 55-летний полковник НКГБ Рублев смертельно болен. Обоим жить осталось считанные дни, и вот они на пороге смерти затевают извечный русский спор — «чья же взяла». У обоих отрицание звучит убе-

дительней утверждения, но сходятся они только в одном — что прошедшая фронт молодежь, говоря словами Рублева, «не наша. Но и не ваша» (VIII. 231). Вам, чтобы победить, нужно было быть беспощадными,— наставляет он своего противника.— Но тогда чем же бы мы отличались от вас?— возражает тот. Под конец Рублев предлагает третий выход из взаимно тупикового положения: вместо позорной Воротынцева и страшно-больной своей принять тотчас третью, легкую смерть от яда. Воротынцев, сперва смущенный, затем решительно отрекается.

Третья пьеса уже целиком написана в среднеазиатской ссылке в 1954 году. В декабре 1962 после напечатания «Ивана Денисовича» автор «облегчил» пьесу в цензурном отношении (вариант «Олень и шалашовка») для постановки московским театром «Современник» (VIII. 592). Одновременно он показал ее и Твардовскому, но ему не понравилось: «искусства не получилось», «это не драматургия», а «перепахивание того же лагерного материала, что и в «Иване Денисовиче», ничего нового»,— сказал он писателю. На что тот замечает в «Теленке»: «Ну, как самому защищать свою вещь? Допускаю, что не драматургия. Но уж и не перепахивание, потому что пахать как следует и не начинали! Здесь не Особлаг, а ИТЛ; смесь полов, статей, господство блатных и их психологии; производственное надувательство. Ну, после «Ивана Денисовича» выглядит слабовато. Легко, что Твардовскому эта вещь и не понравилась» (Т. 62). Постановку же в театре запретила цензура — «Современник» не решился приступить даже к репетициям» (Т. 63).

Четвертая и последняя пьеса — «Свет, который в тебе (Свеча на ветру)» — создана в 1960 году в Рязани «как попытка сказать об общих пороках современного цивилизованного мира, отвлекшись от частных особенностей Запада или Востока. Для этого, в частности, состав действующих лиц денационализирован — и оттого утеряны выразительные свойства русского языка и диалога» (VIII. 592).

«У меня был опыт написания одного произведения без языка, это «Свеча на ветру»,— жестко сказал об этом сам Солженицын впоследствии.— Я написал эту пьесу, в предположении, для некоего международного общества, для некоей неизвестной страны — описать нечто общее, что присуще высокоразвитым нынешним странам. Для

этого я там отказался от всех национальных признаков, дал интернациональные имена, непонятные, и в том числе, конечно, я сразу потерял русский язык, потому что я написал на каком-то, не знаю, эсперанто не эсперанто... И я почувствовал, что не хватает силы эту вещь взять: нет яркости, нет силы — а в чем дело?— языка нет! Нельзя не опираться на язык» (X. 487).

«Эта пьеса — самое неудачное из всего, что я написал, далась мне и труднее всего. Верней: первый раз я узнал, как трудно и долго может не получаться вещь, хоть переписывай ее 4-5 раз; и можно целые сцены выбрасывать и заменять другими, и все это — сочиненность. Много я на нее потратил труда, думал, кончил — а нет, не получилась. А ведь я взял в основу подлинную историю одной московской семьи, и нигде душой не покривил, все мысли писал только искренние и даже излюбленные, с первого акта отказавшись угождать цензуре — почему ж не удалось? Неужели только потому, что я отказался от российской конкретности (не для маскировки вовсе, и не только для «открытости» вещи, но и для большей общности изложения: ведь о сытом Западе это еще верней, чем о нас) — а без русской почвы должен был я и русский язык потерять? Но другие же свободно пишут в этой безликой безъязыкой манере — и получается, почему ж у меня?.. Значит, и абстрактная форма так же не всякому дана, как и конкретная. Нельзя в абстракции сделать полтора шага, а все остальное писать конкретно» (Т. 18—19).

Как и другие пьесы, «Свечу» не удалось ни издать, ни поставить на Родине — но по странному стечению обстоятельств она стала единственным из солженицынских драматических произведений, которому довелось-таки увидеть сцену и пройти не только по театрам разных стран, но и быть даже экранизированным французским телевидением (VIII. 592).

Завершают том два киносценария. Написанный осенью 1959 года в Рязани «Знают истину танки» — «сгущенно отображает ход лагерных волнений сперва в Экибастузе с 1951 на 1952-й... затем в Кенгире, в июне 1954-го... Первые написаны по личным впечатлениям автора, вторые — по рассказам знакомых зэков... Не рассчитывая, что когда-либо при его жизни фильм будет поставлен, автор применил повышенную наглядность и детальность указаний — с тем, чтобы сценарий непосредственно мог «смотреться» в чтении» (VIII. 592).

Поскольку этот прием стал основой для «маленьких киноэкранов» в «Красном Колесе», автор в интервью 1976 года с Н. А. Струве должен был особо пояснить, чем его содержание отлично от «киноглаза», применявшегося американским романистом 1920-х годов Дос Пассосом: «Его киноглаз — это не сценарий. Если Вы посмотрите Дос Пассоса — снимать фильма по киноглазу нельзя. Почему он так его назвал? это скорей лирические отрывки. Лирические — а я ставлю задачу именно, как если бы происходила киносъемка. Перед этим у меня был опыт, я написал сценарий «Знают истину танки». Без всякой надежды, что его когда-либо при моей жизни снимут. Я должен был изобрести такую форму, чтобы читатель, читая киносценарий, уже увидел фильм. Фильма пусть не будет, а он уже его видел. И такую я изобрел форму расположения там, чтобы было читателю легче, не труднее, а легче было видеть, где звук, где кадр, как снимается, где говорят. И эту форму я потом повторил в своих маленьких киноэкранах» (X. 527).

Наконец, сценарий кинокомедии «Тунеядец» был создан по заказу «Мосфильма» — хотя заранее «ясно было, что поставлен не будет», что и подтвердилось: «Едва сценарий сдан в «Мосфильм» в ноябре 1968 — тотчас же остановлен «сверху» (VIII. 593). В «Теленке» о нем сказано следующее: «Выполняя договор, благородно навязанный мне... я тужился подать им сценарий... (о наших «выборах»)... наверх, к Демичеву, он подавался тотчас и получал абсолютно-запретную визу... Твардовский с редакторским сладострастием выпрашивал у меня тот сценарий в тайной надежде: а вдруг можно печатать?— и возвращал с добродушной улыбкой: «Нет, сажать вас надо, и как можно быстрей!» (Т. 244). Прообразом одного из героев «комедии» послужил незадолго до своей смерти лагерный знакомец Солженицына, боевой офицер-моряк Георгий Тэнно — настоящий герой потрясающих глав «Архипелага» о побегах.

IX—X. ПУБЛИЦИСТИКА

Два тома солженицынской публицистики занимают почти тысячу страниц убористой печати. Девятый — «Статьи и речи» — разделен на две части: «В Советском Союзе (1969—1974)» и «На Западе (1974—1980)».

Советская часть открывается Нобелевской лекцией, не

так давно чуть было не появившейся наконец в отечественном издании, но в последний момент 12-й номер «Нового мира» за 1988 год с ее текстом был доблестно раскидан по указанию «Старой площади»,— хотя она и посвящена исключительно литературно-нравственным вопросам (лекция все-таки вышла в 1989 г., № 7).

Затем следуют три статьи из замечательного сборника «Из-под глыб» (Москва-Париж, 1974). Формальным поводом для его возникновения была публикация в 97-м номере выходящего в Париже, Нью-Йорке и Москве ежеквартальника «Вестник Русского христианского студенческого движения» (впоследствии определение «студенческого» было снято; начиная со 111-го номера в этом журнале почти неизменно появляются произведения самого Солженицына вот уже больше полутора десятилетий, почему далее ссылки на него в тексте сокращенно: ВРХД) трех анонимных статей живущих в России авторов, поносивших на чем свет стоит свою Родину. «В «Вестнике РСХД» № 97,— рассказывает писатель,— проявилось несколько лет назад такое целое направление — уроженцы России, живущие в России, обвиняют ее так, будто сами они в этой грязи не варятся и чисты, ни к чему отношения не имеют... антипод раскаяния — очень сейчас распространено это в советской общественности и в советской так называемой третьей эмиграции. Это — обвинять Россию и даже поносить Россию — без чувства совиновности, без признания своей собственной доли в этой вине. Чрезвычайно характерно недавно это прорвалось в первом номере «Континента» — Синявский в своей статье буквально написал следующее: «Россия-сука, ты еще ответишь и за это!» В данном случае речь идет о еврейской эмиграции в наше время. Но это частный пример. А все выражение — сын говорит матери: «Россия-сука, ты еще ответишь и за это!» И за это, значит, и еще за многое другое ты ответишь! Даже во всей истории русского самооплевания такого выражения я не помню» (X. 100).

Явившись непосредственной отповедью подобному отношению, сборник «Из-под глыб» в более глубокой перспективе продолжил собою ряд исторических альманахов «Проблемы идеализма» (М., 1902), «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» (М., 1909) и «Из глубины. Сборник статей о русской революции» (М., 1918). Суть названия раскрывается в предисловии, принадлежащем перу Солженицына: «Много десятилетий ни один вопрос,

ни одно крупное событие нашей жизни не было обсуждено свободно и всесторонне, так, чтобы мочь нам произнести истинную оценку происшедшего и путей выхода из него. Но все подавлялось при начале же, все покидалось неосмысленным хаотическим хламом, без заботы о прошлом, а значит, и о будущем. А там валились новые, новые события, грудились такими же давящими глыбами, так что потеряны были и интерес и силы к разбору... Из той темноты и сырости, из-под глыб, мы и трогаем теперь первыми слабыми всходами. Ожидая от истории дара свободы и других даров, мы рискуем никогда их не дождаться. История — это сами мы, и не минуть нам самим взволочить на себя и вынести из глубин ожидаемое так жадно» (X. 442).

Кроме самого Солженицына, в книге приняли участие Игорь Шафаревич, В. Борисов, Е. Барабанов, М. Агурский; две статьи подписаны псевдонимами. Более других близок писателю И. Р. Шафаревич, о котором он вспоминал, сравнивая свою дружбу с ним и отношения с А. Д. Сахаровым: «С Игорем Шафаревичем мы действительно были в м е с т е, плечо о плечо, уже три года к тому времени готовя «Из-под глыб». Соединяли нас не прошлые воспоминания (их не было) и даже не нынешнее стояние против Дракона — нет, более прочная связь: соединяли нас общие взгляды на будущее русское (это будущее очень не едино скоро раскроется в нашей стране)» (Т. 432).

В первой части девятого тома помещены все три статьи Солженицына из сборника, главная мысль которых достаточно четко видна из самих названий: «На возврате дыхания и сознания (По поводу трактата А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе)» — спор, уже не столько с самим Сахаровым затеянный, сколько «потому, что в нашей стране на тех мыслях, которые Сахаров прошел, миновал, еще коснеет массивный слой образованного общества» (IX. 24); «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» и «Образованщина». За ними следуют великопостное «Письмо Патриарху Пимену», «Письмо вождям Советского Союза» — попытка найти общеприемлемое понимание с тогдашними руководителями государства на основе их предполагаемой общей любви к Родине (они не откликнулись ни словом единым) и — «Жить не по лжи», прощальный призыв к кампании «идеологического неповиновения» развращающей общество

лжи, перепечатанный через 15 лет в газете киевских железнодорожников «Рабочее слово» (18 окт. 1988 г.).

Часть «На Западе» включает в основном выступления в Европе и Америке, среди которых выделяется речь на годичном акте в Гарвардском университете в 1978 году, а также статья «Чем грозит Америке плохое понимание России», напечатанная в 1980-м в американском журнале внешней политики «Форейн Аффэарс», и ответ на полученные по ней отклики «Иметь мужество видеть».

Следует, впрочем, оговориться, что любви к публичным выступлениям сам Солженицын не питает, прерывая их порою на долгие годы как в России, так и за ее рубежом. «Интервью — дурная форма для писателя,— говорил он еще на Родине, — ты теряешь перо, строение фраз, язык, попадаешь в руки корреспондентов, чужих тому, что тебя волнует... я вынужден был избрать эту невыгодную форму из-за необходимости защищаться по разрозненным мелким поводам» (Т. 371). И в другой раз добавил: «Интервью — не дело писателя. Девять лет я воздерживался от интервью и нисколько не жалею» (Т. 574).

Тем не менее весь том десятый почти что полностью им посвящен: как говорил в беседе по поводу пятилетия своего изгнания, помещенной здесь, сам Солженицын: «От сегодняшней действительности не очень-то отойдешь, потому что она жжет, со всех сторон припекает. Как Вы знаете, я немало поездил по странам, выступал,— но просто от страсти: не могу спокойно смотреть, как они сдают весь мир и самих себя. А в общем — это не моя задача, в нашей стране дела ждут» (X. 354). Первые две части тома, названного «Общественные заявления, интервью, пресс-конференции», озаглавлены почти идентично соответствующим частям 9-го: «В Советском Союзе (1966—1974)» и «На Западе (1974—1981)».

Третья часть представляет из себя «Предисловия» к собственным изданиям, а также к таким книгам, как «Стремя Тихого Дона» литератора «Д.», исследование профессора В. В. Леонтовича «История либерализма в России», упоминавшийся выше труд И. Шафаревича «Социализм». В части четвертой — «О литературе и языке» — находятся среди прочего единственная напечатанная в 1960-е годы на Родине статья «Не обычай дегтем щи белить» из «Литературки»; любопытнейшие соображения о состоянии современной русской грамматики, вызванные непосредственно личным наблюдением за набором Собрания сочинений.

Солженицын продолжал выступать и после выхода в 1981—1983 годах двухтомника своей публицистики: впервые за несколько лет покинув Америку, он побывал (сперва инкогнито) в Японии и Китайской республике на Тайване («Три узловых точки японской новой истории» и «Свободному Китаю», ВРХД. 1982. № 137), давал интервью Д. Рондо и Б. Пиво для французской печати и телевидения (ВРХД. 1984. № 142), прочел лауреатскую лекцию при вручении ему премии фонда Темплтона «За прогресс в развитии религии» за 1983 год (ВРХД. 1983. № 139). Новая статья писателя появилась в 153-м выпуске «Вестника РХД» в 1988 году, она посвящена сравнению двух грозных революций — Французской и Российской (написана еще в 1984-м).

Следует еще учитывать, что, как сказано в примечании к тому, «Часть общественных заявлений, писем, интервью за 1966—1981 годы не включена в 10-й том, поскольку будет напечатана в качестве приложений к двум томам «Очерков литературной жизни» позднее в этом собрании сочинений» (X. 573). Любопытно также, что выполняющая работу целого штата помощников А. И. Наталья Солженицына сама выступает иногда с заявлениями, на которых явственно лежит отблеск художественного дара ее супруга (напр.: ВРХД. 1978. № 127).

Поскольку солженицынская публицистика представляет из себя хотя и раздробленное на множество произведений, но несомненно единое целое, постараемся показать ее в связной системе цитат через наиболее обобщающие высказывания— позволив себе лишь выделить прописными буквами их главные темы. А в первый черед заметим, что ставшие нынче до неприличия ходовыми два русских слова были употреблены писателем задолго до того, как их приняли на казенную службу, и поминались они отнюдь не всуе:

«Весь «бесконечный прогресс» оказался безумным напряженным нерассчитанным рывком человечества в тупик. Жадная цивилизация «вечного прогресса» захлебнулась и находится при конце. И не «конвергенция» ждет нас с западным миром, но — полное обновление и ПЕРЕСТРОЙКА и Запада, и Востока, потому что оба в тупике» (IX. 144). Так было сказано еще в 1973 году в «Письме вождям Советского Союза». А это — из открытого письма секретариату Союза писателей России от года 1969-го:

«ГЛАСНОСТЬ — честная и полная гласность — вот

первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там» (X.13).

«За последнее время можно говорить о нивелировке НАЦИЙ, об исчезновении народов в котле современной цивилизации. Я не согласен с тем... Исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества, это обобщенные личности его; самая малая из них несет свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла» (IX. 15). «Явил нам XX век неистощимую силу и жизненность национальных чувств и склоняет нас глубже задуматься над загадкой: почему человечество так отчетливо квантуется нациями не в меньшей степени, чем личностями? И в этом граненье на нации — не одно ль из лучших богатств человечества? И — надо ли это стирать? И — можно ли это стереть?» (IX. 35).

«За РУССКИМИ не предполагается возможности любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже — о «национальном самосознании», даже оно объявляется опасной гидрой» (IX. 197). «Сегодня русский порыв к национальному самосознанию — есть оборонительный вопль тонущего народа. Не смотрите на внешние успехи государственной силы: как нация мы, русские, находимся в пучине гибели и ищем — есть ли еще за что уцепиться и выбраться» (IX. 198). Писатель приводит такой страшный пример, как первенство в стране русских по числу абортов: на одного живого рожденного приходится пятеро убитых во чреве матери с ее согласия — и делает вывод: «А русский народ пострадал и численно и по глубине больше всех» (X. 305).

«Напомню, что СОВЕТЫ, давшие название нашему строю и просуществовавшие до 6 июля 1918 года, никак не зависели от Идеологии — будет она или не будет, но обязательно предполагали широчайший с о в е т всех, кто трудится...

Не должны мы руководиться соображениями политического гигантизма, не должны замышлять о судьбах других полушарий, от этого надо отказаться навек, это наверняка все лопнет, другие полушария и теплые океаны

будут развиваться все равно без нас, по-своему, и тем никто из Москвы не управит, и того никто не предскажет даже в 1973 году, а тем более Маркс из 1848-го. РУКОВОДИТЬ НАШЕЙ СТРАНОЙ должны соображения внутреннего, нравственного, здорового развития народа, освобождения женщины от каторги заработков, особенно от лома и лопаты, исправления школы, детского воспитания, спасения почвы, вод, всей русской природы, восстановления здоровых городов, освоения Северо-Востока — и никакого Космоса, и никаких всемирно-исторических завоеваний и придуманных интернациональных задач: другие народы ничуть не глупее нас, а есть у Китая лишние деньги и дивизии — пусть пробует...

Чтобы не задохнулись страна и народ, чтобы они имели возможность развиваться и обогащать вас же идеями, свободно допустите к честному соревнованию — не за власть! за истину!— все идеологические и все нравственные течения, в частности все религии... Допустите свободное искусство, литературу, свободное книгопечатание — не политических книг, Боже упаси! не воззваний! не предвыборных листовок — но философских, нравственных, экономических и социальных исследований, ведь это все будет давать богатый урожай, плодоносить — в пользу России. Такая свободная колосьба мыслей быстро избавит вас от необходимости все новые идеи с запозданием переводить с западных языков, как это происходит все полвека, вы же знаете» (IX. 164—166).

«К счастью, д о м такой у нас есть, еще сохранен нам историей, неизгаженный просторный дом — РУССКИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК. И отказавшись наводить порядки за океанами, и перестав пригребать державною рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе,— обратим свое национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо-Востока, чья пустынность уже нетерпима становится для соседей по нынешней плотности земной жизни... Северо-Восток — более звучания своего и глубже географии будет означать, что Россия предпримет решительный выбор самоограничения, выбор вглубь, а не вширь, внутрь, а не вовне; все развитие свое — национальное, общественное, воспитательное, семейное и личное развитие граждан, направит к расцвету внутреннему, а не внешнему» (IX. 76—77).

А для того есть на потребу «ЕДИНЫЙ ВЫХОД: отбросить мертвую идеологию, которая грозит нам гибелью и на путях войны и на путях экономики, отбросить все

ее чуждые мировые фантастические задачи, а сосредоточиться на освоении (в принципах стабильной, непрогрессирующей экономики) русского Северо-Востока — северовостока Европейской нашей части, севера Азиатской и главного массива Сибири» (IX. 148).

В 1979 году писатель пояснил, что «ГЛАВНОЕ В «ПИСЬМЕ ВОЖДЯМ» НЕ НАЗВАНО, А ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ: ...я обращался, собственно, не к этим вождям. Я пытался прометить путь, который бы мог быть принят другими вождями, вместо этих. Которые внезапно бы пришли вместо них» (X. 370).

«Я хотел бы сказать еще немного о принципе самоограничения. ПРИНЦИП САМООГРАНИЧЕНИЯ не только мой творческий принцип, но я его распространяю... я считаю его одним из самых основных принципов вообще человеческой жизни, который совершенно — особенно в XX веке — упускается» (X. 550).

«ОПЫТ МЫ ПРОШЛИ, РАВНОГО КОТОРОМУ НА ЗАПАДЕ НЕ ПРОШЕЛ НИКТО. И мы теперь смотрим с сожалением на Запад. Это странное чувство: мы смотрим как будто бы на наше прошлое. А по отношению к Западу можно сказать так: мы смотрим на вас из вашего будущего. Все то, что у вас происходит сегодня, у нас уже было, было давно. Это такая фантастическая картина: как будто и сегодня происходит, как будто современность, а мы вспоминаем, что все это б ы л о...

В 60-е годы прошлого века император Александр II начал программу больших, основательных и медленных реформ. Он хотел постепенно преобразовать Россию к свободе и к развитию. Но кучка революционеров в 1861 году выпустила прокламацию, листовку, там было сказано: мы не можем ждать реформ, мы не хотим их ждать, мы хотим немедленного полного освобождения, без постепенности. А так как правительство не хочет его дать, то мы начинаем террор. И когда Александр II в 1861 году провел освобождение крестьян от крепостной зависимости, когда он в 1864 году дал стране великую судебную реформу, то в ответ на это — с 1866 года революционеры начали в него стрелять. Было семь покушений на царя. За царем охотились как за зверем. И в 1881 году его убили, а после этого начали убивать премьер-министров, министров внутренних дел, крупных губернаторов, администраторов, и так началась война между революционерами и правящими кругами, правительством. И вся свободная, либеральная общественность России

не отнеслась трезво к этому, не остановила революционеров — она аплодировала им. Каждое убийство видного политического деятеля России вызывало восторг, вызывало аплодисменты. Общество помогало революционерам скрываться, террористам помогало бежать. И крупные общественные деятели России защищали террористов как самых главных своих любимцев, как невинных людей. Я повторяю, что рассказываю... эту историю из XIX века, это все было у нас почти век назад. А сегодня это происходит по всей Европе и во всем мире. Мы были свидетелями осенью прошлого года (1975.— *П. П.*) как западная общественность была взволнована судьбой испанских террористов гораздо больше, чем когда-либо гибелью шестидесяти миллионов человек в Советском Союзе. Мы видим сегодня, как общественность, прогрессивная общественность, требует немедленных реформ от своих правительств и приветствует и радуется террористическим актам. Это было у нас сто лет назад, и из вашего будущего я могу вам сказать, чем это кончилось: обе стороны ожесточились, правительство стало ненавидеть либеральные круги, либеральные круги стали ненавидеть правительство, и больше никто уже не шел ни на какие уступки. Реформы прекратились. То, что правительство и правящие круги могли дать, они уже в озлоблении не давали. Либеральная общественность не хотела уступить малого, а получить хотела все сразу. В результате мы получили революцию 1905—1907 года, потом революцию 1917, и были уничтожены обе стороны, были уничтожены все правящие круги России, дворянство, купечество, и была уничтожена вся либеральная общественность, вся интеллигенция — ее всю вырезали и уничтожили, и остатки ее бежали за границу. И после этого начался вот тот террор, о котором говорит моя книга «Архипелаг ГУЛАГ», террор, который унес 66 миллионов жизней» (X. 325—327).

Подобный страстный призыв к Западу опамятоваться стал весомым вкладом в поворот общественного мнения к новому консерватизму. Однако главным направлением мысли и заботы Солженицына был, конечно, все-таки не Запад, а родная страна. Во многом его занимал в связи с этим вопрос о наилучшей форме правления в ней — не отвлеченной, а насущно необходимой сейчас: «СРЕДИ... ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОРМ БЫЛО МНОГО И АВТОРИТАРНЫХ, то есть основанных на подчинении авторитету, с разным происхождением и качеством его

(понимая термин наиболее широко: от власти, основанной на несомненном авторитете, до авторитета, основанного на несомненной власти). И Россия тоже много веков просуществовала под авторитарной властью нескольких форм — и тоже сохраняла себя и свое здоровье, и не испытала таких самоуничтожений, как в XX веке, и миллионы наших крестьянских предков за десять веков, умирая, не считали, что прожили слишком невыносимую жизнь. Функционирование таких систем во многих государствах целыми веками допускает считать, что в каком-то диапазоне власти они тоже могут быть сносными для жизни людей, не только демократическая республика.

У авторитарных государственных систем при достоинствах устойчивости, преемственности, независимости от политической трясучки, само собой есть свои большие опасности и пороки: опасность ложных авторитетов, насильственное поддержание их, опасность произвольных решений, трудность исправить такие решения, опасность сползания в тиранию. Страшны не авторитарные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем, ни перед чем. Самодержцы прошлых, религиозных веков при видимой неограниченности власти ощущали свою ответственность перед Богом и собственной совестью. Самодержцы нашего времени опасны тем, что трудно найти обязательные для них высшие ценности...

И если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то, может быть — я не утверждаю это, лишь спрашиваю — может быть, следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для нее естественней, плавнее, безболезненней? Возразят: эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. Но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто еще не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным» (IX. 42).

Подробнее писатель пояснял предполагаемым новым вождям: «У нас в России, по полной непривычке, демократия просуществовала всего 8 месяцев — с февраля по октябрь 1917 года. Эмигрантские группы к-д и с-д, кто еще жив, до сих пор гордятся ею, говорят, что им ее загубили посторонние силы. На самом деле та демократия была именно *их* позором: они так амбициозно кликали и

обещали ее, а осуществили сумбурную и даже карикатурную, оказались неподготовлены к ней прежде всего сами, тем более была неподготовлена к ней Россия. А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла еще только снизиться. Пожалуй, внезапное введение ее сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 года» (IX.162—163). «И я напомню, что страшный тоталитаризм, родившийся на земле, скажем, четырежды, ни один раз не родился из авторитарной системы, но всегда — из слабых демократий: февральской, веймарской, итальянской, чанкайшистской. А ведь большей частью государства человеческой истории были авторитарными,— а вот тоталитаризма никогда не рождали» (IX. 338).

Поэтому он предлагает, если уж менять «однопартийную» систему, то не в сторону увеличения, а обратно в направлении упразднения всякой рассекающей общество «партийности». И кроме того, утверждая, что «классовые» — то есть сословные — различия в обществе за последние десятилетия окончательно стерты, еще за несколько лет до современности предсказал, что та новая раскачка, которой писатель более всего опасается для своей Родины, пойдет по линии обострения межнациональных отношений.

Теперь приведем его суждения о том мире, где он против воли оказался в 1974 году, о том, что нас с ним разделяет — и что неразрывно связывает. «ПРИЕХАВ НА ЗАПАД, Я ОБНАРУЖИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ... У меня есть такое наблюдение: у нас *в обществе* отношения между людьми, может быть, вам удивительно будет...— сердечнее, душевнее, бескорыстнее, чем здесь. И тут есть, очевидно, закономерность. Я думаю, здесь вот отчасти в чем дело: на Западе существует всеобщая свобода устраивать свою жизнь. И при падении религиозных принципов, на которых было основано западное общество несколько столетий назад, это приводит к усиленной активной деятельности каждого человека в свою пользу... люди иногда слишком много занимаются материальными делами, слишком много думают о своих узких интересах, а не обо всех... не об обществе. Существует всеобщая поверхностная высшая любезность, но под этой любезностью часто, не всегда, кроется большая сухость. У нас же в обществе ситуация такая. Забастовок не устроишь. Зарплаты себе не повысишь, хоть бы ты разбил лоб о стенку... мала роль человека... в своей собственной жиз-

ни. Гораздо меньше возможностей, и нет этой тревоги, что ты... из-за того, что слабо деятелен, упускаешь что-то. Как-то течет эта жизнь через твою голову и можно от нее даже наполовину отключиться. И от этого создается пространство времени и души для каких-то других совсем нематериальных забот» (X. 147—148).

«НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАПАДА — не только политический кризис, гораздо глубже. Это — духовный кризис давностью лет в 300. Этот кризис оттого, что мы в позднем Средневековье бросились в материю, мы захотели иметь много предметов, вещей, жить для всего этого телесного, а нравственные задачи забыли, и поздним, поздним ударом это нам отозвалось» (X. 315).

«Падение мужества — может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество и весь в целом и даже отдельно по каждой стране, каждому правительству, каждой партии, и уж конечно — в Организации Объединенных Наций. Этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально-ведущей, отчего и создается ощущение, что мужество потеряло целиком все общество. Конечно, сохраняется множество индивидуально-мужественных людей, но не им доводится направлять жизнь общества» (IX. 282—283).

«Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество... от иных личностей,— и на Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности» (IX. 285—286 — эти слова дважды вызвали в Гарварде прерывавшие их рукоплескания).

«Безудержная свобода существует для самой прессы, но не для читателей (аплодисменты): достаточно выпукло и звучно газеты передают только те мнения, которые не слишком противоречат их собственному и этому общему направлению. Безо всякой цензуры на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных — и последние, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути ни в периодической прессе, ни через книги, ни с университетских кафедр (аплодисменты)» (IX. 288). Последнему утверждению не замедлило появлением и доказательство: в то время как печать в основном осудила «чужака» за гарвардское выступление, к нему пробилось множество писем из американской «глубинки», на девять десятых выражавших согласие, благодарность и похвалу (ВРХД. 1979. № 128. С. 380).

«Несомненный факт: расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление их на Востоке... Поэтому для нашего общества обращение в ваше означало бы в чем повышение, а в чем и понижение,— и в очень дорогом. Да, невозможно оставаться обществу в такой бездне беззакония, как у нас, но и ничтожно ему оставаться на такой бездушевной юридической гладкости, как у вас» (IX. 290).

«Если не к гибели, то МИР ПОДОШЕЛ СЕЙЧАС К ПОВОРОТУ ИСТОРИИ, по значению равному повороту от Средних веков к Возрождению,— и потребует от нас духовной вспышки, подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная. Этот подъем подобен восхождению на следующую антропологическую ступень. И ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх» (IX. 297).

«Какой путь я действительно предлагаю — я закончил этим гарвардскую речь и могу повторить: *путь вверх*. Я считаю, что роскошно-материальный XX век слишком передержал нас в полуживотном состоянии — кого от избытка, кого от голода. Гарвардская речь вознаградила меня потоком сочувственных откликов простых американцев (кое-кому из них удалось напечататься и в газетах), поэтому я спокойно относился к потоку упреков, который сыпала на меня рассерженная пресса (я ждал от нее большей восприимчивости к критике): фанатик, одержимый, расколотый разум, циник, мстительный поджигатель войны, наконец и просто «убирайся вон из страны!»... А самое распространенное обвинение было: будто я «призываю Запад идти освобождать» наш народ... Это — совершенное нежелание читать и понимать текст добросовестно. Но не только в гарвардской речи, но и никогда прежде я не призывал ни к чему подобному и даже за все годы моей публичной деятельности не обратился за помощью ни к одному западному правительству, ни к одному западному парламенту. Я всегда говорил: МЫ ОСВОБОДИМСЯ — САМИ, это — *наша* задача, как бы она ни была трудна, а к Западу только одна просьба и один совет: пожалуйста, не заталкивайте нас под диктатуру... И совет: в вашем безграничном отступлении — поберегите сами себя, не отступайте в ту последнюю яму, из которой вам уже нельзя будет выбраться» (IX. 340—341).

Эти выступления вызвали широкий отклик (см. обзор по гарвардской речи: ВРХД. 1979. № 128; по «Чем грозит Америке...» — журнал «Русское возрождение», Нью-Йорк—Париж—Москва. 1980. № 12 и др.). Точнее всего кратко позицию писателя отразил Н. А. Струве:

«Критика Солженицыным демократических форм правления сводится к трем следующим пунктам: 1. Демократия уязвима, бессильна, особенно перед лицом тоталитаризма; 2. Она несправедлива и случайна, поскольку заменяет общее согласие законом математического большинства; 3. Она —бессодержательна, ибо лишена всякого трансцендентного идеала» («О демократии и авторитаризме» — ВРХД. 1979. № 130. С. 250).

Отметим также недавно вышедшую книгу Доры Штурман, нарочно посвященную публицистике Солженицына,— «Городу и миру», Париж, 1988. 430 с. В ней пять глав: «Жить не по лжи», «Солженицын и демократия», «Солженицын и Запад», «Солженицын и национальный вопрос», «Солженицын и «плюралисты». Рекламная «выжимка» книги гласит, что здесь «доказывается беспочвенность обвинений Солженицына во враждебности к демократии, Западу и плюрализму», а заключение ее таково: «Солженицына сплошь и рядом изображают реакционером, ретроградом и шовинистом-ксенофобом, в то время как перед нами религиозный моралист, либерал в классическом смысле этого слова и убежденный центрист в политике» («Русская мысль». 1988).

Оглядев мир объемно, с двух его главных сторон, писатель сделал следующий вывод — хотя он обращен в первую голову к различным зарубежным православным «деноминациям», обобщенно это подходит и для всего человеческого «рассеяния»: «КАКАЯ ОПАСНОСТЬ СТРАШНЕЙ...:ВНЕШНИЙ ЛИ ГНЕТ ПО ЗАХВАТУ ИЛИ ВНУТРЕННИЙ РАСПАД ПО НЕСОГЛАСИЮ? О себе скажут: под первым я никогда не терял бодрости, второй привел меня здесь в уныние» (IX. 186).

И далее сказал, столь же объемно рассматривая судьбы соотечественников на Родине и за ее рубежом: «СМЫСЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ СКРЫТ И ПОДМЕНЕН ВОПРОСОМ ОБ ЭМИГРАЦИИ; как будто бы главный вопрос, это: скольким людям удастся или не удастся уехать из этой страны? А мне кажется, главный вопрос: как жить тем двумстам пятидесяти миллионам, которые остаются на месте? ...Андрей Дмитриевич Сахаров недавно сказал, что эмиг-

рация есть первая среди равных свобод... Я никогда с этим не соглашусь. Я просто не понимаю, почему право уехать или бежать важнее права стоять, иметь свободу совести, свободу слова и свободу печати у себя на месте?» (X. 112).

«Эмиграция — всегда и везде слабость, отдача родной земли насильникам,— и не будем выставлять это подвигом. Суть не в том, чтобы ревностно оправдывать перед Западом на всех языках свой уход в эмиграцию, и стыдно тратить упасенные годы на толчею и пересуды,— но неразгибной работой, но незабывчивым служением помочь бы нашей стране вернуть больше, чем политическую свободу,— духовное выздоровление, и влиться в него самим. Нас может поддержать опыт первой эмиграции, встреченной на чужбине пренебрежительно, а то и презрительно, не так, как встречают третью,— и через 40 чернорабочих и беспросветных лет вынесшей для России немало духовных ценностей» (X. 161).

Для запечатления навек опыта этих людей Солженицын предпринял на свои средства два благих начинания: Всероссийскую Мемуарную библиотеку, принимающую на хранение рукописи воспоминаний, архивы и материалы по русской истории XX века, издавая наиболее яркие из них в серии «Наше недавнее» и имея в виду в благоспешное время передать их все на Родину; а также серию «Исследования новейшей русской истории» (X. 341, 359, 459).

Глядя из такой глубокой исторической перспективы, Солженицын обращает внимание на тот «перекос, что главная проблема сегодняшнего СССР — это проблема эмиграции. Как вообще проблемы большой страны могут свестись к отъезду из нее кого бы то ни было?.. губительный для существования русского народа процесс, уже идущий и рассчитанный лет на 10—15,— процесс окончательного уничтожения русского крестьянства — физического уничтожения изб, деревень, сгона крестьян в многоэтажные поселки индустриального типа, конца связи с землею, последнего конца национальных традиций, быта, очевидно — и народного характера, конца русского пейзажа... вообще не заметили!.. И в этот момент смертельного уничтожения русского национального существования — информаторы Запада вопят о самой большой угрозе для всего мира: русского национального сознания... Фальшивым «объяснением» СССР и России занялась активная группа новейших эмигрантов оттуда.

Среди них нет крупных имен, но они быстро признаются тут профессорами и специалистами по России, оттого что быстро ориентируются, какое направление свидетельства желательно. Они настойчивы, громки, повторительны в прессе разных стран, статьями, интервью, уже и книгами — все вместе довольно дружно проводят сходную линию... Как правило, они, будучи в СССР, служили коммунизму в советских институтах и даже активно и многолетне участвовали в лживой коммунистической печати и никогда не высказывались оппозиционно. Затем они выехали из СССР по израильской визе, но не поехали в Израиль, а в странах Запада объявили себя тотчас истолкователями России, ее исторического духа и нынешней жизни русского народа (который они и не наблюдали по своему привилегированному положению в Москве)» (IX. 319—320, 316).

Разрабатывая нравственные вопросы эмиграции, писатель продолжает: «Я бы так сказал: если уезжает человек, который чувствует себя чужеземцем, который не считает эту страну своею, то это — совершенно естественный поступок... Он хочет уехать и жить в другом месте. И я никогда этого не осужу... И не буду говорить о тех, кто просто бежит куда-нибудь, спасаясь: восхищения это не вызывает, но и не упрекнешь людей, что они измучены, устали, боятся. Но мне кажется диким, когда уехав начинают рецепты давать, как нам быть *там*. Говорят так: вот это моя страна, это моя родина, Советский Союз или Россия. Но здесь плохо, поэтому я сейчас уеду; уеду, с вами не буду, а, оттуда, с Запада, буду объяснять, что вам делать; потом, если будет лучше, я вернусь. Нет. Когда в доме плохо, болезни, несчастья,— из дома не уезжают. Из дома можно уехать, когда все хорошо» (X. 65—66).

Наглядный образец таких неродных беглецов представляет собою пара братьев Медведевых, один из которых «затаился» — заметно для всего света — в СССР, другой же «отсиамился», выражаясь удачным солженицынским словом, в Зарубеж: «У нас в СССР по отношению к тем, кто высказывается не в официальной прессе, принят термин «инакомыслящие» или «диссиденты». Так вот, надо быть осторожным в употреблении этого термина, более точно употреблять его. Рой Медведев в более точном смысле слова не относится к инакомыслящим в СССР, ему ничто не угрожает лично, потому что он, в общем, наилучшим образом защищает режим — более умно и

более гибко, чем это может сделать официальная печать. Так же, когда мы читаем выступление Жореса Медведева в Сенате Соединенных Штатов, в Иностранной комиссии у Фулбрайта, то мы видим, что никакой советский пропагандист и агитатор не мог бы так смело оправдывать репрессии в СССР или говорить, что их нет, как это делает Жорес Медведев» (X. 136).

Столь же резко высказывается Солженицын и про ЗАРУБЕЖНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Так: «русская секция» радиостанции «Свобода», несмотря на многолетнюю работу, из-за своей принципиальной чужести и даже враждебности русскому национальному сознанию катастрофически утеряла контакт с русским населением и русскими интересами» (IX. 364). Это выразилось хотя бы в том, что только русская редакция станции проходит предварительную цензуру; а прочтение главы о Столыпине из «Красного Колеса» немедленно вызвало донос с последующей комиссией из кнессета для разбирательства дела о «вспышке антисемитизма».

На «Голосе Америки» запретили чтение «Архипелага ГУЛАГ», а пустившего по своему почину один отрывок в эфир диктора попросту уволили (X. 413). Затем прикрыли и передачу к 70-летию убийства Столыпина, между тем исправно транслируя еженедельно три разных программы джаза, и еще отдельно серии танц- и поп-музыки, а к ним вдобавок передачу «хобби» про бездельников, собирающих пустые пивные бутылки или этикетки. Помимо того, «непомерно широко передаются новости о еврейской эмиграции из Советского Союза. То есть целыми получасами передаются интервью с новыми эмигрантами: как им нравится Америка, как они устроились, сколько они зарабатывают, как они обставляют свой дом. В этом всем плохого нет, кроме того, что это непомерно раздуто и заменяет собой внутреннюю информацию о Советском Союзе. И какие чувства это может возбудить у советских слушателей?— раздражение. Никто из советского населения не может уехать на Запад. Уехать на Запад может только некоторое количество евреев. Зачем же хвастаться, как они хорошо устроились, зачем раздражать тех, кто там остался?» (X. 416—417).

...Говоря о влияниях на его духовный мир других писателей, Солженицын замечает: «Вообще над каждым русским писателем довлеет ТРАДИЦИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ... Но конечно, есть писатели особенно любимые, кто особенно влияет. Наибольшее влияние на меня,

определяющее, оказали Пушкин, Толстой и Достоевский. Каждый по-своему... Пушкин — явление огромного мирового значения, и более всего поразительна в нем гармония в восприятии мира, гармония, в которой противоборствуют, сталкиваются зло и добро, все горя, несчастья, они как-то находят в Пушкине высший синтез и примирение» (X. 543).

«А из писателей XX века — Евгений Замятин... очень повлиял на меня» (X. 499). «Замятин во многих отношениях поражает. Главным образом вот синтаксисом. Если я кого считаю своим предшественником по синтаксису, то — Замятина. И потом невероятная яркость и сила портретов у него. Иногда одним-двумя словами он дает целое лицо» (X. 538).

Сложные творческие отношения сложились у Солженицына с Набоковым. В 1972 году Солженицын выдвинул его на Нобелевскую премию, утверждая: «Это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, которое мы зовем гениальностью. Он достиг вершин в тончайших психологических наблюдениях, в изощренной игре языка (д в у х выдающихся языков мира!), в блистательной композиции. Он совершенно своеобразен, узнается с одного абзаца — признак истинной яркости, неповторимости таланта. В развитой литературе XX века он занимает особое, высокое и несравнимое положение» (X. 477—478). Тем не менее совершенно не понятны причины, по которым этому классику нашего столетия Нобелевская премия все-таки не была присуждена. Столь же загадочными остаются обстоятельства, в силу которых два самых вершинных писателя России нашего времени, живучи почти что рядом в Швейцарии, так и не сговорились повидаться.

Между тем, вместе с преклонением, Солженицын не убоялся высказать высокому старшему современнику и упреки: «Я его считаю гением. Когда он оказался в эмиграции, он написал ряд блестящих романов на русском языке. Надо сказать, что русским языком он владел очень хорошо. Но те книги его, даже потом переведенные, настоящего успеха на Западе не имели. Затем Набоков, поняв, что он не найдет пути к западным читателям, и пользуясь своим блистательным знанием английского языка, совершил ломку своего писательского пути, невероятный в истории литературы случай! Сменил язык! Это как бы человеку переродиться и душу себе сменить. И он действительно имел мировой успех. Но уже потеряв всю особенность и сочность русских корней» (X. 548).

И еще: «Набоков — гениальный писатель. Однако, уехав из России, он постепенно, к сожалению, оставил русскую тему. По своему возрасту он относится к поколению, которое великолепно могло бы рассказать о нашей революции. Он этого не сделал. И теперь получается, что люди более молодого поколения, моего, например, обязаны выполнить эту задачу. Другими словами, перипетии его жизни или, может быть, его собственное решение помешали ему поставить на службу родине свой гениальный, повторяю, гениальный талант» (X. 338).

О СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Солженицын определенно высказывался еще на Родине в 1973 году: «Одни авторы, как Ю. Казаков, необъяснимо вдруг уклоняются от большой работы... к другим, как Залыгин, чья повесть о Степане Чаузове — из лучших вещей советской литературы за 50 лет, могу оказаться необъективным, испытывая чужесть из-за разного понимания путей, как может служить сегодняшняя наша литература сегодняшнему нашему обществу; третьи — несомненно и ярко талантливы, но творчество их сторонне или поверхностно по отношению к главным течениям нашей жизни. Со всеми этими оговорками вот ядро современной русской прозы, как я его вижу: Абрамов, Астафьев, Белов, Быков, Владимов, Войнович[1], Максимов, Можаев, Носов, Окуджава, Солоухин, Тендряков, Трифонов, Шукшин» (Т. 592).

За границей в 1979-м писатель говорил более осторожно: «Русская литература всего больше меня поразила и порадовала именно в эти годы, когда я выслан. И не в свободной эмиграции она имела успех, не в раздолье так называемого са-мо-вы-ра-жения,— а у нас на родине, под мозжащим прессом. И создался этот успех даже именно на главном стержне русской литературы, который в советской критике полупрезрительно называют «деревенской литературой»,— а на самом деле это труднейшее направление работы наших классиков. Так вот оно в последние годы имело замечательные результаты, несмотря на все притеснения. Я рад был бы сейчас назвать — 5, нет, 6 имен, вот я берусь их назвать, и книги каждого, даже и по две книги, и разобрать, что в них так удалось, но *отсюда — туда* я... не имею права это делать,

[1] Впоследствии В. Войнович «отблагодарил» Солженицына похабной пародией в романе «Москва, 2042», где он выведен под именем Сим Симыча Карнавалова.

начнут к этим авторам придираться, что, мол, недаром Солженицын их хвалил. Но я думаю: они сами поймут, что речь идет о них, и читатели тоже разберутся.

Нам бывает трудно оценить уровень современной нам литературы. А вот: такого уровня во внутреннем изображении крестьянства, как крестьянин чувствует окружающую свою землю, природу, свой труд; такой ненадуманной, органической образности, вырастающей из самого народного быта; такого поэтического и щедрого народного языка...— к такому уровню стремились русские классики, но не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой. Потому что — они не были крестьянами. Впервые крестьяне пишут о себе сами. И сейчас читатели могут наслаждаться тончайшими страницами у этих авторов.

...Может быть, и эти мои слова услышат молодые авторы, кто в будущем подвижут нашу литературу. Я бы хотел им сказать, что не надо гнаться за поверхностной политической сатирой — это самый низший вид литературы. И дело совсем не в формальных поисках, никакого «авангардизма» не существует, это придумка пустых людей. Надо чувствовать родной язык, родную почву, родную историю — и они с избытком дадут материал. А материал подскажет и форму, взаимодействуя с автором» (X. 359—360). И тут же, пользуясь случаем, писатель поведал еще грустный анекдот о том, как во время американской книжной выставки в Москве заокеанские издатели затеяли почтить обедом главных представителей русской литературы. Позвали по принципу — кто числится в диссидентах, а собственно стержневая словесность не была представлена ни одним человеком.

Есть у Солженицына и более жесткие суждения о братьях по цеху: «Бродский — очень талантливый поэт, но характерно у него следующее: лексика его замкнута городским интеллигентским употреблением, литературным и интеллигентским. Слой глубокого народного языка в его лексике отсутствует. Это облегчает его перевод на иностранные языки и облегчает ему самому быть как бы поэтом интернациональным. И естественно, что он пользуется на Западе таким большим успехом» (X. 548).

Наконец, находятся оценки и вовсе крутые: «Сказал я Вознесенскому когда-то: «Нет у вас русской боли». Вот нет — так и нет. Не страдает его сердце ни прошлыми бедами России, ни нынешними... Деревянное сердце, деревянное ухо» (X. 361).

«МОЕ БУДУЩЕЕ тесно связано с судьбой моей страны. Я работаю и всегда работал только для нее. Наша история скрыта, изолгана вся, я пытаюсь восстановить эту историю прежде всего для моей страны, ну в какой-то мере это будет полезно и для Запада. Мое будущее зависит от того, что будет с моей страной» (X. 264). «А насчет моего возвращения... Конечно, никто не знает часа своей смерти, и мы не можем рассчитывать даже на год вперед никогда, ни один человек. Но если мне суждено какое-то время еще пожить, у меня — да, вопреки всяким логическим доводам, вопреки тому реальному ужасному положению в Советском Союзе и в мире (1 ноября 1983 г.— *П. П.*), какое сегодня есть, у меня какая-то убежденность, что я еще вернусь туда, не только книги мои вернутся, а я живым туда вернусь. Почему-то мне кажется, что я умру у себя на родине» (ВРХД. 1984. № 142. С. 165). А на вопрос французского журналиста: «Есть ли риск, что Ваши три сына — позже, когда станут мужчинами — потеряют стремление и охоту вернуться на русскую землю?» — Солженицын ответил: «Ну есть риск, конечно,— что я буду похоронен в этой земле, хотя мне этого не хочется. Есть риск, что мы все здесь умрем, никогда не увидим Россию. Но мы живем надеждой. Живем надеждой на возврат, и сегодня я еще твердо уверен, что эти мальчики вернутся в Россию охотно, и очень будут России нужны и полезны» (ВРХД. 1984. № 142. С. 168).

Интервью в 1979 году оканчивалось коротким ответом на заданную русским работником ВВС загадку: «И КАКОЙ ЖЕ ВЫ ВИДИТЕ БУДУЩУЮ РОССИЮ?» — «Я вижу ее — в вы-здо-ров-лении. Отказаться от всех захватных международных бредней — и начать мирное, долгое, долгое, долгое — выздоровление» (X. 372).

А пятью годами позднее Солженицын нашел нужным еще раз повторить один из своих сокровеннейших выводов: «Да, ОСВОБОЖДЕНИЕ РОССИИ НЕ МОЖЕТ ПРИЙТИ НИКАК ИНАЧЕ, КАК ИЗНУТРИ» (ВРХД. 1984. № 142. С. 169)[1].

---

[1] В 1990 г. писатель прервал семилетнее публицистическое молчание, напечатав ставшую вскоре знаменитой работу «Как нам обустроить Россию. Посильные соображения» («Комсомольская правда» и «Лит. газета», 18 сент.).

КРАСНОЕ КОЛЕСО

Повествованье в отмеренных сроках

Действие первое. Революция

«В 18 лет я точно помню день и обстоятельства, когда вдруг мною овладел этот замысел. Это пришло буквально вот в какие-то пять минут. Я знаю точно место и точно время, когда это произошло... Это было 18 ноября 1936 года. Тогда в Советском Союзе не было воскресений, а был свободный день каждое число, которое на шесть делится. Это был свободный от учения день, и стояла погода... такая солнечная, с низким солнцем. Я пошел один, в каком-то смутном состоянии, какое-то тяготение во мне, пошел по ростовскому Пушкинскому бульвару, и в одном месте этого бульвара, под уже оголенными ветвями, вдруг как будто меня прямо настигло: надо такой роман написать. Я кончил уже к этому времени советскую школу, это было в первые месяцы студенчества на физмате, и я тогда считал... что главное — октябрьская революция. Но, конечно, нельзя начинать прямо с нее, надо как-то отступить, начать раньше. Я понимал, что нужно будет описать Семнадцатый год, понимал, что нужно будет описать и Четырнадцатый год, потому что без Первой мировой войны нельзя никак объяснить нашу революцию, она бы не произошла. Но тогда я еще это все понимал как прелюдии, отступление для прелюдий. Вот тогда же я и решил, что мне надо начинать с Первой мировой войны,— мне сама война, я думал, не была нужна, а только что-то из нее показать перед революцией. Ну, я засел за книжки по Первой мировой войне. Обратил внимание сразу на Самсоновскую катастрофу. Самсоновская катастрофа поразительна во многих отношениях, типична, характерна, как бы репрезентативна для этой войны. Я решил так: описывать всю войну, конечно, не буду, а только одну битву, но эту битву буду описывать очень подробно. И занялся детальной разработкой Самсоновской катастрофы. Поразительное дело, я, конечно, тогда не представлял, изучая карты военные, что мне самому придется повторить весь путь армии Самсонова. Во время Второй войны я точно по этим местам прошел. Точно в эти места попал» (ВРХД. 1984. № 142. С. 154—155).

«Вот рок! наши войска шли совершенно мимо, вдруг

повернули и пошли точно по следам самсоновской армии,— наша армия. И я попал в те самые места, которые я уже знал по своим учебникам. Ну это на меня подействовало как перст судьбы, значит, действительно, правильно, надо писать!— почему меня Бог привел в это самое место в эту войну? Прямо в те деревни, в те города, в этот Найденбург горящий...» (X. 490).

«Итак, я начал писать в 1937, и так как у меня довольно острое чувство композиции, то надо сказать, что композиционно я многое решил из Самсоновской катастрофы уже тогда, то есть как последовательно идут главы и из чего состоят. И хотя текст, фактуру, конечно, я переписал всю заново теперь, но построение глав, почти десятка военных глав, взято прежнее, из 37-го года. Ну а потом, после студенчества, я пошел на войну, потом в тюрьму, и много десятилетий не мог работать, а мог только думать, расспрашивать, с кем сидел в тюрьме, об этих временах, иногда читать редкие книги, но я не мог вести конспектов в заключении, я сразу бы был схвачен. Так что держал все это в голове. Ну а потом я занялся лагерной темой, и так только в 1969 пробился к своему главному замыслу» (ВРХД. 1984. № 142. С. 155).

«То есть 33 года я своей этой темой жил, но по-настоящему над ней не работал. И только мог в 69-м отдаться полностью вот этой своей главной работе» (X. 513).

«А вот недавно, всего-навсего лет 6-7 назад (считая от 1983 г.— *П. П.*) я вдруг понял, что мои отступления для прелюдий оказались недостаточными, потому что и с войны еще нельзя начинать, надо начать раньше, надо начать с истории революционного движения и особенно революционного террора в России. Итак, я должен был в уже написанный «Август» вставить еще один том, ретроспекцию на террор и то, что произошло задолго до войны. Но когда я это сделал, я обнаружил для себя необыкновенную актуальность «Августа», актуальность для сегодняшнего Запада, а не только для России. Для нашей страны это история, для нашей страны надо это знать, чтобы понять, как у нас все получилось, и о будущем думать, а для Запада в «Августе» есть одна уже прямая актуальность — течение революционного террора. Я, конечно, не мог подробно писать историю террора, я проследил только по «женской линии». Чтобы из большой массы выделить сколько-нибудь. Но даже по этой женской линии можно увидеть черты совершенно сегодняшне-

го террора на Западе. А дальше, это уже относится не к «Августу», а к «Марту Семнадцатого» и позже,— удивительно актуально для Запада и дальше. Должен сказать, что этот наш путь, от февральской революции до октябрьской, восемь месяцев, это как бы сжатый конспект, который потом Европа будет прокручивать несколько десятилетий. Каким-то образом нам было послано вот так, в восемь месяцев, это сжать (тут явственно проглядывает исток солженицынского метода «временного сжатия» произведений.— *П. П.*). Вообще, конечно, история Запада тоже сломалась в Четырнадцатом году. Я испытываю к Первой мировой войне чувство современника. Вот такая судьба: я воевал на этой войне, на Второй мировой, но из-за моей работы я больше обращен к Первой мировой войне. И я невольно, изучая материалы, почувствовал и всю Европу в то время, почувствовал, как Европа погубила сама себя — войною, вступивши в войну... Весь XIX век, считая его — есть такой счет XIX века: от Французской революции до Первой мировой войны,— весь XIX век Европа шла к этому... утерей высших мерок жизни и, так сказать, отдаваясь благам и материальному процветанию. Да, она подготавливала весь XIX век эту войну. А так как всегда внутреннее развитие опережает внешнее, то в начале XX века Европа, будучи на вершине материального могущества и процветания, уже катилась в бездну, которая ее ждала, внутренне. И внутренне все руководители Европы в Четырнадцатом году оказались не на уровне своем, все не понимали того, что за эпоха наступила и как надо себя вести. Мне безумно жалко Европу, что она влезла в этот Четырнадцатый год. Хотя у нас это сразу сказалось революцией, моментально. А Европа с тех пор все время медленно сползает, вот уже семьдесят лет... И внешний технический прогресс ничего не изменяет в этом отношении» (ВРХД. 1984. № 142. С. 155—156).

На вопрос: «Как объяснить весь ход «Красного Колеса»? Каковы прошлое и будущее Вашей Эпопеи?» — Солженицын ответил: «Это развернутое повествование о революции в России, которое захватывает сотни действительных исторических лиц, от высокопоставленных, на виду у истории, до совершенно никому не известных, но давших мне свидетельские показания. Оно захватывает десятки мест в России, захватывает многие годы» (ВРХД. 1984. № 142. С. 153).

«Всегда было моей задачей — вертикаль дать всю, по

возможности дать всю вертикаль, как только можно. Без участия масс и низов нет истории, нет исторического повествования» (X.530). Данное обещание писатель сдержал: в напечатанных к концу 1988 года восьми томах на почти пяти тысячах страниц действует более двухсот героев.

«Такую грандиозную вещь невозможно написать «в лоб» — это был бы бесчисленный ряд томов. Уже давно, лет пятнадцать назад, я пришел к выводу, что надо писать эту эпопею методом узлов. В математике есть такое понятие узловых точек: для того чтобы вычерчивать кривую, не надо обязательно все точки ее находить, надо найти только особые точки изломов, поворотов и повторов, где кривая сама себя снова пересекает,— вот это и есть узловые точки. И когда эти точки поставлены, то вид кривой уже ясен. И вот я сосредоточился на узлах, на коротких промежутках, никогда не больше трех недель, иногда — две недели, десять дней. Вот «Август», например,— это одиннадцать дней всего. А в промежутке между узлами я ничего не даю. Я получаю только точки, которые в восприятии читателя соединятся потом в кривую. «Август Четырнадцатого» — как раз такая первая точка, первый узел» — «А последний? До какого года доходит эта эпопея?» — «Должна бы она дойти до 1922 года, когда все последствия революции уже закованы в железные колеи, когда социальная динамика кончилась и начинается уже качение по этим жестоким рельсам. Но боюсь, что мне жизни не хватит довести до конца.

...Вот я работаю четырнадцать лет (к 1983 г.— *П. П.*). И годы идут. Мне уже нужно было бы быть в середине пути хотя бы, а я еще далеко не дошел. Поэтому я думаю, что эпопею всю не окончу, но по крайней мере хочу как можно дальше продвинуться, чтобы выяснить ход... То, что я сейчас реально уже кончил, это так называемое «Действие первое. Революция». В него входит три узла: «Август Четырнадцатого», «Октябрь Шестнадцатого» и «Март Семнадцатого»... Это я почти кончил. Вот здесь вокруг нас разложены заготовки «Апреля». Это четвертый узел. Надо сказать, что Семнадцатый год в России необыкновенно динамичен, каждый месяц — это новая эпоха, буквально, даже от марта к апрелю вся ситуация меняется. И так приходится только в промежутке между Февралем и Октябрем дать четыре узла. Собственно — все то, что победило в Февральской революции, прожило восемь месяцев и само упало, и

уже отозрело, кончило свою жизнь» (ВРХД. 1984. № 142. С. 153—154).

«Колесо» написано с применением множества необычных повествовательных приемов; расскажем о них собственными словами автора, опять-таки позволив себе лишь выделить прописными названия каждого в отдельности:

«Сейчас у меня самые превосходные условия для работы. Практически у меня есть 98% тех материалов, которые мне нужны. А 2% я получаю через библиотеки. В течение многих лет я собирал свидетельства стариков. У меня более трехсот личных показаний людей, которые теперь большей частью умерли. Я успел их собрать, частично в Советском Союзе, а больше всего за границей, это уникальная библиотека. Затем у меня много книг, вот эти вот растрепанные книги, я даже их не успел начать искать, мне стали эмигранты присылать со всех сторон. И когда я огляделся — так у меня почти всё есть. Потом я имею из американских библиотек, из Гувера, набор газет того времени. О русских газетах 17-го года можно отдельно поговорить, так это интересно. Затем у меня много документов, напечатанных в Советском Союзе, касающихся Февраля. Начиная с Октября они уже скрывались, не печатались или искажались, а до Октября — очень обильны, и у меня все это есть. Моя работа упирается лишь в то, сколько мне времени отпущено.

Газеты Семнадцатого года — необычайно интересны. У меня до 15 разных газет, и ни одна не повторяет другую. Это был момент такого взрыва, когда все говорили и писали. Эти газеты живут. И вот: как эту жизнь выловить? Можно: брать из газет фрагменты самих событий. Можно: разрабатывать настроение и мысли, которые там поданы как публицистика, а я даю своим персонажам, иногда тому самому, который пишет статью, я могу перевести газетную статью в диалог, в разговор. Но иногда бывает неповторимо привести цитату из газеты так, как она есть. И из этого у меня рождаются ГАЗЕТНЫЕ МОНТАЖИ. Первую идею газетных монтажей я получил от Дос Пассоса, на Лубянке в тюрьме, я впервые читал его книгу там. Мне очень понравилась эта идея. Но Дос Пассос и я используем ее прямо противоположно. Дос Пассос берет набор бессмысленной газетной болтовни как не имеющей отношения к жизни, а я использую газетный текст как реальные кирпичи, из которых завтра... сегодня и завтра растут события. Ибо газеты Семнадцатого года были сигналом к действию, особенно у социали-

стического крыла... Поэтому мой монтаж имеет совсем другой смысл: сгущенного действия и предупреждения.

Документы приходится использовать двояко. У меня, среди других, есть форма ПРЯМОГО ДОКУМЕНТА, но ее надо применять очень осторожно. Нельзя давать документ длиннее нескольких фраз, и нельзя давать много документов,— потому что большая часть их написана языком не плотным, избыточным, не ярким, с повторениями, это засушит читателя. Но когда я эти документы прорабатываю для себя, я восстанавливаю психологический рельеф человека, который его писал, и рельеф события. Например, по Февральской революции — гора документов. Я их использую в «Марте» в повествовательных главах, описывая, как этот документ рождался, я не выхожу за пределы документа, но даю психологическое обоснование: что могло толкнуть человека к такому решению, к таким фразам. И потом, с другой стороны: когда этот документ, телеграмма или письмо куда-то пришли — как они воспринимаются адресатом? что там будят?

Потом у меня есть форма ОБЗОРНЫХ ГЛАВ. Хотя я и в обычных повествовательных главах стараюсь не удаляться от действительности, даже большая часть их — это совершенно точные события, но все-таки это главы, где я даю больше личного от персонажей. А некоторые периоды или некоторые линии надо проследить с большей исторической высоты, и тогда я пишу петитом обзорную главу. В первом томе «Августа» такие главы довольно простенькие, это маленькие обзоры военных действий, чтоб человек не потерялся. Но уже во втором томе приходится дать всю жизнь и деятельность Столыпина обзорной главой. В следующих томах мне приходится таким петитом давать историю некоторых партий и некоторые события, но тем самым я их, собственно говоря, не навязываю читателю. Я их выделяю так, чтобы более нетерпеливый читатель мог через них перескочить.

В работе над «Красным Колесом» я столкнулся с очень важным вопросом: какова должна быть пропорция исторических личностей, конкретно существовавших, не обязательно на вершинах,— и тех, что придуманы мною. Я бы считал пустой забавой дать большую пропорцию придуманных персонажей, как будто я с историческими событиями бы играл и нарочно подставлял туда персонажа, чтобы он там наблюдал. Нет, я главное внимание уделяю персонажам реально существовавшим, и я занят

только истолкованием их психологии и поступков. Но тогда возникает обратный вопрос: может быть, вообще выбросить вымышленных персонажей?— нет, нет, художественное произведение нуждается в них. Они — как бы смазка или соединительная ткань, и они дают маленькие оазисы совсем простой жизни, совсем простого воздуха, как-то даже забыть об истории. Вот, например, в «Марте Семнадцатого», в Февральской революции, я бы грубо определил, что сочиненные персонажи сведены до минимума... А вот, скажем, перед этим будет «Октябрь Шестнадцатого», который не содержит такого напряжения исторических событий, там вымышленных персонажей гораздо больше, больше личного.

От темпа исторических событий зависит, например, длина глав. В «Августе» у меня довольно длинные главы, и даже есть очень длинные, как о царе Николае Втором. В «Октябре» они еще тоже длинные, потому что медленные события. В «Марте» начинается такая динамика, я стараюсь успеть за событиями... Изобразить революцию — это, между прочим, совершенно особая задача для литературы. Это не то, что изобразить войну или отдельные политические события. Революция имеет такой бешеный темп, столько сотен участников! Мне приходится главы стягивать до крошечного объема, но делать их много. Главы следуют с бешеной быстротой друг за другом, все в хронологической последовательности, не только дни за днями, а часы за часами, минуты за минутами. Я слежу, стараюсь давать главу так, чтобы если событие на пятнадцать минут раньше, так и ее дать раньше. Совершенно строго этого выдержать нельзя, потому что когда главы короткие и много их, тогда сильно работает стык, очень важно, что после чего идет, что с чем рядом стоит. Это срабатывает. Я ничего не добавляю от себя, ничего не говорю при переходе от главы к главе. Но стык глав работает... Или контраст, или продолжение.

Но и этого недостаточно. Динамизация требует не только маленьких глав, а время от времени вводить ЧИСТО ФРАГМЕНТНЫЕ ГЛАВЫ. Это так: вся глава состоит из коротких фрагментов. Это — фрагменты реальных событий, никакой отдельно не составил бы главы, но вместе они дают мелькание, и тоже у них свои сокосновения, они усиливают динамику еще.

Иногда нужно применить КИНОЭКРАН для еще большей динамизации» (ВРХД. 1984. № 142. С. 160—162). «Человек утомляется, читая долго, непре-

рывно изложение от автора. А некоторые места сами... настолько зрительно я их вижу, очень ясно вижу в деталях, что просто показываю их, как на киноэкране. У того же Дос Пассоса называется «киноглаз», но там никакого кино нет. Дайте кинооператору, и он не может снять по этому сценарию, по «киноглазу»... ничего снять нельзя, это лирические отступления. А мои сценарные главы, экранные, так сделаны, что просто можно или снимать или видеть, без экрана. Это самое настоящее кино, но написанное на бумаге. Я его применяю в тех местах, где уж очень ярко и не хочется обременять лишними деталями, если начнешь писать это простой прозой, будет нужно собрать и передать автору больше информации ненужной, а вот если картинку показать — все передает! Я себе на будущее представляю, что, скажем, была у нас такая полоса: солдаты бросали фронт и ехали на забитых поездах, на крышах. Маленький экран дать, только вот, как ногами они друг по другу лезут на крышу, как они туда взбираются, и как на крыше сидят. Это передает гораздо больше... чем это описывать прозой» (X.492).

«Этот прием у меня есть в «Августе», но он бывает еще нужнее в момент революционный. Массовая сцена, матросы убивают адмирала, или солдаты штурмуют гостиницу — это написано так, чтобы можно было увидеть, как на экране, читая книгу, без съемки» (ВРХД. 1984. № 142. С. 162).

Приведем один пример такого экрана, к тому же раскрывающего символический смысл названия эпопеи. При чтении его нужно учитывать, что согласно авторской воле знак = «означает монтажный стык, то есть внезапную полную смену кадра» (VIII.520). Итак, видение горящей мельницы из «Августа Четырнадцатого», вырастающее как бы до размеров скорбного пророчества о судьбах, ожидающих Россию:

> «Огонь так работает: сперва съедает тесовую обшивку, а каркас держится дольше, каркас все светлей, все золотистей — а держится! еще скрепы есть!
>
> Огненны все ребра — и основания, и крыльев!
>
> = И почему-то крылья — от струй ли горячего воздуха?— еще не развалясь, начинают медленно, медленно, медленно кружиться! Без ветра, что за чудо?
>
> Странным обращением движутся красно-золоти-

стые радиусы из одних ребер —
как катится по воздуху огненное колесо.
И — разваливается,
разваливается на куски,
на огненные обломки» (XI.264).

Несколько ранее тот же образ является во внутреннем монологе Ленина, размышляющего на Краковском вокзале о смысле начавшейся войны: «...момент пришел! Крутится тяжелое разгонистое колесо — как красное колесо паровоза,— и надо не потерять его могучего кручения... какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но — не как увлекает их сейчас, а — в обратную сторону?» (XI.228).

Далее образ из повествовательной главы опять возвращается в «экранную», чтобы стать предсказанием в еще более глубокой исторической перспективе. Он возникает во время панического ночного бегства русского войска:

«И лазаретная линейка — во весь дух!
и вдруг — колесо от нее отскочило! отскочило на ходу —
и само! обгоняя! покатило вперед!
колесо!! все больше почему-то делается,
Оно все больше!!
Оно во весь экран!!!
КОЛЕСО!— катится, озаренное пожаром!
самостийное!
неудержимое!
всёдавящее!
Безумная, надрывная ружейная пальба! пулеметная!! пушечные выстрелы!!
Катится колесо, окрашенное пожаром!
Радостным пожаром!!
Багряное колесо!!
= И — лица маленьких испуганных людей: почему оно катится само? почему такое большое?
= Нет, уже нет. Оно уменьшается.
Вот, оно уменьшается.
Это — нормальное колесо от лазаретной линейки,
и вот оно уже на издохе. Свалилось» (XI.322).

«...Ну и потом еще есть несколько других жанров в узлах... есть ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ПОСЛОВИЦЫ. Я не имею в виду те, которые употребляют персонажи, а: отдельно стоящая пословица между главами. Обычно так можно понять: какой-то дед как бы слушает мой рассказ и вдруг дает реплику. Он предыдущую главу как-то ком-

ментирует, под каким-то новым углом, что дает еще новый объем восприятия.

И наконец, между узлами... я сказал, что между узлами ничего нет, но это пока не началась революция. А вот уже после «Марта» между узлами вставляется **КАЛЕНДАРЬ РЕВОЛЮЦИИ**. Это, может быть, одна страничка между узлами, где перечислен десяток событий. Я выбираю из множества событий того времени те, которые мне кажутся наиболее знаменательными, и огромное историческое событие, всем известное, может стоять рядом с маленьким, ничтожным, которого никто не знает. Но когда они выстраиваются в ряд, они дают тонкую соединительную веточку-ниточку между двумя узлами» (ВРХД. 1984. № 142. С. 163).

XI —XI I . УЗЕЛ 1. АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

(10—21 августа ст. ст.)

Первые главы «Августа», в том числе описание приезда полковника из Ставки в штаб Самсонова, были написаны еще в 1937 году в Ростове-на-Дону. «В той первой стадии работы много глав отводилось Саше Ленартовичу (мобилизованный интеллигент, уходящий затем в революцию.— *П. П.*), но эти главы с годами отпали. Были также главы об экономии Щербаков (дед автора по матери), где уже тогда задевался вопрос о деятельности Столыпина и значении убийства его. Затем в работе над романом наступил перерыв до 1963 года (все заготовки сохранились через годы войны и тюрьмы), когда автор снова стал усиленно собирать материалы. В 1965-м определяется название «Красное Колесо», с 1967-го — принцип Узлов... С марта 1969-го начинается непрерывная работа над «Красным Колесом»; сперва главы поздних узлов (1919—1920 годы, особенно тамбовские и ленинские главы)» (XII. 545).

Оконченная в полтора года (к октябрю 1970) первая редакция была впервые опубликована в 1971-м в Париже и затем переведена на основные мировые языки. Однако тем, кто именно ее принимает за подлинный «Август», следует учитывать, что она представляет собою чуть более половины окончательного текста. «После высылки писателя в изгнание, он углубил написанные еще в СССР ленинские главы, в том числе и 22-ю из «Августа», намеренно не опубликованную при первом издании... Вес-

ной 1976-го писатель собрал в Гуверовском институте в Калифорнии обширные материалы об истории убийства Столыпина. Летом-осенью 1976-го в Вермонте были написаны все относящиеся к этому циклу главы (ныне 8-я и 60—73). В начале 1977-го написана глава «Этюд о монархе» (ныне 74-я...) — после чего Узел Первый окончательно стал двухтомным». Последняя его редакция «сделана уже в процессе набора, в 1981 в Вермонте. Все заметные исторические лица, все крупные военачальники, упоминаемые революционеры, как и весь материал обзорных и царских глав, вся история убийства Столыпина Богровым, все детали военных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов,— подлинные. Отец автора выведен почти под собственным именем (Исаакий Лаженицын.— *П. П.*) и семья матери доподлинно» (XII.545—546).

Начало эпопеи, приходящееся на первые дни еще «нераскачавшейся» войны, протяженно-медленное — сделано это, по позднейшему признанию автора, намеренно, ибо никогда уже более в XX столетии не досталось России такого покоя. Любопытен метод создания, а точнее воссоздания, примененный в этом первом в солженицынском творчестве произведении, время действия и события которого не имеют с авторской судьбой прямого пересечения. «Когда я начал над «Августом» работать, после всего, что я писал о лагерях, о современной советской жизни, о «раковом корпусе», об Архипелаге[1-2], что увидеть гораздо легче, боевой опыт помог. А тут, действительно[2], разглядеть очень тяжело! робость брала много раз. Вот такое впечатление — как будто бы темно, и ты всматриваешься, вот всматриваешься... всматриваешься... вдруг рука становится видна, плечо, голова,— так постепенно-постепенно проступает что-то из тумана. Большое напряжение зрения художественного, вначале очень тяжело, просто руки опускаются, ну невозможно, кажется, взять эту задачу. А потом постепенно как-то привык и стало легче, легче, легче,— и я их увидел! Да в общем, в русской эмигрантской печати много обсуждался мой «Август», и в основном военные люди, которые должны верней всего судить,— потому что большинство глав военные,— говорят: «схвачено верно, было так». Но задача,

[1-2] Редакция фразы изменена по сравнению с текстом Собрания сочинений согласно поправкам автора, присланным составителю «Путеводителя».

конечно, очень трудная и она будет все время трудна. Когда пишется исторический роман через 50 лет спокойной жизни (как, например, «Война и мир» писался), то многое-многое в быту осталось — людские обычаи, представления, среда... Но когда пишется роман через 50 лет советской жизни, когда сотряслось все, перевернулась Россия, новая вселенная создалась, как в Советском Союзе,— очень тяжело. Ну не так трудно, как о Карфагене, но, в общем, это задача очень тяжелая» (X.491).

В зачинных главах эпопеи Саня Лаженицын, студент, прежде бывший толстовцем и даже ездивший на поклон в Ясную Поляну, где имел беседу с гуляющим «великим старцем» (подлинное происшествие из жизни отца писателя), принимает необычное для тогдашней левонастроенной молодежи решение идти добровольцем на фронт. Прощаясь с Москвою, он вдвоем с приятелем встречает на улице знакомого книгочея из Румянцевской библиотеки Варсонофьева, которого зовет про себя «Звездочетом»,— и между ними происходит историософическая беседа, во многом задающая тон всей книге. Саня признается, что от толстовства оттолкнула его... телега: «Это, знаете, какой-то грамотный крестьянин послал Толстому письмо. Что, мол, государство наше — перекувырнутая телега, а такую телегу очень трудно, неудобно тянуть, так — доколе рабочему народу ее тянуть? не пора ли ее на колеса поставить? И Толстой ответил: на колеса поставите — и сразу в нее переворачиватели же и налезут, и заставят себя везти, и легче вам не станет. Ну, что ж тогда делать?.. А вот, мол, что: бросайте вы к шутам эту телегу, не заботьтесь о ней вовсе! А — распрягайтесь и идите каждый сам по себе, свободно. И будет всем легко...— И вот этого толстовского совета я, как тоже крестьянин, принять решительно не могу. В хозяйстве моего отца самую последнюю телегу я б ни за что так не бросил, непременно б ее на колеса поставил. И вытянул бы хоть без волов, без лошадей, на себе... А если телега эта означает русское государство — как же такую телегу можно бросить перепрокинутой? Получается: спасай каждый сам себя? Уйти — легче всего. Гораздо трудней — поставить на колеса. И покатить. И сброду пришатному — не дать налезть в кузов. Толстовское решение — не ответственно. И даже, боюсь, по-моему... не честно» (XI.403).

Вместо этого Саня приходит к неопределенному «народничеству», полагая, что, жертвуя собой «для народа»,

можно верней всего и свою душу спасти. «А вдруг эта жертва — не та?— пытает его Звездочет.— А скажите — у народа *обязанности* есть? Или только одни права? Сидит и ждет, пока мы ему подадим счастье, потом вечные интересы? А что если он сам-то *не готов*? Тогда ни сытость, ни просвещение, ни смена учреждений — не помогут?..

— Не готов — в отношении чего же? Нравственной высоты? Но тогда — кто ж?..

—А вот — кто ж?.. Это, может, до монголов было — нравственная высота, а мы как зачли, так и храним. А как стали народ чёртовой мешалкой мешать — хоть с Грозного считайте, хоть с Петра, хоть с Пугачева — но до наших кабатчиков непременно, и Пятый год не упустите,— так что теперь на лике его незримом? что там в сокрытом сердце? Вот кельнер наш — довольно неприятная физиономия. А над нами — «Унион», кино, этот антихрист искусства, там тапер играет в темноте — а что у него в душе? какая еще харя высунется их этого «Униона»? И почему же надо все время для них жертвовать собой?

— Тапер и кельнер... это не строго народ.

— А где же?.. До каких же пор непременно обязательно один мужик? Уж миллионы из него утекли — и где ж они?.. И нельзя ж интеллигенцию отдельно от народа считать.

— И интеллигенцию определить!

— И этого тоже никто не умеет. Например, духовные лица у нас никак не интеллигенция, да?.. И всякий, кто имеет *ретроградные* взгляды,— тоже у нас не интеллигент, хоть будь он первый философ. Но уж студенты — непременно интеллигенты, даже двоечники, второгодники и по шпаргалкам кто...»

И Варсонофьев дает молодежи совет: «Вот почему, молясь на народ и для блага народа всем жертвуя, ах, не затопчите собственную душу: а вдруг из вас кому-то и суждено что-то расслышать в сокровенном порядке мира?» Дальше он заводит речь о смысле истории: «История растет как дерево живое. И разум для нее топор, разумом вы ее не вырастите. Или, если хотите, история — река, у нее свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она — загнивающий пруд, и надо перепустить ее в другую, лучшую яму, только правильно выбрать место, где канаву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, ее только на вершок

разорви — уже нет струи. А нам предлагают рвать ее на тысячу саженей. Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи...

— А где же законы струи искать?

— Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека... Слово строй имеет применение еще лучшее и первое — *строй души.* И для человека нет нич-чего дороже строя его души, даже благо через-будущих поколений...

— А на войну идти — правильно?..

— Должен сказать, что — да!.. Доказать не могу. Но чувствую. Когда трубит труба — мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы — для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну» (гл. 42).

Две основные темы собственно «Августа» — катастрофа в Восточной Пруссии и судьба Столыпина. Военные главы являют собою как бы продолжение толстовской традиции, только отображают они далеко от времен девятнадцатого столетия ушедшую «предельную» действительность века двадцатого. Например, вот такая жуткая параллель сцене купания «пушечного мяса» в «Войне и мире» — измученные переходом русские войска входят в оставленный противником, но не мирными жителями немецкий городок, и тут парикмахеры «врага» запросто принимаются их брить и стричь, принимая в оплату царские деньги по курсу. «Давно ли ловили цивильных сигнальщиков, военизированных велосипедистов,— а вот немецкая бритва мягко ходила по шее русского офицера. И кончилось двоение, как поворотом бинокленного винта приходя в свой правильный объем и вид: воюют мундиры, но было бы за пределом человечности воевать всем против всех. На большом доме была вывешена простыня с надписью по-русски: «Дом умалишенных. Просят не входить и не беспокоить больных»,— не входили и не беспокоили. Немецкий военный санитар в форме отдавал честь русским офицерам. А заметив в проходящем офицере знание немецкого языка, останавливали его женщины и спорили: «На что вы надеетесь? Разве можете вы победить культурный народ?» Но приглашали выпить кофе с бутербродами» (XI.286). Подобный же проблеск нравственной истины среди военного безумия — ставшая уже почти классической сцена встречи по воле случая

русского полковника Воротынцева и немецкого генерала Франсуа, которые, любезно побеседовав, не нашли возможным стрелять друг другу ни в спину, ни в лицо» (гл. 37).

Русская армия показана во всех своих ипостасях. Среди ее генералов деятельный Нечволодов, совмещавший военную службу с работой историка, оказывается, к сожалению, скорее исключением; а вот бездеятельный Благовещенский, «проверяющий» на себе толстовскую теорию о том, что война идет сама собой — куда более часто попадающийся образ. Есть офицеры кадровые, прирожденные вояки — и сомневающиеся в «оправданности» защиты родины призванные студенты. Ближе всего крестьянскому сердцу Солженицына солдаты, и среди них замечательно выписан случайный ординарец Воротынцева Арсений Благодарёв — которому, судя по всему, суждено пройти до конца эпопеи: в «Октябре» есть главы о его поездке домой в тамбовскую деревню и общении с будущими руководителями «антоновского» восстания 1921 года.

Вершина трагедии — поражение армии генерала Самсонова и его самоубийство; в том искренне-потерявшемся русском человеке Солженицын неожиданно увидал подобие «генерала от литературы» своего времени. Вспоминая уход главного редактора из «Нового мира», он записывает: «Мне рассказали об этой сцене в тех днях, когда я готовился описывать прощание Самсонова с войсками — и сходство этих сцен, а сразу и сильное сходство характеров открылось мне!— тот же психологический и национальный тип, те же внутреннее величие, крупность, чистота — и практическая беспомощность, и непоспеванье за веком. Еще и — аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стал я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот — и лучше понял каждого из них» (Т. 303).

Главы о Столыпине имеют подзаголовок «Из Узлов предыдущих», которые тут же и перечислены в виде лесенки, опускающейся из верхнего левого угла страницы в правый нижний, как бы отступая в даль времени: «Сентябрь 1911, Июнь 1907, Июль 1906, Октябрь 1905, Январь 1905, Осень 1904, Лето 1903, 1901, 1899». История государственной деятельности знаменитого председателя правительства переплетена здесь с дотошнейшим образом восстановленной, и, несмотря на обилие фактов, запоем читающейся хроникой его убийства, впервые по подлин-

ным документам изложенной писателем. Показывая метания сына киевского адвоката М. Богрова, осуществившего этот «теракт», Солженицын описывает и его пребывание среди революционеров, и работу одновременно тайным осведомителем охранки; эта двуликость проявилась и в резкой перемене дававшихся им на следствии показаний, так что сам автор не удерживается от восклицания: «Достоевский много душевных пропастей излазил, много фантазий выклубил,— а не все» (XII.320).

В итоге своего расследования писатель приходит к выводу, что Богров не был участником заговора и действовал он единолично во имя своей идеи, которую мыслил примерно так: «Столыпин ничего не сделал прямо против евреев и даже провел некоторые помягчения, но все это — не от сердца. Врага евреев надо уметь рассмотреть глубже, чем на поверхности. Он слишком назойливо, открыто, вызывающе выставляет *русские* национальные интересы, *русское* представительство в Думе, *русское* государство. Он строит не всеобще-свободную страну, но — национальную монархию. Так еврейское будущее в России зависит не от дружественной воли, столыпинское развитие не обещает расцвета евреям» (XII.126).

Это соображение и подвигнуло Богрова на убийство; он сам признался — подлинный факт — перед казнью допущенному к нему раввину: «Передайте евреям, что я не желал причинить им зла. Наоборот, я боролся за благо и счастье еврейского народа».

И это было — единственное несмененное изо всех показаний» (XII.320).

Последствия ранней гибели премьера кратко определены словами: «Всего два года прошло от смерти Столыпина,— почти вся российская публичность и печатность открыто насмехалась над его памятью и его нелепой затеей русского национального строительства. Выстрел Богрова оказался — бронебойный и навылет» (XII.344).

Искреннее сочувствие столыпинскому делу, на наш взгляд, исказило обычно выверенную объективность писателя-историка в первой главе о Николае II (74-й, названной при первой отдельной публикации в «Вестнике РХД». № 124, 1978 — «Этюд о монархе»). Обстоятельное изложение и спокойная оценка расхождений, которые имел Столыпин не только с «левыми», но и с царем,— сам признавая в конце жизни и собственную долю ошибок,— даны в 15-й главе замечательной, но, к сожалению, еще малоизвестной исторической монографии

С. С. Ольденбурга «Царствование императора Николая II» (Мюнхен, 1949; переизд.: Вашингтон, 1981).

«Царские» главы, в особенности начальные, у многих читателей «Красного Колеса» вызвали огорчение и несогласие. Пользуясь своим методом «вживания изнутри» в героя, писатель как бы не сделал различия и для лица, которое испокон века почиталось народным сознанием как воплощение души и воли нации. Если душа замутилась, а воля поражена — то это не вина, а беда олицетворяющего верховную власть человека. И единственное, что для него тогда остается — это жертвенная гибель, которую он в конце концов и избрал сознательно, отказавшись за себя и семью покинуть Родину. С какой бы точки зрения ни смотреть на трагедию царской семьи — событие это все-таки остается трагедией, далеко для соотечественников не безразличной. И глядя в ее свете на 74-ю главу «Августа», нельзя не признать — вслед за автором, кстати,— что это не лишенное лихости и легкости творение есть действительно лишь «этюд».

Последний русский царь был человек чрезвычайно воспитанный, в чем ему не могли отказать даже такие заклятые враги, как С. Ю. Витте. Между тем писатель не избег соблазна иронически преподнести домашний дневник и переписку царя, чтобы читатель удивился, как тот в самые крайние государственные мгновения находит время для описания скромных семейных событий. Но крайне щепетильный к своему долгу Николай II никогда бы и не позволил себе поверять бумаге важные вопросы и тем более тайны управления. Еще более горько читать в «Октябре» главы об Александре Федоровне, как-никак, в отличие от всех ненавидевших ее «либеральных деятелей», положившей на алтарь своего второго отечества себя самое и пятерых любимых детей.

Однако здесь поправку вносит сам «материал повествования», что особенно заметно уже в «Марте Семнадцатого». На фоне преступно-праздной болтовни быстро лопающихся «освободительных вождей», стояние не за себя, а за страну царя превращает и ревниво-взыскательное отношение писателя к одному из своих главных героев в отношение уже ревниво-сочувственное. Тут чрезвычайно показательны главы, где с двух сторон увиден акт отречения Николая II, вырванного у него приехавшими из Петербурга Гучковым и Шульгиным при помощи заговорщика-командующего Западным фронтом генерала Рузского.

После долгой внутренней борьбы царь вручает им

вместо составленного чужим умом текста свой собственный манифест об отречении; а перед тем Гучков, глядя на его спокойное лицо, глумливо-снисходительно советовал своему государю помолиться.

Затем Гучков присутствует на скромной пирушке у Рузского по поводу одержанной «победы» — и негодует в беседе с соратниками: «Одно, чем Александр Иванович не мог не поделиться, что уж слишком было въявь: «Но какой деревянный человек, господа! Такой акт! такой шаг!— видели вы в нем серьезное волнение? Мне кажется, он даже не сознавал. Какое-то роковое скольжение по поверхности всю жизнь. Отчего и все наши беды».

А оставленный всеми монарх, теперь уже бывший, один размышляет под иконой Спасителя, что «пошел на все отказы, только не внести бы рознь в страну. Лишь спасена была бы Россия...» И, вспомнив поведение Гучкова, думает: «А ведь — подлый человек. Сегодня — ждал признаков унижения царя и хотел ими насладиться. И как дернул его наставнический снисходительный тон: помолитесь! От человека, который сам забыл, как молиться. А еще — старообрядец... А император, все годы, сколько случаев имел ему отомстить — ведь не мстил же». И заносит в тот самый дневник, над которым долгие годы было принято трунить, вещее: «Кругом измена и трусость... и обман!» (XVI.741—749).

...Сам же «Август» оканчивается заседанием в Ставке, где верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич отказывается согласиться с чрезвычайно резкой оценкой причин Самсоновской катастрофы, данной лично Воротынцевым, и в итоге даже выставляет его вон — чтобы лучше восхититься приятным известием о взятии Львова. Последние же слова книги — произносимая «народным дедом» пословица: «НЕ НАМИ НЕПРАВДА СТАЛАСЬ, НЕ НАМИ И КОНЧИТСЯ».

XIII—XIV. УЗЕЛ II. ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО (14 октября — 4 ноября)

«Временной отрезок «Октября Шестнадцатого», от середины октября до 4 ноября, беден историческими событиями (волнения на Выборгской стороне 17 октября, заседания Государственной Думы с 1 ноября с известной речью Милюкова («Глупость или измена?», голословно обвиняв-

шей правительство в сепаратных переговорах с Германией.— (*П. П.*), еще несколько эпизодов). Но он избран автором в качестве последнего перед революцией Узла как сгусток тяжелой и малоподвижной атмосферы тех месяцев. Автор долго колебался, строить ли между «Августом Четырнадцатого» и «Октябрем Шестнадцатого» еще один, промежуточный по войне, Узел «Август Пятнадцатого», богатый событиями. От этого замысла он отказался, остатки же вошли в нынешний Второй Узел: обзорной по 1915 году главой 19-й и другими ретроспективами двух лет войны, которые все теперь нашли место в «Октябре Шестнадцатого», как и ретроспективы всего кадетского движения (глава 7)». Узел начат в 1971 году, причем архивная работа по нему была необычайно тщательной: достаточно сказать, что Гренадерская бригада описана по сохранившейся в Центральном Государственном Военно-историческом архиве боевой и административной документации, полевым книжкам офицеров, приказам, спискам личного и даже конного состава; материалы по Каменской волости Тамбовского уезда и другим местам Тамбовской губернии собраны в тайных поездках туда 1965 и 1972 годов летом и т. п. В 1975-м в Цюрихе перепроверены и расширены ленинские главы. Впоследствии велась доработка и уточнения, написаны три главы (64, 69 и 72) о царской семье. Узел получил окончательный вид при наборе в 1982—1983 годах (XIV. 589).

Он снабжен особым «Замечанием», в частности сообщающим: «Близкая история нашей страны так неизвестна или так искаженно учена, что ради молодых моих соотечественников я вынужден был во Втором Узле превзойти ожидаемую для литературного произведения долю исторического материала. Но передавая подлинные стенограммы заседаний, речи, письма, я не решался обременить свою книгу и читателя тем многословием, даже пустословием, повторами, побочностями, рыхлостями, невыразительностями, которыми многие из тех речей изобилуют. Поэтому я разрешил себе выиграть действенность через сжатие всего текста, иногда и отдельных фраз,— без малейшего, однако, искажения их смысла. Все цитаты истинны, но не все дословны, концентрация действия есть требование искусства.

...Почти все исторические лица я вывожу под их собственными именами и со всеми точными подробностями их биографий. Это относится и к малоизвестным, но реальным лицам того времени — как легендарный возгла-

витель самоуправления восставших тамбовских крестьян Г. Н. Плужников...

Для фрагментарной главы «Из записных книжек Федора Ковынева» использованы спрессованные отрывки из опубликованных рассказов Ф. Крюкова и личный архив — его неопубликованные письма, дневники и письма к нему его бывшей орловской гимназистки Зинаиды Румницкой...

Но есть три лица — писатель Федор Дмитриевич Крюков (которого Солженицын вслед за своей знакомой, ныне покойным советским литературоведом, взявшей себе псевдоним «Д» в книге «Стремя Тихого Дона», считает наиболее вероятным автором протографа этого романа.— *П. П.*), инженер Петр Акимович Пальчинский, генерал Александр Андреевич Свечин (первый погиб в Гражданскую войну, последние два расстреляны...), при описании которых я нуждался в большей свободе угадываемых, предполагаемых личных деталей, некотором их (небольшом) перемещении, либо собранный материал не давал достаточно данных на последующие Узлы,— и чтоб открыть себе нужный простор, я изменил двум из них фамилии, а последнему имя. Тем не менее большинство подробностей с ними исторично» (XIV. 587—588).

Наиболее захватывающи в «Октябре», как это ни странно, не «сочиненные», а обзорные главы, для отличия которых от прочих после порядкового номера ставится апостроф: 7 «Кадетские истоки» с интереснейшей биографией полузабытого деятеля Дмитрия Шипова, 19 «Общество, правительство и царь», 41 «Александр Гучков», 62 «Прогрессивный блок», 65 и 71— «Государственная Дума» 1 и 3-4 ноября. Здесь умение Солженицына делать суконный документ произведением искусства посредством смыслового сжатия доходит до виртуозности, так что люди словно сами секут себя собственными словами. В особенности это касается обозрения громозвучной и пустозвонной работы Думы, историю которой писатель проследит в «Марте» до последнего заседания, подведя в конце такой итог: «Страшно не то, что на трибуну Думы во всякое время может вырваться любой демагог и лопотать любую чушь. Страшно то, что ни выкрика возмущения, ни ропота ниоткуда в думском зале — так ушиблены все и робеют перед левой стороной. Страшно то, что таким ничтожным лопотаньем заканчиваются 11 лет четырех Государственных Дум.

Это всё — почти сплошь выписано мною из думских

стенограмм последних недель русской монархии. Это всё до такой степени лежит на поверхности, что одному удивляюсь: почему никто не показал прежде меня?

Эта Дума никогда более не соберется.

И я сегодня, прочтя ее стенограммы с ноября 1916 насквозь, а ранее многие, многие, так ощущаю: и не жаль» (XV. 157).

Столь же язвительно-разоблачающа и глава о «ресторанном перевороте» А. Гучкова (40-я). Здесь еще вот что следует отметить: Гучков в «Октябре» (как впоследствии в «Марте» Милюков) заводит среди прочего речь о масонстве, истинная роль коего в революции еще только начинает выплывать наружу. Милюков в нем действительно не участвовал, но отрекающийся в «Октябре» Гучков лжет: не так давно уже упоминавшаяся выше Н. Н. Берберова по масонским архивам доказала его прямое участие в масонстве и направленном на свержение царя сговоре с командующими фронтов (не всеми.— Цит. соч., с. 198—208).

Второй Узел включает также очень насыщенные главы о вожаках петроградских рабочих — главе Рабочей группы при Военно-промышленном комитете Кузьме Гвоздеве (31-я) и руководителе большевиков в России Александре Шляпникове (63-я). Шляпников стал главным деятелем, когда партийные теоретики почти что все оказались в эмиграции, отрезанные войной от связей с Россией. После революции, «в двадцать первом году он возглавил рабочую оппозицию, которая доказывала, что коммунистическая верхушка изменила, предала рабочие интересы, попирает пролетариат, угнетает пролетариат и переродилась в бюрократию. Шляпников исчез и канул. Он был арестован потом, позже, а так как он держался стойко — расстрелян в тюрьме, и имя его может быть многим сегодня... даже неизвестно» (IX. 207). А меж тем «образ Ленина был бы больше понят, если бы показать Шляпникова по контрасту. Потому что Шляпников — это тот коммунист, который был истинный рабочий, всегда старался им быть, истинно связан с подпольем и рабочим классом, истинный деятель истории... Такое благоприятное обстоятельство. Он, будучи профессиональным революционером, сам не переставал быть прекрасным токарем и великолепным рабочим. Он гордился тем, что все время работал, как никто из вождей...» (X. 534—535).

В «Октябре» во всю силу появляется и сам Ленин, представленный в «Августе» одной лишь главой. Здесь ле-

нинских глав целых семь: 37, 43, 44 и 47—50. Солженицын не раз утверждал: «Ленин одна из центральных фигур моей эпопеи и центральная фигура нашей истории. О Ленине я думал просто с того момента, как задумал эпопею, вот уже 40 лет, я собирал о нем по кусочкам, по крохоткам всё, решительно всё (вспомним, что разговор о «принципе узлов» в «Круге» два заключенных вели именно с целью уразумения жизни Ленина.— *П. П.*). В ходе лет я постепенно его понимал, я составлял даже каталоги отдельных случаев его жизни по тому, какие черты характера из того вытекали. Все, что я о нем узнавал, читал в его книгах, в воспоминаниях. Я еще специально каталогизировал, что вот эти события дают такую черту характера, те события — другую черту характера. Я не использую этого непосредственно в момент работы, но это всё систематизируется в голове и складывается. Теперь, когда я счел, что я уже созрел для того, чтобы Ленина писать, я пишу его конкретные годы, цюрихские, естественно ретроспективно туда же помещаются происшествия его партийной и личной жизни. Я не имею задачи никакой другой, кроме создать живого Ленина, какой он был, отказываясь от всех казенных ореолов и казенных легенд» (X. 521—522).

Писатель даже вступил со своим героем в определенный род отношений. Он вспоминает, что впервые решил приступить к ленинским главам в Рязани в 1969 году: «И ведь так сложилось — целый 69-й год меня в Рязани не было, а тут я как раз приехал: слякотный месяцок дома поработать, с помощью читальни — над острейшим персонажем моего романа. Как раз и портрет Персонажа утвердили (навеки) — на улице, прямо перед моим окном. И хорошо пошло! так хорошо; в ночь под 4 ноября проснулся, а мысли сами текут, скорей записывай, утром их не поймаешь. С утра навалился работать —с наслаждением, и чувствую: получается!! Наконец-то!— ведь 33 года замыслу, треть столетия — и вот лишь когда... Но Персонаж мой драться умеет, никогда не дремал»,— ибо в это самое утро Солженицына вызвали «исключать из Союза писателей», и затем сразу закрутились такие заботы, что работа застряла на годы.

На следующее утро — «Рассвело, раздернул занавеси — и с уличного щита мой затаенный Персонаж бойко, бодро глянул на меня из-под кепочки. Да не писалось мне больше о нем, и в том была главная боль — от *таких* оторвали страниц! (С тех пор полтора года

прошло — а всё не вернусь. Персонаж мой за себя постоять сумел)» (Т. 279, 286).

Но на Западе Солженицын первым делом попадает именно в Цюрих, где протекла почти вся ленинская эмигрантская жизнь во время мировой войны. Дом Ленина на Шпигельгассе в Цюрихе писатель посетил на следующий же день по приезде. Написанные ранее главы подверглись «на натуре» коренной переработке.

Итог ей подвел в нарочно об этих главах написанной критической статье Н. А. Струве: «Рассказ ведется почти сплошь как бы от самого Ленина в виде внутреннего монолога, иногда переходящего в диалог через призму воспоминания... Авторская речь почти не слышна: она сливается с речью Ленина, воспроизводит ее интонацию, особенности, характерные словечки... Автор выступает лишь на краткие мгновенья, чтобы не создавалось иллюзий полной субъективности, перебивает ленинский монолог несколькими объективными штрихами, фиксирующими наружность или обстановку. Благодаря этой единой тяге, единой тональности — накал языка достигает предела, еще не виданного в книгах Солженицына. Такой стремительности, сжатости, выразительности, пожалуй, Солженицын еще не достигал» (С т р у в е Н. А. Солженицын о Ленине. ВРХД. 1975. № 116. С. 1).

В ленинском окружении Солженицын еще выделяет феерическую фигуру, в свое время крайне широко известную в международной социал-демократии, но со сталинских лет почти что вычеркнутую из анналов революции. Это беседующий с Лениным в главах 47—50 Израиль Лазаревич Гельфанд, одесский уроженец, социалист и миллионер — второе потому, что, по меткому определению, даваемому в «Октябре» Лениным, у него «порывы гешефта» были «не планомерным программным, а почти биологическим действием» (XIV. 188). Он является подлинным создателем теории перманентной революции, лишь позаимствованной затем «приятельски» Троцким; с Троцким же Гельфанд, взявший партийный псевдоним «Парвус» (то есть по-латыни «малый» — под этим именем он выпустил множество различных брошюр), руководил за спиной взятого для представительности Носаря первым Петроградским Советом в 1905 году и написал известный его «Финансовый манифест». Разойдясь впоследствии с учеником, Парвус не порвал окончательно с Лениным — когда-то они вместе основывали еще «Искру». И вот он приезжает в Цюрих со сногсшибательным «Планом»...

«План был: собрать под единое руководство все возможности, все силы и все средства, вести из единого штаба — действия центральных держав, русских революционеров и окраинных народностей... План убеждал настойчиво, что никакая германская победа не окончательна без революции в России: неразрезанная Россия останется неугасающей постоянной угрозой. Но и никакая отдельная сила не может разрушить русскую крепость, а только единонаправленный их союз: совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской денежной и материальной поддержке...» (XIV. 180). Беседа, в которой излагается план и предлагаются германские миллионы, явственно напоминает собою соблазнение Ивана Карамазова чортом, тут даже и впрямую произнесено слово «сатана» (XIV. 185),— но опять-таки по изменившимся жестоким условиям двадцатого века реальный человек оказывается и беса страшнее. Словесная схватка-прикидка с ним кончается тем, что Парвус... рассеивается в воздухе, оставляя после себя только присланное через посредника письмо. Мы его еще не раз встретим в дальнейшем.

В «Октябре» есть много описаний личных «драм», порою даже кажется, что их взято с перебором. Чересчур положительный по «Августу» Воротынцев, отправленный после скандала в Ставке на фронт, приезжает в отпуск, чтобы оглядеться — что же делается в тылу. Он уже считает войну главной политической ошибкой и не прочь высказаться в пользу частного перемирия с Германией. Но тут его поджидает встреча с профессоршей Ольдой Орестовной Андозерской (кажется, прообразом ее послужила историк О. А. Добиаш-Рождественская). «Через Андозерскую,— указывает автор,— частью изложена система взглядов на монархию профессора Ивана Александровича Ильина» (XIV. 587). Беда только в том, что излагаются эти теории Воротынцеву... в постели. Он, однако, пытается замириться с женой,— но для того лишь, чтобы в «Марте» опять сойтись с «Ольдой», а затем бежать от хищности обеих к замоскворецкой вдове-купчихе Калисе как раз в дни падения царской власти на Москве.

В конечной главе возлюбленная Ковынева (Крюкова), которая страстно бросилась к нему, покинув дома ребенка, и тот неожиданно умер,— приходит на исповедь к священнику. А он, разрешая ей грехи, произносит такие слова, заключающие весь «Узел»: «Нет в мире болей больнее семейных, струпья от них— на самом сердце.

Пока мы живы — наш удел земной. Редко можно за другого определить: «вот так — делай, вот так — не делай». Как велеть тебе «не люби», если сказал Христос: ничего нет выше любви. И не исключил любви — никакой» (XIV. 576).

Однако более мощный, раскрывающий смысл книги вывод делает вновь появляющийся ненадолго Варсонофьев-Звездочет. Его тоже мучат семейные боли и разрывы, но дух его парит высоко: «Время, в котором мы живем, имеет бездонную глубину. Современность — только пленка на времени» (XIV. 551).

XV – XVI – XVII – XVIII. УЗЕЛ III. МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

В 1982 году в нашумевшей статье «Наши плюралисты» Солженицын так объяснял свое пристальнейшее внимание именно к Февралю: «И как ни обтрагивают мертвое тело старой России равнодушные пальцы наших исследователей — всё вот так, одно омерзение к ней. А потому — вперед! к перспективе! к октябрьской революции!

Рвут к Октябрю, объяснить нам скоренько и Октябрь — но я умоляю остановиться: а Февраль?? Разрешите же хронологически: а что с Февралем?

Вот удивительно! Столько отвращения к этой стране, такая решительность в суждениях, в осуждениях порочного народа — а слона-то и не приметили! Самая крупная революция XX века, взорвавшая Россию, а затем и весь мир, и так недалеко ходить во времени, это ж не Филофей с «Третьим Римом», и единственная истинная революция в России (ибо 1905 — только неудавшаяся раскачка, а Октябрь — легкий переворот уже сдавшегося режима),— такая революция никем из наших оппонентов не упоминается, не то что уж исследуется. Да почему же так?

Да откровенно: нечего сказать. Трудно объяснить в благоприятном смысле для либералов, радикалов и интеллигенции. А во-вторых, не менее главное, снижу голос: *не знают*. Вот так, всё учли, до, и после, и вокруг, и XVI век, а Февраля — не знают...

А между тем, господа, вот тут-то и был взрыв! Вот тут-то и выхвачен бомбовый черный ров — а вы как легко облетаете его на крылышках.

А я — взялся напомнить. Я годами копил, копил — не цитаты из чьих-то обзоров, а самые первичные факты: в каком городе, на какой улице, в каком доме, в какой день и в котором часу, и несколько сотен важнейших деятелей всех направлений, всех видов общественной жизни, и каждого жизнь осматривается, когда доходит до описания его действий, и повествование без главного героя, ибо не бывает их в истории миллионных передвижений. И начал из тех Узлов публиковать главы, обильные фактами и цитатами из жизни, сгущенный, объективный исторический материал, открытый для суждения всем, дюжина глав, страниц уже до 400, и петита (они в основном помещались в не раз уже цитированном «Вестнике РХД».— *П. П.)*».

Но работу эту шустрые «плюралисты» предпочли завалить молчанием, на что писатель обоснованно замечает: «Так тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, если его не вспомнить в прошлом. И тем легче будет забросать Россию в ее новый роковой час — пустословием.

Вам — не надо вспоминать? А нам — надо!— ибо мы 1 не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед ее судьбой, человеческому существованию — не расхлябанную тряску, а устойчивость.

О Семнадцатом годе потому и судят так невежественно и с такой легкостью, что года этого не представляют. (Кто дерзает и на фантастические выкладки, почти вроде марсианского десанта: а вдруг бы «черносотенцы взяли в свои руки?»...) Народную распущенность, возбужденную еще до большевиков всеми образованскими подстрекательствами Февраля,— теперь изображают коренно-народным порывом векового классового гнева, для которого большевики оказались лишь послушными удобными выразителями» (ВРХД. 1983. № 139. С. 138—140).

И еще в 1979 году он развивал эти мысли так: «Только с переездом в Америку... я серьезно взялся за Февральскую революцию. Но вник я в Февральскую революцию — и всё мне переосветилось. Я-то рвался к Октябрьской, Февраль казался только по дороге — а тут я понял, что несчастный опыт Февраля, вот, его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу. Именно опыта Февраля мы — не поняли, забыли и во внимание его не принимаем.

Тут — клубок легенд. Вся наша новейшая история

представлена нам выдумками да легендами — конечно, пристрастными, не случайными.

Легенда, что царь вел с немцами переговоры о сепаратном мире — никогда ни малейших. Николай II потому и потерял трон, что был слишком верен Англии и Франции, слишком верен этой бессмысленной войне, которая России не была нужна ни на волос. Он именно дал увлечь себя тому воинственному безумию, которое владело либеральными кругами. А либеральные круги очень стремились выручить западных союзников жизнями русских крестьян. Боялись получить плохую оценку у союзников.

Потом — легенда, что в Феврале был избран Совет Рабочих Депутатов. Совет, больше 1000 человек, значенья не имел, принимать практически решений не мог, а все повел узкий Исполнительный Комитет — а туда верхушка избрала сама себя. Второстепенные затруханные партийные социалисты — сами себя избрали и повели Россию в пропасть.

Потом — само Временное правительство, легендарное навыворот. Это были те самые либеральные деятели, которые годами кричали, что они — доверенные люди России, и несравненно умны, и всё знают, как вести Россию, и, конечно, будут лучше царских министров,— а оказались паноптикумом безвольных бездарностей, и быстро всё спустили...

Да разобраться: они не только упустили власть — они ее и взять-то не смогли. Временное правительство существовало, математически выражаясь, *минус два дня:* то есть оно полностью лишилось власти за два дня до своего создания.

Да и сам Февраль-то был делом двух столиц. И вся крестьянская страна и вся Действующая армия с недоумением узнали об уже готовом перевороте.

Потом: никогда не было никакого корниловского мятежа, всё это — ложь и истерика Керенского, он сочинил весь кризис. Сам вызвал фронтовые войска в Петроград, но из боязни левых отрекся от этих войск по пути и изобразил мятежом. То-то и Корнилов никуда не бежал, и Крымов доверчиво пришел к Керенскому на свою смерть. Мятежа — никакого не было, но этой истерикой Керенский и утвердил окончательно большевиков».

Тут писателю последовал вопрос: «Но ведь все наше понятие об истории России — по крайней мере на Западе — построено на предпосылке, что Февральская рево-

люция была явлением положительным и что, не будь октябрьского переворота, Россия пошла бы по пути мирного общественного развития?» Он ответил решительно:

«Вот это и есть — одна из центральных легенд. Если вникнуть в повседневное течение февральских дней, то сразу становится ясно: никуда, кроме анархии, она не шла. Она заключала противоречие в каждом своем пункте. Поразительная история 17-го года — это история самопадения Февраля. Либерально-социалистические тогдашние правители промотали Россию в полгода до полного упадка. И уже с начала сентября 1917 большевики могли взять упавшую власть — голыми руками, без всякого труда. Только по избыточной осторожности Ленина и Троцкого они еще медлили. Легкое взятие упавшей власти совсем не было даже и переворотом. Так что не только не было никакой Октябрьской революции — но даже не было и настоящего переворота. Февраль — упал сам.

И легенды — продолжаются дальше. И гражданскую войну совсем неправильно сводят только к войне красных и белых. А главное было — народное сопротивление красным, с 18-го по 22-й. И в этой войне оказалось потерь — несколько миллионов! Это уже — изменение состава народа, и вот это есть первая настоящая бесповоротная революция — когда из народа выбивают миллионы, да с выбором.

И дальше легенды... Что Октябрь будто землю крестьянам дал — а он и ту отобрал, которую Столыпин дал, общинную...

Что на Западе меня много читают — я рад. Но мои основные читатели — конечно, на родине, и именно для них я пишу. И книги мои достигнут их, да уже и сейчас достигают изрядно. Книгами — я непременно и скоро вернусь. Да надеюсь и сам.

А уроки Февраля — они имеют и всемирное значение, это и Западу невредно. Самопадение наших либералов и социалистов... с тех пор повторилось в мировом масштабе, только растянулось на несколько десятилетий: грандиозно повторяется тот же процесс самоослабления и капитуляции.

Но бесценное значение опыт Февраля, всего 17-го года, имеет, конечно, для нашей страны. А о нем — почти не принято думать. Прежде чем горячо спорить о будущем пути России, предлагать проекты, рецепты — надо бы основательно знать наше прошлое. А наши спорящие,

как правило, его не знают,— именно историю нашего последнего столетия от нас скрыли почти до неграмотности — а мы поддались... давление приучило всех уходить вдаль — к эпохе Николая I и назад. А кто официально занимался последним столетием — тот всё исказжал.

Февраль — нам надо знать, и остерегаться, потому что повторение Февраля было бы уже непоправимой катастрофой. И важно, чтоб это поняли все, прежде чем у нас начнутся какие-нибудь государственные изменения.

Так вот и получилось, что моя историческая работа о Феврале — она в 4-х томах — настолько опоздала, что уже снова стала актуальной... Мы должны думать об опасностях будущего перехода. При следующем историческом переходе нам грозит новое испытание — и вот к нему мы совсем не готовы. Это — совсем новые для нас виды опасностей, и чтобы против них устоять, надо по крайней мере хорошо знать наш прежний русский опыт» (X. 355—358).

«Нельзя всю философию, всю деятельность сводить: дайте нам права! то есть отпустите защемленную руку! Ну, отпустят, или вырвем — а дальше? Вот тут... и сказывается незнакомство с новой русской историей... по сути, обходят все уроки нашей истории как небывшие — и по общей теории либерализма просто хотят повторения Февраля. А это — гибель» (X. 364).

Как и обещал писатель, в вышедших в 1986—1988 годах четырех томах «Марта Семнадцатого»— почти семь сотен главок — отражена чрезвычайная до болезненности динамика тех поворотных дней. Это была пора, когда «пассионарная» одержимость захватывала сперва отдельных личностей, а затем через их посредство заражала громадные скопления людей.

Обзорная главка 3 «Хлебная петля» раскрывает истинный смысл искусственной «недостачи» черного хлеба в Петрограде. 26, как уже поминалось выше, показывает бездарность рассуждений справедливо издохшей Думы, избранники которой опрометчиво шатали потолок над собственными головами. А чуть раньше заговорила о себе история малоизвестного нынче унтера Тимофея Кирпичникова, послужившего «спусковым крючком» первого успешного солдатского возмущения в Волынском полку, когда повязанным кровью — они застрелили командовавшего ротой офицера — дальше уже некуда было деваться, кроме как «подымать» соседние части. Части же эти, как

справедливо показал Солженицын, хотя и звались часто «гвардейскими», на деле были учебными командами, состоявшими из новобранцев — в то время, когда подлинные гвардейцы воевали на фронте. Зато известие о «восстании гвардии» во многом поспособствовало вовлечению в анархию столичного гарнизона.

С солженицынской исторической добросовестностью, но вместе с тем и с присущей ему силой «сжатия» до самого яркого, перед читателем проходит сперва в биографиях, а затем и живьем гулкий и праздный сонм деятелей «освободительного движения» всех оттенков — от переметчивого безумца Протопопова и отставного министра Кривошеина до председателя Думы Родзянко, славного разве своим внушительным видом и голосом, а затем еще, всё левее захватывая, Милюкова, Шингарева, Винавера, будущего незадачливого премьера Георгия Львова, и вплоть до «правых» разбора Шульгина — «И знаменитый монархист Шульгин сам не заметил, как поехал под красным флагом брать Петропавловскую крепость» (XVI. 32).

Параллельно показаны заседающие по соседству в том же Таврическом дворце, с волшебною быстротою загаженном до предела, крикуны первого состава Совета вроде двух оборотистых псевдонимщиков Суханова-Гиммера и Стеклова-Нахамкиса.

...Армия страдает от потери выбитого за первые годы войны кадрового состава. Ее верховным руководителем теперь состоит сам царь, но его первейшие подчиненные — как командующий Балтийским флотом адмирал Непенин, «главкозап» Рузский и даже «наштаверх» генерал Алексеев сами не прочь поддержать идею переворота, не рассчитывая дальних его последствий. Непосредственно ответственные за поддержание порядка или его установление начальники бездеятельны и трусят перед «передовым общественным мнением» — вроде посланного на усмирение Петрограда, видного собою, но темного душой и происхождением генерала Николая Иудовича Иванова или бездарного военного министра Беляева, которому под стать и командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов. Но вот что еще чрезвычайно важно отметить: самые проницательные из их противников знают, и боятся,— а Солженицын спокойно доказывает это на фактах,— что и с этими горе-командирами победа в войне с Германией уже фактически предрешена. И спасти немцев может только внезапная революция в русском тылу.

Наконец, тут завязываются судьбы деятелей «новейшего типа», наподобие ротмистра Вороновича. Этот «высокий ражий кавалерист, очень подобранный, отличная выправка... смоляные приглаженные волосы, холеные пушистые усики — а лицо совсем закрытое» — «свободно среди мятежных солдат и тотчас после убийства своих однополчан-офицеров... себя чувствовал». Поприще свое на ниве революции он начинает в захолустной Луге, где благодаря хитрой уловке успевает разоружить посланный установить порядок в столице образцовый Лейб-Бородинский полк, а затем почти тотчас вслед «с какой (осторожной, однако) свободой и (осторожной) уверенностью» рассуждает с проезжающим за царским отречением Гучковым, «находя еще и тонкие способы дать понять» ему, «что он его поддерживает, конечно». Тут и Гучков соображает, что сей тип деятеля «легко поскользит по волнам революции...». Он прав — тот же Воронович, в звании самоприсвоенного «полковника», станет во главе «зеленых» на Черноморском побережье во время гражданской войны и успеет всадить нож в спину Деникину, чтобы потом почти без боя сдаться Красной Армии (начало этой истории излагает Солженицын — XVI. 688; окончание см. в воспоминаниях самого «героя»: Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев. М., 1931. Т. 5. С. 159—207).

Всему этому разгулу противостоит лишь кучка сохранивших достоинство людей, принадлежащих ко всем «цветам» общественного спектра. Но они, как бывший министр внутренних дел и брат кадетского вожака Николай Маклаков или бывший премьер Горемыкин, в силах лишь независимо вести себя под арестом. И наибольшее, что удается совершить, выпадает на долю фронтового полковника Кутепова, случайно задержавшегося в столице (это тот самый будущий знаменитый генерал Гражданской). Лишенный всякой поддержки, он почти целый день сохраняет порядок на нескольких улицах, но его одинокое стояние не завершается все-таки победой — хотя личное мужество препятствует озверелой толпе разорвать на куски боевого офицера.

В 1987—1988 годах, в преддверии 70-летия писателя, «Голос Америки» наконец вновь предоставил ему право выступления,— и те, кому удавалось не засыпать до половины второго ночи, смогли услыхать в авторском чтении главы из «Марта». Тут следует еще подчеркнуть, что Солженицын наделен редким для писателя даром мастер-

ски исполнять свои вещи. И навряд ли забудут слышавшие его живую речь этот голос — хотя бы когда он читал главы, исполненные горькой трагической иронии. Отрывком одной из них мы закончим разговор о «Марте Семнадцатого», ибо этот эпизод для Узла символичен. Рядом с как будто бы победившей Думой раздается шальная пулеметная очередь, вызывающая всеобщую панику — вдруг выясняется, что «народную избранницу» никто защищать не может и не хочет.

«И не известно, чем бы кончилось все тут, в Военной комиссии, если бы среди них не было Керенского.

Но он был — тут! И все те же опасения, и все те же мысли, но только с еще большей быстротой, решительностью и ответственностью за всю судьбу революции, а не только за себя, пронеслись и в его голове — и он тут же принял решение, а верней — исполнил его, потому что у него исполнение всегда было быстрей самого решения: Керенский взлетел от пола, как на невидимых крыльях, и вот уже стоял на подоконнике, одной рукой держась за ручку шпингалета, другую распахнув форточку, впившись в обрез ее рамки, а узкую прямоугольную голову свою — втискивая туда, туда, в саму форточку, она вполне входила.

И глядя на водовертное безумие сквера — он кричал туда в форточку своим голосом, таким прославленно звонким, резким на трибуне — а сейчас несколько осипшим:

— Все — по местам! Все — по боевым постам!.. Защищайте Государственную Думу!.. Это говорит вам — Керенский! Государственную Думу — расстреливают!!!

...Но — неизвестны были каждому свои места, и оружие не у каждого, и не каждый знал, как с ним обращаться. Да в той суматошной панике, криках, мате, фырчанье и реве вообще никто не слышал и не заметил, что какой-то человек кричал из какой-то форточки» (XVI. 139—140).

XIX—XX. УЗЕЛ IV. АПРЕЛЬ СЕМНАДЦАТОГО

Возобновляя работу над эпопеей в конце 1960-х, писатель считал, что на выполнение всего замысла понадобится 7—10 лет (Т. 168). В 1971 году он уже засомневался в столь коротком сроке: «20 Узлов, если каждый по году — 20 лет. А вот «Август» два года писался —

значит, 40 лет? Или 50?» (Т. 339). В 1980-м колебания еще больше усилились: «Как я задумал и всю жизнь шел, я готовил 20 узлов, но я думал, что каждый узел будет в одном томе. Годы уходили, а работа расширялась. И у меня «Август» получился в двух томах, «Октябрь» в двух томах и «Март» в четырех, таким образом всё вместе уже составляет 8 томов. Еще несколько лет мне нужно на эту работу. А поэтому я не рассчитываю, теперь уже не уверен, смогу ли я продолжить дальше или не смогу. И потом я не уверен: читателю, если он охватит так вот Февральскую — может быть и хватит? Просто читатель тоже утомится» (Х. 553).

Выше мы приводили высказывание, что «Действие первое», посвященное революции, оканчивается III Узлом. Но и о находящемся сейчас в наборе IV Узле — «Апрель Семнадцатого», тоже двухтомном, автор однажды утверждал: «Четвертый Узел заканчивает собой... первое Действие моего исторического исследования» (Х. 481). Согласно нынешним его намерениям, «Апрель» все-таки начинает собой «Действие второе».

Вопросы о конце работы стало даже принято задавать, и поэтому Солженицын — не как отчаявшийся человек, а как человек искренне православный, когда его пытают: «Сможете ли вы закончить столь гигантскую фреску?» — обычно теперь ответствует так: «Не могу сказать. По особенностям жизни я потерял много времени. Бог укажет» (Х. 245).

Однако, как всякий истинный художник, он наверняка уже наперед знает последние слова эпопеи. Нам о них остается лишь гадать — но неложный прообраз тех слов видится в этих мыслях «Теленка»:

«Изучение русской истории, которое сегодня уже увело меня в конец прошлого века, показало мне, как дороги для страны *мирные* выходы, как важно, чтобы власть, как ни будь она самодержавна и неограниченна, доброжелательно прислушивалась бы к обществу, а общество входило бы в реальное положение власти; как важно, чтобы не *сила* и *насилие* вели бы страну, а *правота*...

Нельзя согласиться, что гибельный ход истории непоправим, и на самую могущественную в мире Силу не может воздействовать уверенный в себе Дух» (Т. 576, 603).

«ТЕЛЕНОК»

Количество томов, в которые суждено воплотиться «Красному Колесу» в Собрании сочинений, неведомо покуда ни нам, ни самому автору,— но название следующей книги собрания, как это ни звучит странно, уже известно: это том (а точнее уже — три тома) под именем «Бодался теленок с дубом». Он носит иронический подзаголовок «Очерки литературной жизни»— потому что описанное здесь есть все что угодно — детектив, подпольщина, житие, политические страсти, борьба на два, три и более фронтов, наконец ясное свидетельство о победе того самого «уверенного в себе Духа» над могучей безнравственной Силой,— но только не мирная «литературная жизнь».

Иностранным читателям писатель пояснил название книги так: «Есть такая пословица русская: бодался теленок с дубом. Как многие пословицы, она иронична по замыслу. Бедный, слабый, глупый теленок, тебе ли с твоим слабым лбом и с малыми рожками бодаться с могучим дубом, ничего из этого не выйдет. Я взял эту пословицу названием своей книги для того, чтобы выразить то истинное соотношение сил, которое было в моем невольном, навязанном мне поединке с властью за мою литературную работу. Ну, соответственно, если проводить аналогию к этой давнишней пословице, которая существует уже много сотен лет, мы, очевидно, должны представить «дубом» ту могучую власть, которая своими разбросанными ветвями нас давит, покрывает и лишает нас возможности свободно действовать, а «теленок» — всякий, кто осмеливается, вот, сопротивляться этой силе, пытается сопротивляться ей» (X. 186).

В самой книге ее заглавный образ проходит свое собственное и знаменательное развитие. Оно задано уже самой структурой произведения: «Тем и странна эта вещь, что для всякой другой создаешь архитектурный план... эта же... подобна нагромождению пристроек... Во всякую минуту книга столь же кончена, сколь и не кончена, можно кинуть ее, можно продолжать, пока жизнь идет, или пока теленок шею свернет о дуб, или пока дуб затрещит и свалится. Случай невероятный, но я очень его допускаю» (Т. 210). Писатель действительно не теряет никогда надежды на чудо — ибо: «...уж сколько шагов за эти годы я делал, и каждый казался отчаянным...— изумляла слабость, неупругость той стены или той непо-

мерной дубины, незаслуженно названной дубом, лишь вподгон к пословице» (Т. 411).

Дуб коснеет по мере того, как резвый бычок взрослеет, превращаясь в зрелую особь, восклицающую в негодовании: «Городили... хлипкую загородочку против разнесшегося быка... думали остановить «Архипелаг»!» (Т. 412). К нему приходит осознание своего особого предназначения, даже посланничества: «Еще многое мне и вблизи не видно, еще во многом поправит меня Высшая Рука. Но это не затемняет мне груди. То и веселит меня, то и удерживает, что не я все задумываю и провожу, что я — только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговоренный рубить ее и разгонять. О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!» (Т. 407).

У самого порога изгнания, впрочем, итоги подведены вполне трезво: «Бодался теленок с дубом — кажется, бесплодная затея. Дуб не упал — но как будто отогнулся? но как будто малость подался? А у теленка — лоб цел, и даже рожки, ну — отлетел, отлетит куда-то» (Т. 466). А это уже, «как ни понимай — победа. Теленок оказался не слабее дуба» (Т. 472).

Начиналась же книга на главном творческом переломе — ее основная часть написана между 7 апреля и 7 мая 1967-го в Рождестве-на-Истье под Нарой, когда Солженицын окончил почти все прочие труды и готовился приступить к «Колесу». Отправив смелое письмо к съезду Союза писателей[1], он и принялся в выдавшемся промежутке за свою литературную историю, чтобы в случае «чего худого» оставить потомкам не испоганенную ложью и цензурой истину.

Но книга продолжает писаться и по сей день, увеличиваясь посредством «Дополнений» — «Вот оказывается, какое липучее это тесто — мемуары: пока ножки не съёжишь — и не кончишь. Ведь все время новые события — и нужны дополнения» (Т. 181). Первые четыре из них — 1-е от ноября 1967, 2-е — от февраля 1971, 3-е, написанное в декабре 1973, и 4-е, родившееся уже в июне 1974 в нагорье Цюриха,— успели войти вместе с основной частью в первый том «Очерков», изданный в 1975 году в Париже.

Пятое дополнение имеет отличную от прочих, как прошлых, так и будущих собратьев, судьбу: «Я писал в

[1] См. его текст в журнале «Нева», № 1 за 1989 год.

«Теленке», что я вовсе не одинок, а держусь на подпоре невидимых помощников. Когда я писал «Теленка», я должен был скрывать всех людей, которые мне тайно помогали... Но у меня давно уже написано дополнение к «Теленку» — еще одно, Пятое,— оно, наоборот, описывает всех тех людей и все секреты, но вот этого сейчас невозможно напечатать... Не только потому, что люди находятся в Советском Союзе,— очень многие и на Западе, но все равно им почему-нибудь, по каким-нибудь соображениям неудобно, чтоб это было объявлено. Я думаю, что это будет увлекательное чтение и многих даже поразит...» (X. *555—556*).

Отрывок из Шестого дополнения — небольшая книжка «Сквозь чад», написанная в сентябре 1978-го в Вермонте и напечатанная в следующем году в Париже. Это в основном вынужденная защита от мелкой клеветы на семейное происхождение и личную жизнь, время от времени подбрасываемой на западный рынок. Самые сильные страницы — открытое письмо другу юности К. Симоняну, сломавшемуся в старости и сочинившему один из таких позорных опусов; письмо это направлено уже в загробный мир — ибо во время его написания автору пришло известие, что накануне своего 60-летия и не дождавшись выхода зарубежного пасквиля бывший друг-враг неожиданно скончался. И оканчивается это необычное послание — прощением.

Другой отрывок из Шестого дополнения, о Швейцарии, помещен в 137-м номере «Вестника РХД» (1982 год). Здесь же рядом находится отрывок «Еще о «Новом мире» — ответ на появление в Самиздате статьи В. Лакшина «Друзьям «Нового мира» (о «Теленке»); статья была отдана автором в медведевский журнал «XX век» (1977. № 2), который составляется в Москве братом Роем, а печатается в Лондоне братом Жоресом. В своем отклике Солженицын признает правильность некоторых фактических замечаний, сделанных более близким ко внутренней издательской кухне новомировцев В. Лакшиным,— но никак не может согласиться со своим оппонентом о главном. Лакшин о трагедии России в XX веке пишет следующее: «Всякая крупная идея может быть искажена в исторической практике... Виной ли тому «дурная природа» людей, генетическая незрелость их как рода, неподготовленность нравственного сознания... или скверная изгаженная почва предшествующих социальных влияний и традиций... А может, все беды и неудачи на-

шей страны оттого как раз, что социализм понят по-старому, по-монархически...» «Вот эти «вершинные» суждения Лакшина,— говорит в своем возражении Солженицын,— и показывают рельефно, насколько невозможно было между нами понимание» (ВРХД. 1982. № 137. С. 126)

Рядом с возражением находится отрывок из Седьмого дополнения (май 1982) о Твардовском. К тому же Седьмому дополнению относится и цитировавшаяся выше статья «Наши плюралисты» (ВРХД. 1983. № 139).

Существует еще и не так давно начатый третий том «Теленка» (впрочем, точка зрения на него автора теперь пересматривается). В него входит, например, написанная в апреле 1984 года статья «Колеблет твой треножник» о книге А. Синявского «Прогулки с Пушкиным» и поносительных статьях о Пушкине в редактируемом Синявским журнале «Синтаксис» (ВРХД. 1984. № 142). К этому же роду можно отнести резко отрицательное суждение о фильме А. Тарковского «Андрей Рублев» в одном из соседних номеров «Вестника», в котором Солженицын осуждает использование высочайших отечественных духовных ценностей для сиюминутных «киношных» целей.

Выход «Очерков» с последующими Дополнениями вызвал самые различные отклики. Среди них есть полностью положительные — как статья сотрудника писателя еще по «Новому миру» Ф. Светова «Разделение» (ВРХД. 1977. № 121). С другой стороны, помимо Лакшина, свои возражения в газете «Унита» поместила и дочь поэта В. Твардовская. На «Плюралистов» отрицательно отозвался один из героев — Гр. Померанц,— его текст вместе с ответным возражением Н. А. Струве «Не стыдно ли?» и библиографической справкой Натальи Солженицыной вышли в 142-м номере «Вестника» в 1984 году; там же можно найти и сводку откликов французских писателей и печати.

...Переходя к самой книге «Очерков», нужно в первую очередь сказать не о ее пристрастности — а много ли было беспристрастных воспоминаний о литературных и житейских битвах?— но точней просто о страстности. Благодаря чему «Теленок», по общему признанию, читается в один присест и запоем.

Перед нами предстает отнюдь не «лишний человек» и не избалованный всеобщим передовым поклонением сочинитель прошлого столетия. «...Мне работалось все равно хорошо, плотно, даже при скудности свободного времени,

даже без подлинной тишины. Мне странно было слушать, как объясняли по радио обеспеченные, досужные, именитые писатели: какие бывают способы сосредоточиться в начале рабочего дня и как важно устранить все помехи, и как важно окружиться настраивающими предметами. А я еще в лагере научился складывать и писать на ходу в конвоируемой колонне, в степи морозной, в литейном цеху и в гудящем бараке. Как солдат засыпает, едва присев на землю, как собаке в мороз вместо печи служит своекожная шерсть, так и я был естественно приспособлен писать всюду. И хотя теперь на воле (закон сжатия и разжатия человеческой души!) я стал попривередливее, мешали мне и радио, и разговоры,— но даже под постоянный рев грузовиков, наезжающих на рязанское окно, я одолел... Лишь бы выдался свободный часик-два подряд! Обминул меня Бог творческими кризисами, приступами отчаяния и бесплодия» (Т. 12—13).

Потому-то, когда высочайший «завкульт» Демичев, побеседовав снисходительно с писателем, заметил ему: «Я вижу, вы действительно — очень скромный человек. С Ремарком у вас— ничего общего»,— Солженицын думает про себя такую думу: «Ах, вот, оказывается, что они боялись — с Ремарком!.. А русской литературы уже отучились бояться. Сумеем ли вернуть им этот навык?» Но вслух она не выплескивается, опыт богатый, вслух автор лишь «радостно подтвердил: «С Ремарком— ничего общего» (Т. 110).

И был глубоко верен в этом, ибо «Я не имел права считаться с личной точкой зрения и что обо мне подумают... а лишь из того исходить постоянно, что я — не я, и моя литературная судьба — не моя, а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошептал, не дохрипел...» (Т. 60).

Сперва он и писал-то без всякой надежды издать это прижизненно, в единой надежде, что когда-то потом «вздрогнет и даже обновится общество от других причин, так появится щель, пролом свободы и туда-то сразу двинется наша подпольная литература — объяснить потерянным и смятенным умам: почему все это непременно должно было так случиться и как это с 17-го года вьется и вяжется» (Т. 14).

Однако судьба сделала некоторый подарок раньше— «еще при нашей жизни начался наш первый выход из бездны темных вод. Мне пришлось дожить до этого счастья — высунуть голову и первые камешки швырнуть в

тупую лбину Голиафа. Лоб оставался цел, отскакивали камешки, но, упав на землю, зацветали разрыв-травой, и встречали их ликованием или ненавистью, никто не проходил просто так» (Т. 15).

В книге до беззащитности открыто изложены и первые размышления подталкиваемого к рубежу и потерявшего всякую надежду на подцензурное печатание писателя: а может, уехать-таки достойно в «свободный мир», а уж оттуда... И последовавший после мучительных колебаний отказ, порожденный во многом вот какой мыслью-сравнением: «Наша страна подобна густой вязкой среде: даже малые движения произвести здесь невероятно трудно, зато эти движения тотчас увлекают за собой среду. Демократический Запад подобен разреженному газу или почти пустоте: легко можно размахивать руками, прыгать, бегать, кувыркаться,— но это ни на кого не действует, все остальные хаотически делают то же» (Т. 593).

Помимо авторской судьбы, в «Теленке» немало и других историй жизни приятелей, противников и еще людей «третьих». Вот референт Хрущева Лебедев, выбравший счастливый час, когда прочтенный временщику «Иван Денисович» смог вызвать довольно смелое решение «Никиты» его немедленно напечатать. «После свержения Хрущева Лебедев, по новой круговой поруке *верхов*, только должность потерял, но не свергнут был из знатности и не впал в нищету. К. И. Чуковский встречал его в 1965 году в барвихском санатории. Бывший «ближний боярин» писал какие-то мемуары и говорил Чуковскому, что опровергает все мои неточности о сталинском быте (задели-таки его мои главы). Еще с Новым 1966 годом он меня поздравил письмом — и это поразило меня, так как я был на краю ареста... До него дошли слухи, что мы поссорились с Твардовским, и он призывал меня к примирению. Мне было очень тошно в то время, и я не оценил, может быть, самого бескорыстного душевного движения его. А потом и с Твардовским у меня целый почти год касаний не было. Недавно же я узнал: именно в тот год, 1966-й, Лебедев умер, не старше лет пятидесяти. На похороны бывшего всесильного советника не пришел никто из ЦК, никто из партии, никто из литературы — один Твардовский. Представляю его дюжую широкоспинную фигуру, понурившуюся над гробом маленького Лебедева». И вся эта горькая русская судьба поместилась в одном подстрочном примечании на 99-й странице «Теленка».

Из всех встреченных Солженицыным в мире литературы людей главным героем первого тома может быть смело назван Твардовский. Разговоры и споры с ним занимают добрую часть всего объема, причем со временем они принимают «последнюю» остроту. Так, на замечание по поводу «Ракового корпуса», сделанное поэтом: «Вы ничего не хотите простить советской власти»,— тут же следует в ответ: «А. Т.! Этот термин «советская власть» стал неточно употребляться. Он означает: власть депутатов трудящихся, только их одних, свободно ими избранную и свободно ими контролируемую. Я — руками и ногами за такую власть!... А то вот секретариат СП, с которым вы на одном поле не сели бы ...— тоже советская власть?» (Т. 174—175).

Трагичнейшая фигура Твардовского, принужденного воевать не только меж двух огней в обществе, но и переживать столкновение двух разных вер в собственной душе, показана в книге с беспощадною прямотой. Но вот что, отойдя на достаточное для спокойной оценки расстояние, глядя уже с другого берега, сказал о нем Солженицын впоследствии: «После годов глубокого одиночества — вне родины и вне эмиграции,— я увидел Твардовского еще по-новому, то есть разглядел, чего не видел рядом с ним и в пылу борьбы.

Теперь, когда эмигрантская литература поскользила в самолюбование, в капризы, в распущенность,— тем более можно вполне оценить высокий такт Твардовского в ведении «Нового мира», его вкус, чувство ответственности и меры. У Твардовского был спокойный иммунитет к «авангардизму», к фальшивой безответственной новизне. Только сейчас я с возросшим пониманием вижу, как много мы потеряли в Твардовском, как нам не хватает его сейчас, какая это была бы сегодня для нас фигура! Как он нужен был бы сегодня русской литературе при новом определении лица ее. Нашей больной литературе, встающей на ноги, как бы помогли его крупные руки, его подсадка.

Он и тогда видел, что цензура — не единственная опасность для литературы, как и показало все позднейшее. Трифоныч — верно чувствовал правильный дух, он был настороженее меня» (ВРХД. 1982. № 137. С. 130).

Есть и еще один чрезвычайно важный герой в «Теленке», но это не единая личность, а как бы собирательная. Солженицын одним из первых по достоинству оце-

нил, как в ходе искристой, но неглубокой полемики октябристов и новомировцев постепенно возрос на стороне и подал наконец живой голос третий, гораздо более важный участник будущих российских споров. Его первые речи проявились в ряде статей журнала «Молодая гвардия», которые, при множестве своих недостатков, «все же не зря обратили на себя много гнева и с разных сторон: изо рта, загороженного догматическими вставными зубами, вырывалась не речь — мычанье немого, отвыкшего от речи, но мычанье тоски по смутно вспомненной национальной идее». Писатель внимательнейшим образом следил за становлением этого «голоса»; в «Теленке» приведен даже подробный разбор одиннадцати главных пунктов, которые явились для тогдашней мелкоплавающей критической мысли почти что откровением. И основываясь на них, он заключает: «Одним словом, в 20-е — 30-е годы авторов таких статей сейчас же бы сунули в ГПУ, да вскоре и расстреляли. Года до 33-го за дуновение русского (сиречь тогда «белогвардейского», а ругательно на мужиков — «русопятского») чувства казнили, травили, ссылали (вспомним хотя бы доносительские статьи О. Бескина против Клюева и Клычкова). Исподволь чувство это разрешали, но — красноперемазанным, в пеленах кумача и с непременным тавром жгучего атеизма. Однако уцелевших подросших крестьянских (и купеческих? а то и священских?) детей, испоганенных, пролгавшихся и продавшихся за красные книжечки,— иногда, как тоска об утерянном рае, посещало все-таки неуничтоженное истинное национальное чувство. Кого-то из них оно и подвинуло эти статьи составить, провести через редакцию и цензуру, напечатать».

И когда «Новый мир» угоднически «ударил» по «Молодой гвардии» поносительной статьей А. Дементьева — Солженицын прямо назвал это сделанное незадолго до конца «твардовской» редакции выступление «позорным» (Т. 269—271).

Волею судеб писателю и в Зарубежье пришлось более всего сталкиваться с продолжателями этих «могильщиков национальной идеи». Сгущенную, «сжатую» по-солженицынски и уничтожающую оценку получили они в Седьмом дополнении к «Очеркам», вызвавшем наибольшую ярость определенной части эмиграции внешней и внутренней.

«О ком я собрался тут — большей частью выехали, иные остались, одни были участники привилегированно-

го... существования, а кто отведал и лагерей. Объединяет их уже довольно длительное общественное движение, напряженное к прошлому и будущему нашей страны, которое не имеет общего названия, но среди своих идеологических признаков чаще и охотнее всего выделяет «плюрализм». Следуя тому, называю и я их плюралистами.

«Плюрализм» они считают как бы высшим достижением истории, высшим благом мысли и высшим качеством нынешней западной жизни. Принцип этот они нередко формулируют: «как можно больше разных мнений»,— и главное, чтобы никто серьезно не настаивал на истинности своего.

Но может ли плюрализм фигурировать отдельным принципом и притом среди высших? Странно, чтобы простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм, да, охотно признаем,— однако же цельного движения человечества? Во всех науках строгих, то есть опертых на математику,— *истина одна,* и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет. Если истина вдруг двоится, как в некоторых областях новейшей физики, то это — оттоки одной реки, они друг друга лишь поддерживают и утверждают, так и понимается всеми. А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства,— и зачем из этого несовершенства делать культ «плюрализма»? Однажды, в отклик на мою гарвардскую речь, было напечатано в «Вашингтон пост» такое письмо американца: «Трудно поверить, чтобы разнообразие само по себе было высшей целью человечества. Уважение к разнообразию бессмысленно, если разнообразие не помогает нам достичь высшей цели»...

Все говоримое тут о плюралистах отнюдь не относится к основной массе третьей, еврейской эмиграции в Штаты. В их газетах на русском языке круг авторов, а значит и читателей, далеко обогнал наших плюралистов в понимании Запада. Приехав в эту страну, эти люди хотели бы прежде всего не теоретизировать о демократии, а видеть тут элементарный государственный порядок. Но тем вопиюще обнажается тыл плюралистов, в котором они были уверены!..

Увы, и еще я должен отличить: иные авторы эмигрантских еврейских газет и журналов не скрывают, что навек пронзены русской культурой, литературой, и нападки на Россию в целом у них заметно реже, они от-

крыли в себе глубину сродства с Россией, какого раньше не предполагали. Не то плюралисты. «Выбрав свободу», они спешат выплеснуть в океан самовыражения, что русские — со всей их культурой — рабы, и навсегда рабами останутся...

Нераздумчивым американцам как угодно выворачивают нашу старую историю, чтобы состроить эстакаду Грозный—Петр—Сталин, а все века русской жизни потопить в болотной невыразимости. А чего стоит нечестное, неосмысленное употребление термина «неославянофилы» (как и в XIX веке, «славянофилы» изобретено оппонентами, кличкой-дразнилкой) — вот уж ни одного живого «славянофила» сейчас в России не знаю. Есть патриоты умирающей Родины — так так и надо говорить, не юля...

Отчасти по московско-ленинградской нечувствительности к страданиям деревни и провинции (эти два города полвека были усыплены и подкуплены за счет ограбления остальной страны), наша образованщина слепа и глуха к национальному бытию, не научилась видеть и не тянется видеть процессы истинные, грандиозные: вода, воздух, земля, еда, отравленные продукты, семья, вымирание, новое брежневское наступление на деревню, уничтожение последних остатков крестьянского уклада; что 270-миллионный народ мучается на уровне африканской страны, с неоплаченной работой, в болезнях, при кошмарном уровне здравоохранения, при уродливом образовании, сиротстве детей и юношества, оголтелой распродаже недр за границу,— но читайте журналы и сборники плюралистов: *об этом* ли они пекутся? Если бы действительно заботились о России — то почему ни о *чем об этом?*..

Для доверчивого Запада переписывают нашу новейшую историю по вехам диссидентских выступлений. Преувеличением столичного диссидентства и эмиграционного движения отвратили внимание мира от коренных условий народного бытия в нашей стране... После своевременной эмиграции их заботы теперь: возликует ли неограниченная свобода слова на другой день после того, как кто-то (кто??) сбросит нынешний режим. Их забота — над какими просторами будет завтра порхать их свободная мысль. Даже не одумаются предусмотрительно: а как же устроить *дом* для этой мысли? А будет ли крыша над головой?..

Ни одного реального предложения, кроме «всеобщих прав человека». А — переходный период? Любую из западных систем — *как* именно перенять? через какую

процедуру?— так, чтоб страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то еще скорей начнутся) разбои и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? (или — оберегать права бандитов? может, они невменяемы?) и — *кто* это будет делать? с чьей санкции? и какими силами? А шире того — будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасет людей от резни? (напоминаю, что это нас Солженицын в 1990-м предупреждает — из 1982-го. — ***П. П.***).

Ни о чем об этом наши плюралисты не выражают забот.

Ну, скажут, и пусть их? Там, в России, их здешний гулок не воспринимается как имеющий значение, а тем более как угроза нашему реальному будущему.

Если бы опыт Семнадцатого года не пылал у меня под пальцами — вероятно, и я не придал бы значения. Но что-то становится — весьма похоже. Уже основательно мы испытали один раз, как нас заболтали и проторили «стране рабов» дорогу в светлое будущее. Наворачивают, наворачивают — а как бы опять не вокруг нашей головы, как бы опять не затмить нам глаза. Прежде чем Россия придет в сознание — уже направить это сознание. И уже сейчас, где могут, наталкивают по русскоязычному радио, чтобы правильно повести оставшееся там население...

Вдруг открылась возможность некоторым двинуться на Запад, и они двинулись, где-то по пути тихо роняя свои партийные билеты. И по другую сторону Атлантического океана вдруг стали исключительно смелы в суждениях о советской жизни, вчера успевали там, сегодня здесь, и громко рассказывают, как они, чистые и неподкупные, тяжело страдали в грязных гнездах пропаганды ЦК, или прокуратуры, или союза писателей и журналистов, опубликовавши в СССР кто по три, а кто и по десятку книг и множество газетных статей, и записывают себе в послужной список поставленные в СССР пьесы, фильмы,— а что это все было, если не ложь, ложь и ложь? И никто из них — *ни один!*— не раскаялся, не заявил публично, что это он и заплёвывал наши глаза ложью, не рассказал ни о каком *своем* соучастии... Их философия: это — скотская народная масса виновата в режиме, а не я. Им и в голову не приходит, что настоящее творчество начинается не с безопасного (или даже опасного) сатирического разоблачения других, а с поисков своей собственной вины и с раскаяния.

...Чем крупней народ, тем свободней он сам над собой смеется. И русские всегда, русская литература и все мы,— свою страну высмеивали, бранили беспощадно, почитали у нас все на свете худшим, но, как и классики наши,— Россией болея, любя. А вот — открывают нам, как это делается ненавидя. И по открывшимся антипатиям и напряжениям, по этим, вот здесь осмотренным, мы можем судить и о многих, копящихся там. В Союзе все пока вынуждены лишь в кармане показывать фигу начальственной политучебе, но вдруг отвались завтра партийная бюрократия — эти *культурные силы* тоже выйдут на поверхность — и не о народных нуждах, не о земле, не о вымиранье мы услышим их тысячекратный рев, не об ответственности и обязанностях каждого, а о правах, правах... и разгрохают наши останки в еще одном Феврале, в еще одном развале.

И в последней надежде я это все написал и взываю, и к этим и к тем, и к открывшимся и к скрытым: господа, товарищи, очнитесь же! Россия — не просто же географическое пространство, колоритный фон для вашего «самовыражения». Если вы продолжаете изъясняться на русском языке, то народу, создавшему этот язык, несите же и что-нибудь доброе, сочувственное, хоть сколько-нибудь любви и попытки понять, а не только возвышайте образ, как («Синтаксис», № 3, с. 73) «у пивной, размазывая сопли по небритым щекам, мычит»...— а мат оставляю докончить вашим авангардным бестрепетным перьям» (ВРХД. 1983. № 139. С. 133—154).

И для сопоставления приведем уже другой, возвышающий душу образ из Шестого приложения. Речь в нем идет о том, как русский писатель приглашен на торжество выборов в горный кантон Швейцарии Аппенцель, в католической части страны. На действо избрания приходить от века положено пешком, причем имеющие голоса — мужчины — являются с холодным оружием при бедре, знаком совершеннолетия и права участия в гражданской жизни. Все начинается с мессы, а от нее из храма следует торжественный ход со знаменами на городскую ратушную площадь. Здесь все присутствующие выслушивают речь уходящего главы местного правительства-«ландамана»: «Вот уже больше полутысячелетия, говорил он, наша община не меняет существенно форм, в которых она правит сама собою. Нас ведет убеждение, что не бывает «свободы вообще», но лишь отдельные частные свободы, каждая связанная с нашими обязательствами и

нашим самосдерживанием. Насилие нашего времени доказывает почти ежедневно, что не может быть обеспеченной свободы ни у личности, ни у государства без дисциплины и честности, и именно на этих основаниях наша община могла пронести через столетия свою невероятную жизнеспособность: она никогда не предавалась безумию тотальной свободы, и никогда не присягала бесчеловечности, которая сделала бы государство всемогущим. Не может существовать разумно функционирующее государство без примеси элементов аристократического и даже монархического...

Бесхарактерная демократия, раздающая право всем и каждому, вырождается в «демократию услужливости». Прочность государственной формы зависит не от прекрасных статей конституции, но от качества несущих сил...»

С этим старый голова уходит, но затем его предлагают избрать заново — и дружным открытым поднятием рук выбирают; причем русский наблюдатель ехидно замечает про себя: «Хотя я не большой страдатель демократии, но тут... подсмехнулся: ну, демократия *как у нас»*. Вслед за тем вновь появляющийся ландаман читает государственную клятву, а присутствующие повторяют: «клялся сам народ себе!» Затем он называет состав своего правительства, спрашивая — кто против; и снова «никого». Вновь молчаливый русский свидетель мыслит: «Я про себя продолжал посмеиваться: опять *как у нас»*.

И почти тотчас получает изрядное вразумление. Ландаман предлагает первый новый закон — повысить налоги, денег у коммуны не хватает. Толпа несогласна, почти вся голосует против. Тот требует вторичной баллотировки, приводя уже сам новые доводы — «и так же подавительно проголосовали налогов не повышать.

Глас народа. Вопрос решен бесповоротно — без газетных статей, без телекомментаторов, без сенатских комиссий, в 10 минут и бесповоротно на год».

Второе желание правительства: повысить пособия по безработице.— Но на них в ответ «кричали: «А пусть работают!» С трибуны: «Не могут найти». Из толпы: «Пусть ищут!» Прений — не было. Проголосовали опять подавительно: отказать».

Третья же просьба новой администрации была: принять в члены кантона уже живущих в Аппенцеле иностранцев, особенно итальянцев, застрявших тут на несколько лет. «Кандидатов было с десяток, голосовали по

каждому в отдельности и отклонили, кажется, всех. Недостойны, не хотим».

— Нет, это было совсем не *как у нас*. Без спора переизбрав любимого ландамана, доверив ему составить правительство, как он желает,— тут же отказали ему во всех основных законопроектах. И — правы. Такую демократию я еще никогда не видывал, не слыхивал — и такая... вызывает уважение.

Швейцарский Союз заключен в 1291 году, это действительно самая старая демократия Земли. Она родилась не из идей просветительства — но прямо из древних форм общинной жизни. Однако кантоны богатые, промышленные, многолюдные все это утеряли, давно обстриглись под Европу. А в Аппенцеле— вот, сохранялось как встарь.

Как же разнообразна Земля, и сколько на ней вполне открытых возможностей, не известных, не видимых нам! В будущей России еще много нам придется подумать — если дадут подумать» (ВРХД. 1982. № 137. С. 120—124).

ВОДИТЕЛЬ ПУТИ

Четверть века назад явился на суд отечественных читателей писатель, который сумел с тех пор создать художественную историю всего, что прошла его Родина в переломный нынешний век. Это была дорога от напутствующего XX столетие в «Красном Колесе» 1899-го года, через «Действие первое. Революция», «Архипелаг ГУЛАГ», послевоенный «Круг Первый», Особлаг «Ивана Денисовича» и разделяющий волю с неволей «Раковый корпус» — вплоть до связывающего недавно прошедшее, мимотекущее и грядущее «Теленка».

И если в зачинательном «Напутствии в дорогу» упоминалось безымянное «Нечто», исправляющее должность ведущего — то, приближаясь к цели, можно отчетливо видеть, как «Нечто» обращается в «Что» и даже «Кто». Притом и «путеводитель» со строчной вырастает до «Путеводителя» с прописной, ибо им оказывается никто иной, как сказавший всем, следующим по его стопам — «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).

1988; 1990

СОДЕРЖАНИЕ

Паламарчук Петр Георгиевич

МОСКВА ИЛИ ТРЕТИЙ РИМ?

Восемнадцать очерков
о русской истории и словесности

Редактор **Л. В. Степаненко**
Художник **Н. М. Александрова**
Художественный редактор **Г. Г. Саленков**
Технический редактор **В. М. Котова**
Корректоры **Т. М. Воротникова, И. С. Рудакова**

Изданне подготовлено к печатн по автоматизированной редакционно-нздательской технологии на персональных ЭВМ.

Операторы: **Левенчук А. С., Опрышко Н. А., Пекова Т. А., Воробьева О. Н. Котова В. М., Меламед Н. И**

ИБ № 6051
Сдано в набор 19.06.90. Подписано к печати 28.05.91.
Формат 84x108/32. Гаринтура Таймс. Печать высокая.
Бумага газетная. Усл. краск.-отт.19,53. Усл. печ. л. 19,32.
Уч.-нзд. л. 21,07. Тираж 50 000 экз. Заказ 362
Цена 3 р. 30 к.

Издательстао «Соаременник» Министерства печати и массоаой информации РСФСР и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошеаское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

В 1991 ГОДУ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«СОВРЕМЕННИК»
выйдет сборник
«...ИЗ РУССКОЙ ДУМЫ»

Портреты отечественных мыслителей в письмах, статьях и просто размышлениях, собранные Юрием Селиверстовым в книгу «...Из русской думы».

Замысел этой не совсем обычной книги возник из своего рода уникальной портретной галереи, созданной на протяжении последнего десятилетия известным современным русским художником Ю. И. Селиверстовым. В нее вошли 24 портрета русских писателей, поэтов, критиков, композиторов, мыслителей — И. Я. Чаадаева, И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева, А. А. Григорьева, Ф. М. Достоевского, М. П. Мусоргского, И. С. Аксакова, Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева, В. В. Розанова, Е. Н. Трубецкого, А. А. Блока, С. А. Есенина, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, Л. П. Карсавина, М. М. Пришвина, А. Ф. Лосева, И. М. Бахтина и портрет-эпиграф А. С. Пушкина.

Выставленные в один зрительный ряд, портреты как бы сами заговорили живым языком своей пронзительной любовной и мучительной думы о красоте и правде, жизни и смерти, о судьбе России.

Книга эта прямо адресована новому сознанию и ориентирована особенно на молодого читателя, который, может быть, впервые откроет для себя русскую философскую мысль. Вступительное слово В. Г. Распутина. Послесловие В. Я. Курбатова.

3 р. 30 к.

Современник